

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 2 (3 1) / 2 0 2 0



АЛЕКСАНДР
ОРЛОВ
МОСКВА

4



НИКОЛАЙ
СИМОНОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

14



АННА
ДОЛГАРЁВА
МОСКВА

18



АЛЕКСАНДР
ЛУШИН
НИЖНИЙ НОВГОРОД

22



МИХАИЛ
СМИРНОВ
САЛАВАТ
БАШКИРСКАЯ АССР

38



АЛЛА
ВОЙСКАЯ
МОСКВА

58



ПАВЕЛ
ТУЖИЛКИН
САРОВ

71



АЛЕКСЕЙ
ОСТУДИН
КАЗАНЬ

82



ПАВЕЛ
ШАРОВ
САРАТОВ

86



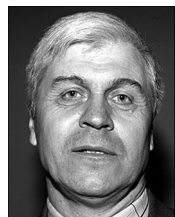
НИКОЛАЙ
РАЧОВ
ТОСНО
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.

90



ДМИТРИЙ
МИЗГУЛИН
ХАНТЫ-МАНСКИЙ

95



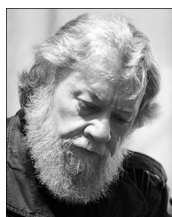
ВИКТОР
КАРПЕНКО
НИЖНИЙ НОВГОРОД

103



ЮРИЙ
СИМОНОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

160



ВЛАДИМИР
АЛЕЙНИКОВ
КОКТЕБЕЛЬ

165



РОМАН
СЕНЧИН
ЕКАТЕРИНБУРГ

200

16+

В НОМЕРЕ

Поэзия

Александр ОРЛОВ ...И РУССКИМ ОТОВСЮДУ ВИДЕН БОГ	4
Георгий КОЛЬЦОВ ПОЧТАЛЬОНША	9
Николай СИМОНОВ СОРМОВСКА БОЛЬША ДОРОГА	14
Анна ДОЛГАРЕВА КАК БУДТО ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ПРАВДА...	18

Проза

Александр ЛУШИН ТАНКИСТ	22
Сергей ГРАЧЁВ РАНЕНИЕ СТАРОГО ВОЛЬФГАНГА	25
Михаил СМИРНОВ ПОЗДНЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ	38
ЛЮДИ-ПТИЦЫ	51
Алла ВОЙСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ	58
Михаил СТРИГИН ДЕСЯТЬ МИНУТ	67
Павел ТУЖИЛКИН СОВРЕМЕННЫЙ РОМЕО	71
Владимир КЛИМЫЧЕВ КОЛЛЕКЦИЯ	77

Поэзия

Алексей ОСТУДИН ВОТ И ВСЁ НА РАССВЕТЕ НЕ ЗАМЕРЛО....	82
Павел ШАРОВ ЗНАЮ, ОТЧЕ, КАК ДОРОГ ТЕБЕ ЧЕЛОВЕК...	86
Николай РАЧКОВ МЫ РОДИНЫ СВОЕЙ НЕ ЗАМЕЧАЕМ...	90
Дмитрий МИЗГУЛИН ОЩУТИТЬ ДЫХАНИЕ СВОБОДЫ И ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ КОНЦА.....	95
Минна ЯМПОЛЬСКАЯ НЕ ГЛЯДИ СКВОЗЬ ТОЛЩУ ЛЬДА...	100

Проза

Виктор КАРПЕНКО ПОВЕСТЬ О РАЗВЕДЧИКАХ103
---	------

Стихи по кругу

Андрей ТРЕМАСОВ157
Татьяна БОБЫШЕВА158
Андрей МАКАРОВ159
Юрий СИМОНОВ160
Владимир РЕШЕТНИКОВ160
Александр КЛИНДУХОВ161
Ксения КУЗНЕЦОВА162
Ольга ЧЕБЕРЕВА162
Лариса МАЗУР163
Виктор КОНОПЛЕВ164

Из будущих книг

Владимир АЛЕЙНИКОВ ЗОВ И ЗНАК165
---	------

Публицистика

Роман СЕНЧИН ВСЮ ПРАВДУ ЗНАЕТ ТОЛЬКО БОГ200
Валентина КОРОСТЕЛЁВА «А НАМ СУДЬБУ РОССИИ ДОВЕРЯЛИ...» Поэт-фронтовик Николай Старшинов216

Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

Фёдор СЕЛЕЗНЕВ ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ222
Протоиерей Владимир ГОФМАН КУПОЛА, СМОТРЯЩИЕ В НЕБО Храмы Нижнего: между прошлым и будущим (<i>продолжение</i>)230

Вехи памяти

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА «НАДО ВЕРОВАТЬ В БОГА...» Святочные рассказы А.П. Чехова234
---	------

Александр ОРЛОВ

Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище № 1 им. И.П. Павлова, Литературный институт им. А.М. Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории, обществознания, основ философии, и права в столичной школе.

Стихи публиковались в журналах «Бийский вестник», «День и ночь», «Дети Ра», «Дон», «Дружба народов», «Литературная учёба», «Наш современник», «Подъём», «Сибирь», «Сибирские огни», «Юность». Автор пяти стихотворных книг, сборника малой прозы «Кравотынь» и книги для дополнительного чтения по истории Отечества «Креститель Руси». Живет в Москве.

...И РУССКИМ ОТОВСЮДУ ВИДЕН БОГ

Доченька

В ночь на Волге-матушке затвердел весь лёд,
По нему на саночках дочку мать везёт.

Вслух под вьюгу молится, читает тропари,
Слёзно просит доченьку: только не умри,

Не умри, любимая, будет проклят фриц,
Нам ещё немножечко в одну из двух больниц.

Там у того берега встретят нас врачи,
Потерпи, кровиночка, слышишь, не молчи.

Вытащат осколочки из твоей груди,
Только, моя девочка, глаза не заводи.

Видишь, моя милая, как Волга широка.
Льдом покрылась девочки правая щека.

Помнишь твои вещие на Крещение сны,
Папка наш с рассветами домой пришёл с войны,

Как нам все твердили: он без вести пропал,
Всех в боях под Руссой косило наповал.

Ишь как ошибались, жив он и здоров,
Папка наш был ранен, вернётся на Покров.

Заживём как прежде, восстановим дом,
Справим дни рождения, и Пасху, с Рождеством,

Купим тебе платяице, заплетём косу,
Просыпайся, доченька, в больницу отнесу.

Волга моя милая не так уж широка.
Льдом покрылась девочки левая щека.

Томка

Тамаре Фёдоровне Востриковой

У Томки в руках похоронка –
Папочка, папа погиб! –
Запричитала девчонка.
Голос мгновенно охрип.

Села в гружёные санки,
Фото достала отца.
Слёзы в глазах у пацанки
Потяжелее свинца.

Валенки, шапка и ватник,
Мамин пуховый платок,
Девочка, школьница, ратник,
Только замёрзла чуток.

Роет и роет окопы,
В десять свои с небольшим.
Гости пришли из Европы.
«Юнкеры», зарево, дым.

Волжанин

Фёдору Ивановичу Мазанову

Звёзд уходит колонна
В предрассветную даль,
Ты пожалуйста, прадед,
Мне с небес посигналь.

После адовой гонки
Вспоминая семью,
На гружёной трёхтонке,
Ты ушёл в полыню.

На порог похоронка
С горькой вестью легла,

И завыла девчонка,
И в глазах её мгла.

И жена своё горе
Скрыла в чёрный платок.
Знаю: в ангельском хоре
Ты их жизни сберёг.

Вдовица

Ирине Васильевне Мазановой

Ты от слёз не ослепни,
Не копи горе впрок.
Нет хозяина хлебни,
Запропал хлебопёк.

Не нашёлся кормилец,
Что любил цвет муки,
Может, однофамилец,
Своё сердце не жги.

После смены по-свойски
Обустроим помин,
Он пропал по-геройски,
И такой не один.

Шла вселенская схватка,
Но всему свой черёд.
Разыскала солдатка
Кимряка через год.

Пал на Ладоге хлебник,
Есть он в списках потерь.
Жизнь его, как учебник,
Я читаю теперь.

* * *

Жизнь от лунного света бледна,
И её не объять, не измерить.
Она словно простора княжна,
Ну а я – её крепкая челядь.
И она показала мне вновь
Расставаньем отточенный ноготь,
Мне её в этот раз не растрогать:
Всё не так, сколько ни многословь,
И слова мои – стынувший дёготь.

Знаю я, что закончился вар,
И от старой прикрытой дегтярни

В звёздный сумрак берёзовый пар
Вновь уходит, как в армию парни.
И от шпал, от колёс и сапог
Запах тянется бережной смазки,
И глядит без всевышней подсказки
Поседевший дегтярь, словно Бог,
На солдатские сумки и каски.

* * *

Не меркнет жизнь в размеренном порядке,
Ей другом стал на все года рассвет.
Она погладит брюхо свиноматке,
Расскажет ей о веренице бед.

В колени ей уткнутся поросята,
И прохрипит в углу болящий хряк.
Покажется, что жизни свет иссяк,
А молода она была когда-то.

Она дитя старороссийской тверди,
Её молитвы словно Божий хлыст,
От них бегут в леса в трясучке черти,
И домовой, и банный, и гэбист.

Она для всех былинная загадка.
Её за строгость любят кержаки,
Она живёт всем бедам вопреки,
Ударница, вдова, старообрядка.

Боголюбка

Ирине Васильевне Мазановой

Окриков безбожников не слыша,
Через площадь, улицы, сады,
Пробежала с образом Ириша,
Божью Мать спасая из беды.

По спине её промчал морозец,
Но беглянку было не догнать.
В день дождливый славных Мироносиц,
Сохраняла Иру Божья Мать.

Пропотев от пылких догонялок
И очистив образ от золы,
Обернула в снежный полушалок
Ту, Чьи заступления теплы.

И пройдя сквозь стоптанный татарник,
Всё вокруг с мольбами оглядев,

Поместила образ в старый хлев,
Тихо затворила дверь в свинарник.

И, ночами собираясь в хлеве,
До кровавых проблесков зари
Ревностно молились волгари
Защитившей мир Пречистой Деве.

Кров

Вновь чувствую: исходит от окна
Дух прошлого, и он подслеп и стоек,
И там, внутри бревенчатых построек –
Иконы, благовестки, ордена...

Там чугунки, наблюдники, скамейки,
Отцов тепло – его хранила печь –
Оно мгновенно может нас обжечь, –
Там валенки, ушанки, телогрейки.

И запах ладана из красного угла,
Молитвы, что хранили на дялянках,
И детские мечты на старых санках,
Одежда, что давно уже мала.

В обнимку там с ухватом кочерга,
С лопатой хлебной рядом сковородник,
Под сундуком – пропавшая серьга,
А на портрете – мой погибший сродник.

В ряд с кружками встал глиняный горшок,
Во тьме сеней скучают бочки, кадки.
Там жизнь идёт в незыблемом порядке,
И русским отовсюду виден Бог.

И кажется, что этот волжский терем,
Впитавший столько радости и нужд,
Так мной любим и бесконечно чужд,
Что видится древнеславянским зверем.

Георгий КОЛЬЦОВ

Родился в 1945 году в селе Буреть Иркутской области. Окончил Литинститут им. А. М. Горького (семинар Льва Ошанина). Печатался в журналах «Звезда», «Сибирь», «Сибирские огни», «Пограничник», «Студенческий меридиан», в альманахе «Истоки» («Молодая гвардия»). Автор сборников стихов «Корни кедра» (Иркутск, 1975), «Спасательный круг» (2017).

В 1985 году трагически погиб и похоронен в подмосковной Кашире.

ПОЧТАЛЬОНША

* * *

На марше,
В карауле,
На привале,
Когда почти беспомощны слова,
Не красноречьем слова
Дружбу мы сверяли,
А степенью солдатского родства.

И в степень превосходную
К России
Мог возвести я преданность свою,
Когда вдоль строя знамя проносили,
Пробитое осколками в бою.

Тётка Дарья

В День Победы
Тётка Дарья –
Вот уже который год –
Утром мужнины медали
Мягкой тряпочкой протрет.

Так в награды фронтовые
Въелась горечь передряг,
Что, всю жизнь прошив навывлет,
Память
Встанет вновь в дверях...

Вот летишь ты на свиданье
За околицу села
Никакой ни теткой Дарьей,
А невестой, весела...

Сотни звёзд!
А может, тыщи?
И, не помня ничего,
Ты сама во тьме отыщешь
Губы жаркие его.

На счастливейшей полянке
Знать не знали
Ты и луг,
Что «Прощание славянки»
Вырвет милого из рук...

Я б за то вручал медали,
Что жила
В дни тех годин
Вера в силу ожиданья
Даже в плаче проводи.н.
Шла она с бойцами рядом,
Согревала в снег и в дождь...
Ты прильнёшь щекой к наградам
И украдкою
Всплакнешь.

Слепой

В огне бомбёжки,
В адском скрежете
Навеки свет в глазах потух...
Так обострила тьма кромешная
Его обыкновенный слух,

Что научился он по голосу
Определять прохожих рост,
Как поле – по шуршанью колоса,
Сентябрь – по шелесту берёз.

Бесшумной палочкой бамбуковой,
Что верной спутницей была,
Не мостовую он простукивал –
Гремел во все колокола.

Звонил о братьях по оружию!
Как будто бы из-под земли
Неумирающие души их
На стук откликнуться могли.

Пожгла, сломала, исковеркала
Подлесок жуткая гроза...
А иногда во сне,
Как в зеркале,
Он видит вновь свои глаза.

Сирота

Палисадники,
Пихты –
Станция Юшала.
У него из родных тут
Лишь Россия была.

Он с котомочкой тощей,
Как взрывною волной,
На вокзальную площадь
Был отброшен войной.

И под небом весенним
В сорок трудном году
Зарабатывал пеньем
Он себе на еду.
Пел он плохо и жалко.
Но плясал – как цыган!
Мурашами бежали
Цыпки вверх по ногам.

Мог сыграть и на ложках
О ладошку руки.
В кепку падали гроши,
Звякали медяки.

Вся в мазуте и саже
Телогрейка была.
Тётя Нюра однажды
В дом его привела.
Тётя Нюра в ушате
Замочила бельё...
То ли брызги на платье,
То ли слёзы её...

Почтальонша

Как долго –
Через всю Россию –
Шли письма.
Днём и по ночам.
А ты, девчонкой, разносила
Их по дворам односельчан.

Летела мигом
К ждущим окнам,
Надеждой жившим всякий раз.
Такая шустрая,
Во многом
Не сразу ты разобралась.

Взять даже то,
Что торопиться,
Пожалуй, надо не всегда.
Ведь в сумке выцветшей тряпичной
Могла пристроиться беда.

О, письма с фронта!
Глянув мельком
На штемпель, адрес и печать,
Кто смог бы так,
Как ты умела,
Их содержанье различать?..

Обманчивость благополучья –
Был в тыщу раз
В те дни страшной
Родных мужицких закорючек,
Красивый почерк писарей.

Ты, размышляя на подворье,
Как бабья доля тяжела,
В конверт заклеенное горе
Вдове
Растерянно несла.

И, жадно вслушиваясь в сводки,
То в жар бросающих,
То в дрожь,
Солдатки знали –
По походке –
С какой ты весточкой идёшь.

* * *

*Лебедеву Николаю Александровичу,
Герою Советского Союза*

Вникая сердцем в правду горьких сводок,
Стал город на Неве фронтовиком...
Вернулся зимним вечером с завода
Отец опять с урезанным пайком.

Не верь:
Мол, пах он клеем силикатным,
Темнея, как протравленная медь,
Одно лишь отличало хлеб блокадный –
Ни разу не успел он зачерстветь.

Лишь дочери – девчонки молодые,
Не видевшие в жизни ничего,
Глаза с трудом от хлеба отводили,
Пока мать ниткой резала его.

А сам отец, такой седой, сутулый,
Вздыхнув, квартиру молча оглядел.
Нет ни стола, ни полок и ни стула.
Да – стула,
На котором сын сидел...

И вот когда в прошитом стужей доме
Всё, что горело, было сожжено,
Взял старый слесарь лермонтовский томик
И вспомнил, может быть, «Бородино».

И передумал, видимо, о многом.
Ну а потом недрогнувшей рукой
«Буржуйку» подостывшую потрогал,
Откинул дверцу с болью и тоской.

Жену, детей, себя ли успокоил,
Пытался ли загнать подальше стыд:
«Я думаю, когда вернётся Коля,
То он поймёт, то он меня простит».

Шли жизнь и смерть по Ленинграду рядом.
Тепло от книг, текущее к ногам,
Могло назавтра стать в цехах снарядом.
Ещё одним снарядом – по врагам!

О, книги! Бескорыстные подруги –
Их меньше становилось с каждым днём –
Спасали обмороженные руки
Своим недолгим ласковым огнём.

Чистота

Суровое военное житьё.
И столько в нём традиций, сколько прозы...
И перед боем чистое бельё
Солдатам выдавалось из обоза.

Бойцы же треугольники потом
Политрукам зачем-то отдавали.
И главное едва ли было в том,
Что люди перед смертью надевали.

Ведь где-то токовали глухари,
А рядом на дыбы земля вставала...
И всё-таки,
Чего ни говори,
Какая-то здесь связь
Существовала.

Николай СИМОНОВ

Родился в 1950 году в городе Горьком. Около полувека проработал судоборщиком и слесарем-монтажником на заводе «Красное Сормово».

Публиковался в нижегородских и российских газетах, журналах, альманахах, антологиях и коллективных сборниках. Автор двенадцати поэтических книг стихов и пародий. Лауреат премий журнала «Нижний Новгород» и имени Александра Люкина. В 2013 году за книгу «Великий Чудотворец» удостоен премии Нижнего Новгорода. Участник и дипломант двенадцати Всероссийских фестивалей иронической поэзии «Русский смех», лауреат трёх из них.

Член Союза писателей России с 1999 года. С 2004 года возглавляет сормовское литературное объединение «Волга». Живёт в Нижнем Новгороде.

СОРМОВСКА БОЛЬША ДОРОГА

Мужик

Меня так просто не ударишь –
Я сдачи дам.
Я – гусь, – и свиньям не товарищ,-
Не по зубам.

Имею грубые манеры,
Простой язык.
Вы – господа, джентльмены, сэры,
А я – мужик!

Я не могу предать и сдать,ся,
Рыдать, вопить.
Меня продать легко удастся –
Нельзя купить.

Не удержать вам – эка жалость –
Меня в руках...
Россия издавна держалась
На мужиках!

* * *

Вышли мы все из народа...

Революционная песня

Поодиночке и толпою
Выходим мы, мои друзья,
Кто из себя, кто из запоя,
А кто из грязи – да в князья!

Выходим мы в любую смену
На труд, на бой, на пир, гужом.
На ринг, на подиум, на сцену,
В печать, хоть малым тиражом.

Выходим с зоны на свободу,
Из жизни, тапками вперёд...
Но не выходим из народа,
Поскольку мы и есть – народ!

Фрегат «Орёл»

*От начинания того, яко от доброго семени,
Произошло нынешнее дело морское...*

Пётр Первый

Гордо, по окским широтам,
Шёл до кремлёвских громад
Дедушка русского флота –
Стройный красавец-фрегат.

Чтобы «Орёл» в дальних водах
Перед врагом не дрожал,
Здесь для персидских походов
Нижний его снаряжал.

Всё что угодно поправить
Нижегородцы могли.
Пушки на палубах ставить
Прадеды наши пришли.

Полнит на волжском просторе
Бриз полотно парусов...
Годен корабль наш для моря
И для боёв он готов.

Много флотилий построим,
Сдвинем любые дела.
Судостроенье военно-морское
Мы начинали с «Орла»!

Совесть

Над толпой базарной гам.
Крик, поднявшись в небо, тает:
– Совесть! Дёшево отдам!
На бутылку не хватает!

Я пошёл на этот крик,
Поглазеть – раз нету денег.
Совесть продаёт мужик.
Вроде с виду не мошенник.

Вроде с виду не дурак.
И годов ему немало.
– Вот вам совесть! Как же так?
Или совесть лишней стала?

Он свой возглас повторял,
Но спешили мимо люди.
Тот, кто совесть потерял,
Снова брать её не будет.

Тем, кто с совестью привык
Жить, любя и беспокоясь,
Раздирает души крик:
– Господа! Купите совесть!

Полёт

Нелегка ты, судьба корабела:
Я кувалдой стучал – аж вспотел...
Вниз доска от лесов полетела,
Ну и я вслед за ней полетел.

А товарищи: – Ух ты да ах ты!
Но помочь мне не могут ничем.
Я свалился в котельную шахту,
Улетаю от них насовсем.

Скоро, брат, превратишься во прах ты!
В преисподню, как Данте, лечу...
Глубока ты, котельная шахта, –
Только я помирать не хочу!

Боже мой! Дай в живых мне остаться!
Обещаю: – Не буду я впредь
Пить, курить, материться и драться
И на женщин красивых смотреть!»

Скоро я расшибусь об железо.
Вдруг рывок... Я повис... Ничего...
Мысли глупые в голову лезут,
А лететь-то – секунды всего!

* * *

*Торгует чувством тот, кто перед светом
Всю душу выставляет напоказ...*

Уильям Шекспир

Я люблю не так, как ветер
Дико любит рощу.
Ветер лишь ломает ветви, –
Я люблю попроще.

Я люблю тебя, как любит
Женщину мужчина.
Не гремлю о чувствах в трубы,
В бубны, в тамбурины.

Не ору на всю округу,
Чувствами торгуя.
Как люблю, тебе, подруга,
На ухо скажу я.

Сормовска Больша дорога

Звонким вечером росистым,
Каблуками в такт стуча,
Выходили гармонисты,
Запевая «Сормача».

Выходили на просёлок,
Звали песнею народ!
«Сормовской большой посёлок,
Сормовской большой завод!»

Сормовска Больша дорога,
Твои камешки тверды.
Ты всего видала много –
От веселья до беды.

Здесь толпою шли к заводу
Наши деды и отцы.
Шли на ярмарку подводы,
Пели ухари купцы...

Тут стояли баррикады,
Взрывы рвали тишину...
По камням твоим отряды
Уходили на войну...

Пой, гармошка, души трогай!
Веселись, гуляй, народ!
«Сормовска Больша дорога,
Сормовской большой завод!»

В думах, в радостях, в тревоге,
По тебе шагаю я,
Сормовска Больша дорога,
Путь-дороженька моя!

Анна ДОЛГАРЕВА

Родилась в 1988 году в Харькове. Окончила химический факультет Харьковского национального университета. Переехала жить в Санкт-Петербург. В 2015–2017 гг. работала военным корреспондентом в Донецкой и Луганской народных республиках.

Поэт, журналист, член Союза писателей России, автор ряда книг. Публиковалась в журналах «Нижний Новгород», «День и ночь», «Аврора», «Введенская сторона», «Литературной газете» и других изданиях. Тексты переводились на немецкий и сербский языки.

Победитель VII Международного поэтического конкурса «45-й калибр» (2019); спецпризер Гумилевского конкурса «Заблудившийся трамвай» (2019), лауреат конкурса литературной журналистики «Молодой Дельвиг» (2018), обладатель Гран-при IV Международного поэтического фестиваля «Всемирный день поэзии» (2019). Живет в Москве.

КАК БУДТО ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ПРАВДА...

* * *

Идет человек, растворяясь почти,
идет по накрытому снегом пути,
до самого, самого края,
уже превращается в свет фонарей,
и белую землю, и ветер над ней,
и грохот ночного трамвая.

А в окнах гирлянды, и сотни домов
глядят, как сей год удивительно нов,
блестящий, как свежая краска.
И новым, и странным становится все,
идет человек, свою нежность несет,
как чудо, как долгую сказку.

Когда нас не станет, мы станем коты,
и звезды, и травы среди высоты –
горячие горные травы.
Идет человек, это я или ты,
и снег проступает среди темноты,
летающий, мерцающий вправо.

* * *

В диких реках, где рыбы заснули давно,
В мертвых черных озерах, не тронутых льдом,
Я ныряю на самое тинное дно,

* * *

Когда туман сползает с гор,
когда
в болотах стынет черная вода
и мох цветет в серебряных камнях, —
иди вперед, не помни ни стыда,
ни страха. Тает горная гряда,
ручьи звенят.

И птицы ближе подлетают, их
запомни звонкий незнакомый крик,
и это тоже все запоминай:
черника проступает среди мха,
и высота прозрачна и тиха,
и виден край земли и неба край.

Вот здесь и будь, на краешке земли.
Кто были раньше, те уже ушли,
ни прошлого, ни будущего нет.
А есть нездешний серебристый свет,
ни днем, ни ночью не гасимый свет.
Вот им и стань, вот им теперь и будь.
И путь ведет как надо, ибо путь
единственное в мире, что в цене
окажется, когда ты встанешь пред
огромным небом, и небесный свет
тебя, как есть ты, отразит вовне.

Смотри, так просто: больше нет вины,
и страха, и четвертой нет стены,
так выходи же дальше, на простор —
где серебристый ягель, словно снег,
хрустит, и сквозь туманы, как во сне,
ущелье проступает среди гор.

* * *

Оленей гонят к новым берегам
и пастбищам. охотник жжет в костре
игрушки дочери и старую одежду,
все, что в дорогу не возмёшь с собой.
Здесь жили, здесь оленей выпасали
без малого осенний целый месяц,
и здесь похоронили же отца.
Он тут лежит, на дровяном настиле
среди подмокших серебристых мхов,
и он уже не снимется с кочевья.
Охотник жжет истрепанную шапку,
глядит в костер, а из костра глядят
зеленоглазые седые духи тундры,
ещё не уходящие на север,
ещё не покидающие племя,

ещё не растворившиеся в зимах.
Они ещё являются шаманам,
они ещё поют под звуки бубна,
и видно их, когда горит костер,
костер, где племя жжет свои пожитки,
чтоб выдвинуться к пастбищам другим.

* * *

И будет снег. И будет новый день,
и в этом дне – даровано прощенье.
С балкона ветер задувает в щели,
на потолке танцует светотень.
Мы выйдем в день – и мы его вдохнем,
он будет ветер с озера и цитрус,
как будто дети маленькие в цирке,
как будто праздник, детство будто, дом.
И время с антресолей доставать
коробку, где советские игрушки –
и космонавт, и яблоко, и грушка,
перебирать, рассыпав на кровать.

Как будто нет и не бывало лжи,
войны и вовсе не бывает смерти.
И мир большой, и сколько ни отмерь ты,
все будет по тебе, держи, держи.

Так мы вдохнем прощение. Оно
не разбирает правых и неправых,
не выбирает тех, кто лучше нравом,
а просто есть, поскольку суждено.
Для каждого из выросших детей,
какие б ни бывали переломы,
тату и шрамы, браки и дипломы,
держи вот и живи так, дуралей.

Живи, живи – с морозного утра,
и дальше, это суть твоя награда.
Как будто дальше будет только правда,
как будто никогда не умирал.

Александр ЛУШИН

Родился в 1951 году в Горьком. Окончил Горьковский государственный педагогический институт, работал учителем, затем служил в органах внутренних дел. Полковник полиции в отставке, профессор Нижегородской академии МВД РФ.

Автор ряда книг прозы и публицистики, десятков научных статей по истории государства и права. Действительный член Императорского Православного Палестинского общества и Историко-родословного общества в Москве. Имеет ряд государственных и церковных наград.

Живет в Нижнем Новгороде.

ТАНКИСТ

У него одна щека была очень страшной: рубец от виска к верхней губе, а вокруг следы сильного ожога. И пальцы на руках у него тоже были некрасивые, какие-то витые, с изъеденной рваной кожей. Была у него жена, маленькая, худенькая тетка, которая все время где-то мыла полы или у кого-нибудь стирала белье. А еще были две дочери, тоже маленькие, тихие, с робким испуганным выражением на тонких белых личиках. Ходили они всегда вместе, прижимая к груди дешевых гуттаперчевых кукол. Иногда они подходили к нашей шумной дворовой компании, стояли в сторонке, баюкая своих кукол, а Юрка Сова, сплевывая под ноги, небрежно спрашивал их: «Вам чего, малахольные?».

А этот новый жилец нашего двора, неразговорчивый, слегка горбачийся и прихрамывающий неловкой походкой, по вечерам, вернувшись с работы, обычно сидел на скамейке около фонтана-колонки и долго курил дешевые папиросы-«гвоздики». По воскресеньям его жена ходила в Троицкую церковь на Высоковских оврагах, и в эти часы он гулял с девочками на заднем дворе. Они играли на склоне холма у старых сараев, а он как обычно курил и крепко думал о чем-то, иногда даже не отзываясь на громкие вопросы соседей.

Вот в такой момент к нему и подошел подвыпивший Мухин, которому, видимо, очень хотелось поговорить, и, перекидывая залихватски папиросу в угол рта, брякнул: «Чего баба твоя в церковь шастает? Скоро всех попов разгонят, а в церкви клуб сделают. Или киношку,

как в парке. Ты бабе своей скажи...» Тут жилец новый поднялся, резко дернул обожженной щекой и дрогнувшим голосом ответил, но как-то необычно:

– Ты мою жену не трогай. Она меня вымолила.

Мухин махнул рукой и пошел прочь.

Шли дни, недели, месяцы. В начале февраля отец привез на легковушке два мешка картошки. В воскресенье он рассыпал ее по сеткам-авоськам и попросил меня разнести соседям. Одну из таких раздачек мне было поручено отнести в квартиру новому жильцу. Я, засунув ноги в валенки, в одном только свитерке перебежал через двор, открыл тяжелую дверь и по скрипящей лестнице поднялся на общую кухню. В квартире были только девочки, которые на диване сидели в обнимку с куклами. Я поставил сетку у двери и уже хотел бежать обратно, но вдруг увидел прикрепленную к небольшому настенному зеркалу фотокарточку. На ней был запечатлен капитан в танковом шлеме, а на кителе два ордена и несколько медалей. Тут я сморозил явную глупость, спросив: «Это кто?» Глупость потому, что уже понял, что на фотографии был отец девочек. Капитан! Танкист! Орденоносец! И в нашем большом дружном дворе этого никто не знал.

В школе готовились торжественно отмечать День Советской армии и Военно-Морского флота. Наша молоденькая классная руководительница Ирина Александровна, которая самый первый год работала после окончания педагогического института, предложила пригласить на классный час участника Великой Отечественной войны. И тут я поднялся и совсем неожиданно для себя сказал: «У меня знакомый танкист есть. Орденоносец. Я его сегодня к нам на встречу приглашу. Можно?»

Что мне теперь оставалось делать? Вечером я, ужасно волнуясь, пришел в квартиру танкиста. От отца я узнал, что зовут соседа по двору Андреем Викторовичем. Он сидел с женой и девочками за столом и читал вслух какую-то детскую книгу. Видимо, это была очень веселая книга, так как женщина и девочки радостно смеялись. Увидев меня, хозяин дома отложил книгу и сказал:

– Мальчик, проходи к столу. Садись с нами. Мы читаем очень хорошую и добрую книгу.

Наверное, вид у меня был весьма серьезный, так как дружная семья удивленно и пристально стала на меня смотреть. Я все-таки набрался внутренне храбрости и выпалил:

– Наш класс приглашает вас на торжественное собрание, посвященное Дню Советской армии.

Теперь маленькая женщина и девочки повернулись к Андрею Викторовичу. Жена его встала со стула, зашла ему за спину, положила руки на плечи и, как-то озорно тряхнув коротко стриженной головой, весело сказала:

– Андрюша, обязательно сходи с мальчиком на их собрание. Кстати, мальчик, как тебя зовут?

Мы проговорили целый час, а может и больше, но, главное, танкист согласился прийти с боевыми наградами на классное собрание.

В праздничный день после уроков я с нетерпением ожидал Андрея Викторовича у парадного входа в школу. Когда мы вошли в класс, где за партами выжидающе расселись мои одноклассники, а Ирина Александровна с коробкой конфет и тремя гвоздиками замерла у доски, танкист обвел всех острым взглядом и как-то мешковато опустился

на стул. Он молча смотрел на нас, а мы смотрели на него, на ордена и медали на пиджаке, на обожженную щеку, рубец на которой вдруг стал багровым.

Ирина Александровна хотела что-то сказать, но не успела, потому что наш гость очень тихим голосом молвил:

– Дорогие дети, какое счастье, что вы никогда не увидите, как горит танк.

Он закрыл свое лицо обожженными руками. В классе стало совсем тихо. И вдруг всхлипнула Ирина Александровна, приложила к глазам платочек. Я увидел, как сморщила нос Таня Волченкова, а по щеке у нее покатились слезинки. У меня предательски защемило в груди, казалось, вот-вот и я тоже буду нуждаться в платочке.

Так мы классом просидели молча полчаса, не менее. Наконец, Андрей Викторович поднялся, откашлялся и сказал:

– Я прочитаю стихотворение Симонова.

Читал он очень выразительно, и голос у него был сильный, и награды на его скромном пиджаке были такие красивые. Ирина Александровна, вручая ему под наши быстрые хлопки ладонями цветы и конфеты, явно стесняясь, спросила:

– Можно я вас поцелую?

Танкист улыбнулся:

– Можно.

Из школы мы рядышком не спеша возвращались по Гранитному переулку. Андрей Викторович сосредоточенно курил, но вдруг решительно бросил папиросу и, оборотившись ко мне, грустно сказал:

– Прости меня.

А я, пока живу, помню буду его и сегодня бережущую сердце фразу: «Какое счастье, что вы никогда не увидите, как горит танк».

Сергей ГРАЧЁВ

Родился в 1961 году в Подольске Московской области. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького, прозаик. Работал в издательствах «Мир книги», «Славянская школа», в журналах «Новая Россия. Воскресенье» (ранее журнал «Советский Союз»), «Деловой Подольск». Главный редактор подольского издательства «Информация», руководитель молодежного литературного объединения «Имение».

Автор более 20 книг повестей и рассказов, очерков, сказок для детей. Публиковался в журналах и альманахах. Награжден памятными медалями и дипломами МГО Союза писателей России, в том числе дипломом им. генерала М.Д. Скобелева, «За верное служение отечественной литературе», дипломами конкурса «Лучшая книга 2011–2013» – за книгу «Истории нашего времени», «Лучшая книга 2014–2016 гг.» – за книгу «Лица Победы». Лауреат конкурса альманаха «Московский Парнас» за лучшее прозаическое произведение 2004 года. Живет в Подольске.

РАНЕНИЕ СТАРОГО ВОЛЬФГАНГА

Старый Вольфганг Крайс, бывший рядовой 337-го пехотного полка вермахта, никогда не рассказывал своему сыну Руди о войне. А сын никогда не спрашивал о прошлом и совершенно не интересовался ужасными и героическими событиями 40-х. В последнее время, когда болезни стали одолевать старого Вольфганга, всё новые подробности 65-летней давности стали всплывать в его памяти. Он был уверен, что все быстро и навсегда стерлось, кануло в Лету вскоре после того, как он из госпиталя вернулся домой, в родной Тироль, и Альпы, казалось, отгородили его от безумного мира, умирающего в грязи войны. Русские деревни, поля и овраги, превращенные войной в одно гигантское кладбище, казалось, навечно растаяли в нереальной ледяной дымке, и обрывки событий, немо и ужасно вспыхивающие в памяти, постепенно отступили, растворились в красоте родных пейзажей, в чистом горном воздухе и мягком теплом климате Южного Тироля. Здесь можно обо всем забыть...

Несмотря на свои девяносто лет, он продолжал работать в яблоневом саду, на ближнем склоне горы. Три километра до сада он обычно ехал на своем стареньком «пежо». Работа его заключалась в присмотре за наемными работниками, поляками, всегда по первому его требованию приезжавшими на заработки. Он ими командовал, принимал работы, а иногда и сам не выдерживал и начинал что-то делать. В это раннее июньское утро он начал помогать им обирать с яблонь мелкие неразвитые плоды, которые только мешали наливаясь соком крупным яблокам. Деревьев было, по тирольским меркам, не так много, – три

тысячи. Для сбора мелких плодов поляки использовали его маленький трактор и стремянки. Вольфганг Крайс полез было на стремянку, да сорвался, и яблоневый сук распорол ему ногу.

Рану зашили в больнице не очень удачно: кровь сочится. Врачи предлагают стационар, но Вольфганг в больнице лежать не намерен. Он уже третий день сидит в своей комнате или в пластиковом кресле перед домом и глядит в бинокль на свой сад, ждет медсестру, которая придет и сделает перевязку. И вот, когда медсестра в очередной раз сняла с его ноги бинт, вид кровотока вдруг всколыхнул душу Крайса. Медсестра даже не предполагала, что, сняв испачканный кровью бинт, она невольно вскрыла в памяти пациента запретную, потайную дверцу.

Перед глазами старого Вольфганга вдруг всплыло очень грозное лицо обер-лейтенанта Биштерфельда, награжденного за отличия в боях с французами Рыцарским крестом. Ему крест можно было дать за один норманнский профиль и очень тяжелый взгляд исподлобья.

Старый Вольфганг вдруг испытал забытый давно страх и какое-то нечеловеческое напряжение в мышцах: словно рядом должен был разорваться снаряд, а до траншеи по глубокому снегу, под пронизывающим белым ветром – не успеть.

...Они прибыли из Франции на Восточный фронт ближе к середине января. Первое, что поразило, это мороз – леденящий, пробирающий до костей. И ветер, пронизывающий насквозь тело, белый ветер – со снежной крупой.

Прямо в первый день через расположение их 5-й роты со стороны противника проходили солдаты потрепанного в боях 20-го полка. Как раз в этот момент долговязый очкарик фельдфебель Форкерт с важным видом пытался фотографировать сослуживцев на фоне русской зимы. Он еле уговорил Вольфганга и других солдат выйти из землянки и теперь, как обычно, хвастался своим фотоаппаратом, который он отобрал месяц назад у какого-то француза:

– Мой *Weltix* будет снимать хоть в Лапландии, и даже на Северном полюсе!

И тут в кадр попали пехотинцы из 20-го полка. Их лица унылы, бледны, и у многих вместо автоматов за плечами висят русские карабины. На ногах – потрепанные сапоги из кожи и войлока. Шинели у некоторых обожжены, порваны, и поверх них солдаты укутали себя в какие-то невообразимые лохмотья. Воротники шинелей обмотаны шарфами или платками, у одного из-под каски выпирает диковинная шапка с меховыми ушами, завязанными под подбородком, у другого – кепи с длинным козырьком и опущенными наушниками. Общий цвет колонны лишь с большой натяжкой можно было назвать традиционным серым «фельдграу».

Фельдфебель Форкерт увидел их, вытаращил глаза от удивления, быстро убрал фотоаппарат в кожух и побежал докладывать начальству о неслыханном нарушении солдатами вермахта внешнего вида. А Вольфганг и другие солдаты 5-й роты засмеялись.

На смех новичков разодетые по-клоунски «ветераны» реагировали спокойно. Они негромко, но так, чтобы все слышали, переговаривались друг с другом:

- Ишь, холеные какие...
- Отожрались на Елисейских полях.
- Поглядим на этих цыпляток через неделю...
- Если будет, на что глядеть. А то, может, и дерьма не останется.

Тут появился унтер-офицер Франц. И лоб у него широкий, и череп слегка вытянутый – истинный ариец. Вот только лицо какое-то детское и щеки розовеют по каждому пустяку. Вольфганг был готов поклясться, что только у Франца унтерские «катушки» на петлицах и погонах так ярко светятся серебром. Не иначе чистит он их каким-то особенным составом или зубным порошком. Унтер-офицер прикрикнул на Крайса и остальных, а потом потребовал у жалких вояк объяснений. То, что они сказали, испортило всем настроение надолго: оказалось, что от каждой из рот 20-го полка осталось в живых всего по двадцать человек. И именно от них Вольфганг узнал, что автоматы отказывают на морозе, если их не греть под шинелью или меховой курткой.

Акклиматизироваться многие не успели. Даже легкое ранение означало смерть, и через три дня несколько человек умерли от обморожения. А русские, окопавшиеся на холме, в ближайшем большом селе, то и дело давали о себе знать, даже пытались храбро атаковать по открытому полю. Их трупы очень быстро заносило снегом. Помнится, солдат Херманн, вчерашний школьник из Швабии, после первого же боя отморозил себе большой палец на ноге. Но герой не стал отлеживаться в госпитале, приковывал в роту, опираясь на русский карабин. Периодически он снимал сапог и, тихо постанывая, менял тряпку на ране, и тогда от вони в землянке можно было задохнуться...

Как презрительно ухмылялся ротный, обер-лейтенант Биштерфельд, и давил Вольфганга тяжелым взглядом викинга, когда врач сказал, что у Вольфганга ранение тазобедренного сустава. Ничего он тогда, 25 января 1942 года, не понимал, этот обер.

Крайса спасла партизанская пуля под деревней Бортное. Война для простого тирольского парня кончилась, а суровый рыцарь Биштерфельд пошел дальше завоевывать ледяные пустыни. Где теперь этот рыцарь? А вот Вольфганг Крайс жив, и у него три тысячи яблонь, которые почти каждый год дают прекрасный урожай. И, несмотря на свои преклонные годы, по вечерам он пьет в свое удовольствие темное ароматное *Lagrein*. И глядит на высокие горы, любит чистыми реками и зелеными долинами.

* * *

На следующее утро старый Вольфганг попросил сына найти и привезти ему из Бозена книгу, в которой бы рассказывалось о плане «Барбаросса». И еще самую подробную карту России. Руди очень удивился, но вида не подал. И в точности исполнил просьбу отца.

Теперь режим дня у старшего Крайса стал таким: с шести утра до десяти он следил в бинокль за работой поденщиков в саду, делал замечания по мобильному телефону, затем отдыхал, обедал и часам к четырем пополудни садился за книги. А вечером, после легкого ужина, сидел в садике у дома и размышлял. Он вдыхал грудью нежно-ароматный воздух – свежесть магнолии, а каменные громады гор, словно живые великаны, напоздали в ночном мраке друг на друга, нагромождались, сдавливая автостраду, нависали над россыпями селений у подножий, где возле здания железнодорожной станции – как символ вечной жизни – растет каштан-великан. А на самом верху теплились одинокие огоньки горных сел-отшельников и монастырей. Там, высоко в горах, тоже сады и роскошные дома, с бассейнами, компьютерами и прочими

атрибутами обеспеченного быта современной Европы. У подножий гор зреет земляника, а на склонах и тропинках, как указатели древних кладов гномов, поблескивают похожие на кремний камни. На километровой высоте археологи ведут раскопки древних тиролец, а может, и тех самых гномов. «Ты, Биштерфельд, был сто раз не прав, – думал старый Вольфганг. – И тысячу рад был прав тот партизан, ранивший меня в... тазобедренный сустав навывлет, как писали врачи».

Вольфганг жил в своем старом двухэтажном, наполовину деревянном доме, доставшемся ему в наследство от родителей. А сын Руди – в новеньком коттедже на окраине большого города Бозена, работал в агентстве недвижимости и часто приезжал на своем шикарном «мерседесе» к отцу погостить и поработать в саду. В Австрии бензин подешевле, и всякий раз практичный Руди ехал к озеру Reschegrass, за которым стояла ближайшая австрийская колонка. Его апартаменты в Бозене занимали весь первый этаж собственного кирпичного особняка, с красивым портиком, колоннами и садиком, в котором росли туи, каштаны и даже пальмы в кадках. А верхний этаж он сдавал в аренду итальянцу, владельцу быстро развивающейся строительной фирмы. Руди за глаза звал своего арендатора «вальшером» («иностранцем»). На что Вольфганг дипломатично замечал, что итальянцы – хорошие строители.

– Уже очень много построено, – с уважением говорил Вольфганг и совершенно не переживал по поводу того, что вскоре к ним в Тироль, на север Италии, переедет из перенаселенных районов множество горячих южан. Тем не менее Вольфганг хитрил, но по-своему: однажды он купил большой итальянский трехцветный флаг, отрезал один цвет, превратив красно-бело-зеленый триколор в красно-белый флаг Тироля. Это очень повеселило Руди.

После того как схема боев в России вдруг заняла все мысли старого Вольфганга, деревенский дом стал тревожить его. Деревянные ступени на второй этаж, каменный сарайчик, в котором полно было древних как мир инструментов крестьянского быта, вдруг напомнили ему русские избы. Нет, конечно, в России таких деревень не было – с банками, бензозаправками и отелями, там все по-другому. Там были вросшие в замерзшую землю избушки, глубокие овраги, торчащие из снега сухие травы, кресты на кладбищах.

В этот раз старый Вольфганг особенно долго читал книгу «План “Барбаросса”» и чувствовал, что книга все больше его раздражает. Автор, бывший оберштурмбаннфюрер, планомерно создавал благородный образ вермахта. И немецкие солдаты, если верить написанному, вели себя в России исключительно как герои, не способные совершить ни одного преступления.

– Идиот! – не удержавшись, выдохнул Вольфганг и отбросил книгу прочь. Автора он уже презирал. – Прохиндей! Так же говорил нам Биштерфельд: «О вас напишут книги и сложат песни. И каждого немца будет распирать от гордости за военную историю Германии! Даже если мы умрем, то умрем за великую Германию!» Вот как он говорил, этот прохвост Биштерфельд.

Старый Вольфганг так разволновался, что опять долго не мог уснуть. А когда все-таки сон его сморил, ему приснилось, что он идет в атаку по пояс в снегу, а с холма, из деревни, по нему стреляют из пулемета. И пули бьют его по ногам. И ноги леденеют. А он, в ярости от холода, боли, ползет, пытается разгребать рыхлый снег, но проваливается все глубже, и вокруг него и над ним вырастают ледяные торосы, которые чернеют от копоти. А с неба сыпется пепел и вулканическая пемза.

Он проснулся, откинул одеяло с лица и схватился за грудь: жутко колотилось сердце. Осторожно сел на кровати, затем взял плед и вышел во двор. Сел в кресло, укутал ноги пледом и попытался успокоиться. Тем более что память проснулась тоже и ничего с ней уже не поделаешь...

Он вспомнил тот ужасный вечер, когда пришел приказ занять село, из которого русские периодически совершали дерзкие вылазки. Суровый Биштерфельд сказал, что танки – прямо с марша – помогут обязательно. А то, что вся техника в условиях жутких морозов дает сбои, он не сказал. Впрочем, все и так это знали. Перед деревней на правом фланге был овраг, а слева – кладбище. Жалким жребием для 5-й и 6-й рот стал овраг.

Пока деревню обрабатывали минометчики, эти роты прошли по полю, к оврагу. Перед тем как спуститься по пологому склону, Вольфганг расстегнул шинель и вытащил автомат, который теперь прогрелся и не должен был подвести. Затем он подоткнул под ремень полу шинели, чтобы легче было передвигаться. Его примеру сразу последовал Херманн, которому с его обмороженной ногой место было на госпитальной койке, а не в этом овраге. Здесь, правда, не было ветра, но зато, казалось, стало заметно морознее.

Русские, конечно, все видели, но пока не стреляли: видимо, прятались от мин. Противоположный склон оврага был крутой, и Вольфгангу пришлось помогать Херманну. Так хотелось дать пинка этому кретину!

Карабкались кое-как, цепляясь за кусты и ветки деревьев, иногда съезжали вниз и начинали лезть вновь. Один раз Херманн вскрикнул, и его круглое пухлое лицо искривилось от боли.

– Дождешься, что ногу отнимут, – прошептал Вольфганг. И увидел, как блеснули азартом голубые глаза Херманна.

– Брось, Вольфи! Я потомственный фермер. И матери обещал, что заслужу Железный крест и плодородный участок земли.

«Не в этом ли овраге?» – чуть не брякнул Вольфганг, который прекрасно знал, что у матери Херманна уже есть в Швабии сорок гектаров земли и свиноферма.

Они вылезли из оврага, и ветер стал мести снегом в лицо. До деревни было не больше ста пятидесяти метров. Хорошо просматривались деревенские дома и угадывались позиции русских. Часть домов уже горело.

– Значит, вначале слава, а потом – здоровье? – уточнил Вольфганг.

– Се ля ви, Вольфи, как говорят французы.

И вот в темнеющее небо взметнулась ракета. Когда первая цепь пехотинцев двинулась к деревне, ударили русские пулеметы, захлопали винтовочные выстрелы. Бежать было невозможно, и солдаты торопливо вышагивали по снегу, иногда проваливаясь по пояс. Цепи получились длинные и изогнутые – по очертанию оврага, и унтер-офицер Франц, захлебываясь ветром, по-мальчишески рьяно кричал:

– Выровнять цепь! Вперед!

Вольфганг шел во второй цепи и видел, как падали сраженные солдаты, еще две недели назад так славно проводившие время во Франции.

Он дал первую очередь в сторону вражеских позиций, убедившись, что автомат в полном порядке. И тут же первая цепь залегла под кинжальным огнем противника. Несмотря на крики офицеров, и вторая цепь последовала примеру первой – словно нехотя, с оглядкой: солдаты вначале вставляли на колено, стреляли и только потом погружались в сугробы. И почему Вольфганг вспомнил про Францию?.. Ну да, конечно,

унтер-офицер Франц, это ведь он, размахивая пистолетом, все орёт, приказывая солдатам немедленно подняться и выполнить свой долг. А вон справа и долговязый фельдфебель Форкерт, в почти залепленных снегом очках, пытается поднять солдат. Но не все его слушаются...

Понятно, долго лежать в снегу нельзя. А из оврага поднимается другая рота, выстраиваясь...

Вольфганг встал, в который раз подоткнул под ремень полу шинели – так легче шагать – и пошел вперед, чувствуя злость, нет, ярость – и из-за мороза, и этих упрямых русских, из-за того, что бежать в атаку по глубокому снегу – бессмысленная попытка, спорт идиотов. И ярость эта бессмысленная и глухая, потому что близкий разрыв своей же, немецкой мины оглушил его, и все звуки теперь доносятся словно из далекого ущелья. Кто-то, как зверь, рычит, проклиная заевший автомат и минометчиков, а вот кто-то сидит в снегу недвижимым истуканом, словно пораженный ужасным взглядом Горгоны. Да это Херманн, потомственный фермер! Руки у него скрючились, голова склонилась на правое плечо, и он словно целится из карабина. Но карабина нет: или утонул в снегу, или кто-то взял – взамен своего непригодного автомата. Неужели мороз способен так быстро превратить человека в ледяную статую? В ужасную скульптуру...

На краю села, недалеко от горящего большого амбара, миной накрыло пулеметный расчет противника. Но пулеметчик встал, шатаясь, подошел к дереву, прислонился к нему и, стоя в полный рост, начал стрелять из длинноствольного маузера. Русский был без шапки, в расстегнутой гимнастерке, под которой, как показалось Вольфгангу Крайсу, был надет красный свитер.

Вольфганг целится, дает очередь, другую. Русский вздрагивает, оседает и исчезает. «Кажется, попал!» – мелькает мысль. В деревне, один за другим, взрываются, вспыхивают дома: справа по деревне, прямо с марша, бьют танки. «Ну, теперь все! – проносится мысль. – Теперь им капут!» И вновь – вспышка ярости удесятеряет силы ногам, которые мгновение назад казались набухшими и тяжелыми. Внезапно он выбегает на натоптанную дорогу, ведущую вправо и вверх к горящему амбару. Немецкие солдаты бегут по этой дороге под прикрытием станковых пулеметов.

И тут вдруг слышится русское «Ура!». Навстречу немцам на дорогу из деревни выкатывается легкий танк, за которым быстро и дружно бегут русские. Они несутся сверху, из-за горящего амбара, как бешеные и палят на бегу из автоматов. Еще мгновение, и они бесстрашно идут врукопашную. Столь неожиданный натиск ломает порядок наступающих, опрокидывает их. Немецкие пехотинцы отшатываются, рассыпаются кто куда и почти сразу начинают отступать.

Оставаться под самой деревней бессмысленно, понимает Вольфганг и тоже отступает, точнее бежит, проваливаясь в снегу, – до первой воронки. Плюхается в нее и быстро оглядывается. Русский танк разбит прямым попаданием и горит, и контратака русских сбита пулеметным огнем.

Но и у немцев замешательство. Головной танк колонны горит в двухстах метрах от деревни. Другие танки не спешат развернуться в боевую позицию и в то же время не пытаются объехать подбитый танк: наверное, решили, что дорога заминирована, а выехать в поле – значит, забуксовать. Неизвестно, о чем они там думают, в танках! Со стороны старых позиций 337-го полка параллельно оврагу выдвинулись к деревне две бронемшины разведчиков, да вдруг заглохли, зарылись в сугробах, но пулеметы их бьют по деревне.

А кожа на лице Вольфганга немеет и не чувствует слез, которые так и льются от мороза. Он трет лицо и думает: «Пока танкисты и минометчики будут исправлять положение, отдохну в этой паршивой воронке».

Поле усыпано трупами немецких пехотинцев. На погонах одного из них ярко отсвечивают серебром «катушки». Это храбрый унтер-офицер Франц. Вольфганг ползет к нему. Пуля, пробив каску, угодила унтеру в широкий лоб, и капельки крови застыли радиально вокруг входного отверстия, напоминая звезду. Никто еще в полку не видел у Франца таких белых щек. Какой точный выстрел.

Он бежит короткими рывками, и ему везет: скатывается невредимым в овраг. Здесь, внизу, полно солдат в шинелях цвета «фельдграу». Суется, покрикивают офицеры, и от всех идет пар, как от загнанных лошадей.

Но почему все заняты лишь утаптыванием снега на дне оврага? А-а, понятно! Подняться по противоположному пологому склону нельзя: он хорошо простреливается из деревни, и те, кто попробовал, уже остывают в снегу. Это западня! Если бы русских сейчас так не прижали минометчики...

Уже заметно стемнело, небо – плотное, тоскливо бесцветное, как и положено быть крышке мышеловки. И под эту крышку залетает белый пронзительный ветер. Ветер гонит в овраг снежную пыль, которая залепила фельдфебелю Форкерту его очки, и тот стал похож на замороженного альпиниста. Бой стих, и сразу стало слышно, как наверху, на поле стонут и кричат раненые. Но санитары туда не суются: боятся снайпера. Именно сейчас решается весь исход боя. Ротный Биштерфельд послал вестового к командиру полка. Для Вольфганга четверть часа в этом овраге кажутся вечностью, а для раненых – она, эта вечность, вот-вот наступит.

Послышался гул моторов. По этому характерному гулу Вольфганг понял, что немецкие танки разворачиваются в боевой порядок и начинают постепенно объезжать овраг с юго-востока, приближаясь к деревне. Прибежал вестовой, и обер-лейтенант Биштерфельд сразу закричал: – В атаку! В деревне отогреетесь! Марш!

Стрекотня автоматов слева дала знать, что другие роты пошли в атаку со стороны кладбища. Там хоть деревьев много, укрыться есть где. Только почему там сразу не смогли прорваться? Вольфганг этого не понимает, да и размышлять некогда. Фельдфебель Форкерт уже очистил свои круглые очки от снега и покрикивает, потрясая пистолетом:

– Марш вперед! В цепь!

И они вновь полезли, цепляясь за кусты, по крутому склону оврага. На этот раз Вольфганг никому не помогает: самому бы силы сберечь. Слышно, как немецкие танки и минометы усилили обстрел деревни. Когда Крайс вылез из оврага и с первой же цепью пошел в атаку, деревня вся горела, в ее зареве отчетливо было видно, сколько пехотинцев полегло на поле в первую атаку – человек сто или больше.

Опять заработали пулеметы защитников деревни, но ненадолго. Минометчики уже пристрелялись и быстро заставили их замолчать. Как и в предыдущий раз, 5-я рота добралась до наезженного наста дороги, солдаты перестроились и поспешили вправо к горящему русскому танку и догорающему амбару. И, наконец, ворвались в пылающую деревню.

Они ворвались с нечеловеческой яростью – с желанием уничтожить всех. Здесь было светло словно днем. Снег весь почернел, и улица была изрыта минами и снарядами. И было тепло, даже жарко. Лежали убитые и раненые русские. Несколько домов с этой стороны деревни

уцелели. Один из пехотинцев, кажется, из 6-й роты, подбежал, пригибаясь, к дому и кинул в окно гранату. Изнутри кто-то истошно закричал, и тут же из окон повалил дым. Через какое-то время в окне появился русоволосый мальчик, совсем маленький, лет шести-семи. Он кашлял и пытался вылезти из дома, но пехотинец поддел его штыком и опрокинул обратно в дом. Затем бросил совершенно безумный, почти белый взгляд на Вольфганга и произнес хрипло:

– Маленькому партизану капут, – и присел на корточки, начал дико озираться по сторонам.

Ноги сами понесли Вольфганга прочь от этого сумасшедшего.

– В огонь падаешь! – крикнул кто-то, и Вольфганг увидел, как двое пехотинцев подтащили к горящей избе израненного русского, того самого пулеметчика, в расстегнутой гимнастерке и окровавленном свитере, и швырнули его в огонь. Но минуты не прошло, как пулеметчик появился в проеме двери. Волосы его уже сгорели, голова дымилась, и Вольфгангу померещилось, что он глядит прямо на него горящими глазами и словно машет рукой, грозит пальцем. В живучего русского стали стрелять из автоматов...

По телу Крайса словно ток пробежал – будто он обжегся. Солдаты начали искать других раненых, а Вольфганг все стоял и смотрел в пыляющий проем двери, ожидая – не выйдет ли русский опять?

По деревне уже по-хозяйски разъезжают две бронемашинны разведчиков, постреливая из пулеметов по сторонам. Они должны были давно быть здесь, еще во время первой атаки, но, как всегда, заглохли на морозе перед самым боем, зарылись в снег.

Вольфганг осторожно продвигается по горящей улице, высматривая противника. Вот у разбитой взрывом подводы, рядом с разорванными частями лошади лежит мертвая девушка в белом маскхалате, со снайперской винтовкой. Осколок оставил глубокий шрам на щеке, завернул уголок рта вниз, что придало лицу надменно-скептическое выражение. Не иначе это она унтер-офицера Франца уложила.

Сверху сыпется горячий пепел, словно в Помпеях при извержении Везувия. И тут кто-то начал бить короткими очередями из чудом уцелевшего дома. Рядом с Вольфгангом Крайсом вскрикнул и упал ничком пехотинец. Вольфганг счел благоразумным тоже упасть и, прикрываясь убитым, выяснить, из какого окна ведется огонь. Невидимый стрелок бьет экономно, хладнокровно высматривая жертвы.

– Не жечь этот дом! – кричит обер-фельдфебель Нитшке. – Ничего не жечь, идиоты! Или будете спать в траншеях!

– Со стороны кладбища полно целых домов.

– Исполнять приказ!

И хотя казалось, что замерзнуть в таком пекле вряд ли возможно, его приказ подействовал несколько отрезвляюще: о коварстве мороза все уже знали не понаслышке.

Русский отстреливался до последнего патрона. Потом пришел фельдфебель Форкерт: с наспех перевязанной раной на руке, с красным – то ли обожженным, то ли обмороженным лицом, он подслеповато щурился через закопченные круглые линзы очков. И вдруг принялся по-русски уговаривать фанатика сдаться. Оказалось, что, обладая отличной памятью, этот бывший студент успел выучить множество русских фраз. Распинался он перед притихшим укрытием красноармейца так долго и под конец начал строить такие рожи, что всем стало смешно. Форкерт, судя по всему, решил устроить спектакль. В отсветах пожара испачканные

копотью лица смеющихся солдат, казалось, наливались демонической яростью. Наконец, русский поддался на уговоры, и словоохотливый фельдфебель стал поспешно вытаскивать из ранца свой любимый фотоаппарат. Русский вышел из дома. И подорвал себя двумя лимонками.

Форкерта убило наповал. Один осколок расколол в его руках фотоаппарат.

После такой неожиданной развязки пехотинцы с новым злым азартом принялись прочесывать деревню, несмотря на то что уже была ночь и мороз уже крался мимо горящих изб и выискивал себе жертвы... Облазили все погреба, которые были построены из известняковых камней отдельно от изб, повиытаскивали из них человек пятьдесят крестьян, в основном немолодых. Отобрали у них теплую одежду. Старушек заставили показать все их съестные припасы, а потом приказали сидеть до утра в погребах или проваливать на все четыре стороны. Почти все эти русские были обречены. Командовал этой ночной акцией усатый унтер-офицер Фильцингер, бывший дрезденский рабочий. У него была своя логика, понятная, наверное, только пехотинцам 337-го полка и только в этот ночной час. Двоих безбородых и потому похожих на переодетых солдат застрелили сразу. Затем Фильцингер задумался, пытаясь отодрать ледяные катышки со своих усов, и, когда это не удалось, он лично застрелил третьего мужика. Остальных мужиков на ночь глядя погнали в поле собирать убитых солдат вермахта и копать братские могилы.

После того как перенесли в избы всех раненых и обмороженных, пехотинцы разместились на ночевку в оставшихся избах и русских землянках – едва на всех хватило места. Солдаты уже отыскивали по погребам крупу, муку, куриные яйца. Крайсу, по солдатскому счастью, досталось место недалеко от растопленной печки в доме, перед которым взорвал себя русский солдат. Здесь вскоре стало так тепло, что даже не понадобились бы камни, которые покойный Херманн нагревал обычно на печке в землянке и обкладывал себя и других. Он пожевал галет, допил спирт, которого у него оставалось на один плоток во фляжке и, согревшись, почти мгновенно уснул.

Под утро, когда ледяное дыхание зимы просочилось сквозь окна, заткнутые подушками и разным тряпьем, ему приснился горящий солдат в распахнутой гимнастерке и свитере. Стоит в дверях и горит, как факел, и ослепительно улыбается. А глаза его – как два угля. И он протягивает горящую руку ему, Вольфгангу, грозит пальцем и что-то говорит очень важное, но Вольфганг, как ни силится, не может понять ни слова.

Утром, после завтрака, обер-лейтенант Биштерфельд приказал собрать лопаты и снести на конюшню. И сделать это поручили Вольфгангу и еще пятерым солдатам. Командовал обер-фельдфебель Нитшке, это он приказал взять с собой пилы. Никто поначалу не понял, зачем? А потом, когда пришли и увидели возле больших ям, вырытых под братские могилы, трупы полураздетых мужиков с лопатами в руках, – все поняли. Попробуй без инструмента возьми лопаты, вмерзшие в руки обледенелых землекопов. Некоторые покойники сидели в снегу, и со стороны казалось – в белой пустыне проходит совещание старейшин. Видимо, их заставляли копать до последнего, даже когда те не могли стоять на ногах.

Чуть поодаль лежали рядами убитые немцы, которых крестьяне за ночь собрали с поля боя. Вольфганг насчитал до ста пятидесяти трупов солдат и офицеров. И это только с правого фланга! Над «шеренгами» убитых пронесился белый ветер, и несчастных героев уже начало заносить

снегом. Только бедного Херманна сразу можно было увидеть: он и лежит, «сидя»: с подвернутой ногой и поднявши скрюченные в агонии руки, склонив голову к правому плечу, – словно целится в серое непроглядное небо из невидимого карабина...

Первым делом Нитшке пустил по кругу флягу со спиртом и плитку французского шоколада.

Солдаты орудовали штыками и пилами, высвобождая лопаты из больших окоченевших рук старых крестьян. Крайсу казалось, что старики смотрят осуждающе на него со всех сторон и шевелятся, словно протестуя. Когда кто-то из пехотинцев случайно дотронулся до Вольфганга, он вздрогнул, отшатнулся и сел в снег. У него все поплыло перед глазами, и в ушах словно бумага зашелестела или зашептал кто-то. Нет, это, конечно, ветер. Крайс отхлебнул еще спирта из протянутой внимательным Нитшке фляги. Рот обожгло, горячая волна пробежала по телу, и в голове вроде прояснело. Он передал флягу товарищам. Сделав по глотку, солдаты хмуро и деловито продолжили свое дело. Ничем более жутким, чем эта работа, рядовой Вольфганг Крайс в своей жизни не занимался. Если бы не спирт, он, наверное, сошел с ума в это январское утро 1942 года.

* * *

В субботу старый Вольфганг поднялся на второй этаж, вошел в комнату сына и положил перед ним раскрытую книгу о плане «Барбаросса». Руди поначалу ничего не понял.

– Бортное не может быть здесь, – крепкий указательный палец старого фермера уткнулся в карту. – Я это знаю точно. Здесь партизан не было. А меня ранили партизаны недалеко от Бортного.

– Ну и что? – удивился Руди. – В книгах полно ошибок, – он внимательно посмотрел на отца и улыбнулся: по его мнению, отец, сутуловатый, крепкой кости тиронец, с очень живыми внимательными светлячками глаз, с ладонями, напоминающими плоские ковши, очень был похож на национального героя Тироля – Андреаса Хофера, который мог успешно воевать даже против Наполеона. Так и казалось Руди, что сейчас отец закурит трубку и мужественным хриловатым голосом начнет напевать хоферскую песенку:

Вперед заре навстречу,
Товарищи в борьбе,
Штыками и картечью
Проложим путь себе!

Для Руди отец был суровым героем старых времен: простым солдатом он воевал в самом центре далекой России, и если бы не ранение... Руди думал, что попадись этот партизан отцу на глаза, взял бы старый Вольфганг своей ручищей за горло и – дух вон из несчастного. И эти отцовские глаза, которые смущали Руди и в детстве, и сейчас, когда Руди уже стукнуло пятьдесят лет. У отца такие выразительно-пронзительные глаза, что с ними можно говорить одними взглядами. От его глаз невозможно ничего скрыть. Он словно постоянно оценивает сына, его мысли и поступки. И явно посмеивается над его критическим и даже скептическим отношением к окружающему миру. Отца очень молодит синяя майка с большим цветным гербом Тироля.

Руди так и не понял, зачем отец принес в его комнату книгу. Может быть, хотел показать, что он, бывший пехотинец, лучше знает историю войны, чем автор-генерал? Отец не стал ничего объяснять.

– Ладно... – он захлопнул книгу, взял ее под мышку и на мгновение задумался. Спросил: – Русских много в Бозене?

– Последнее время они все чаще покупают недвижимость.

Отец еще постоял немного, осмысливая услышанное и словно собираясь еще что-то сказать. Но не сказал. Ушел, прихрамывая, на первый этаж.

«Доработался герой, – подумал Руди. – А еще собирался докупать саженцы. О прибылях все думал. Или о наследстве для меня?» По осени старший Крайс, как и многие местные садоводы, сдавал урожай на немецкую винную фабрику и вырученными деньгами делился с Руди, если, конечно, сын помогал ему ухаживать за садом.

Несколько раз Руди предлагал отцу продать сад, старый дом и переехать к нему в Бозен.

– Сколько можно жить в деревне! – говорил Руди. – Даже в интернете о ней ничего не найдешь.

Но отец отмалчивался.

Руди видел, что после падения с яблони отец вдруг сильно изменился. Он все меньше глядел в бинокль на свой сад и все глубже погружался в мрачную задумчивость. И все чаще ему приходилось вызывать врача.

Через пару недель после того, как отец заявил сыну, что книгу о войне написал прохиндей, старого Вольфганга хватил инсульт. И на следующий день он умер.

* * *

Старшего Крайса похоронили на кладбище у костела, почти в центре поселка. Придя в опустевший отцовский дом после поминок в ресторане, его сын Руди никак не мог привыкнуть к мысли, что он теперь сирота, что не будет больше рядом отца, который так понимал его. И Руди Крайса охватила пронзительная тоска. Он вдруг с горечью осознал, как мало уделял отцу внимания последние годы. А старик, этот трудолюбивый и мудрый тиролоц, хотел с ним поговорить и явно намекал на какие-то события военного прошлого. Что-то важное знал отец, один из простых пехотинцев, о стойкости и благородстве которых рассказывает книга «План “Барбаросса”».

На журнальном столике отца лежали географические атласы и несколько листов бумаги, на которых были аккуратно нарисованы две карты с русскими названиями городов и сел. Руди терялся в догадках. Может быть, отец хотел поведать о храбрости товарищей? А может даже – о кладе?

Заинтригованный, Руди принялся листать атлас, сличать с отцовскими картами. И нашел село Бортное в Тульской области. И поначалу несказанно обрадовался, словно вышел на главную трассу – ведущую прямо к цели. 25 января 1942 года здесь отец получил ранение. Оставалось понять, что не давало покоя старому солдату? Почему он рисовал схемы, карты местности – в районе, где тульская земля граничит с Калужской и Орловской областями?

Внезапно, к своему удивлению, Руди обнаружил еще одно Бортное. Обе деревни находились почти на одинаковом расстоянии от расположения

полка, только в разных областях: одна в Орловской области, другая – в Тульской. Привыкшего к порядку и точности Руди это сильно озадачило. Тем более что отец нарисовал еще схему движения полка подо Ржевом – параллельно движению дивизии СС «Дас Рейх». По картам было видно, что в тылу войск вермахта полно вражеских позиций. «Слоеный пирог!» – понял Руди и попытался представить своего отца: то идущего в атаку на позиции русских в своем тылу, то отбивающим нападения противника с другой стороны.

Вернувшись в Бозен, Руди в свободное от работы время читал военные мемуары и плавал в Интернете, узнавая все новые подробности событий того времени. На помощь немецкой дивизии, попавшей в котел под Сухиничами, командование вермахта бросило танки. Путь лежал... через деревню Бортное Калужской области! Значит, было три деревни с одним названием, и в каждой шли бои, которые даже жестокими назвать было бы слишком мягко. Возле этого, третьего Бортного триста русских солдат сдерживали немецкие танки и почти все погибли. Командир немецкого батальона писал в письме другу: «Русские очень упорны и дерутся до последней возможности. На днях мы взяли в плен 15 человек. Всех перебили...» В Бортном сражалась русская разведчица, за голову которой немецкое командование обещало 30 тысяч марок и «в придачу – корову».

Когда облик благородного пехотинца начал постепенно рассыпаться, Руди это не понравилось. Но остановиться он уже не мог. Вместе с азартом исследователя он все чаще испытывал непонятную тревогу от фронтовой жизни, которая постепенно принимала четкие очертания. Представляя, как отец после Франции вмерзал заживо в кровавый лед русской зимы, Руди содрогался. И ему все больше становилось мучительно на душе от страшных фактов, говорящих до какого ожесточения доходили солдаты. Партизан вешали в деревнях, а немецких вестовых, связистов и деревенских старост находили в виде больших ледяных шишек в лесу. Гитлер вначале прислал приказ: ни шагу назад, а потом потребовал не только жечь избы при отходе, но и взрывать печки, чтобы русские не смогли их растопить и погреться...

А потом Руди ночью приснился отец: Вольфганг Крайс, в шинели и каске, пытался бежать сквозь бушующую метель, стрелял из «шмайссера» с пояса и что-то беззвучно кричал, ужасно раскрыв рот. И в глазах этого почти неузнаваемого человека, на гигантском заснеженном поле, среди сел с одним и тем же названием, бушевала всепожирающая ярость.

Руди проснулся от собственного стога. Сел на кровати, помотал головой, сделал несколько дыхательных упражнений. Затем лег на другой бок и, чтобы отогнать, забыть жуткое сновидение, принялся представлять себя на прогулке в Альпах, у маленького прекрасного озера. Потом вспомнил, что дно озера покрыто льдом, и начал думать о новом ботаническом саде в Мерано, где так много глициний и олеандров, пальм и кипарисов...

Утром он распечатал на принтере две заметки с русского информационного сайта, посвященного войне. Все, что он смог прочитать на русском языке, – знакомые числа: «337» и «208». Перевести остальное мог только сосед, итальянец Паоло, который поставлял стройматериалы в Россию и немного знал русский. Руди никогда раньше не обращался за помощью к своему арендатору, и польщенный итальянец с трудом выдержал важную паузу в несколько секунд, прежде чем согласился помочь.

– Здесь говорится, что в Тульской области, недалеко от деревни Бортное, – медленно переводил Паоло, – «СС» повесили подростка... за связь с партизанами... – Тут Паоло издал диковинный звук, которым итальянцы, в зависимости от обстоятельств, обозначают степень своего недовольства или недоверия. Состоит он из трех букв и звучит как «Бу-э!», и слегка похож на отрывку или резкую зевоту. Сам-то Руди давно привык к этому необычному звуку, а вот, помнится, старого Вольфганга, прожившего всю жизнь в маленьком тирольском поселке на самом севере Италии, это «буэканье» могло заставить врасплох и повергнуть в недоумение. – И еще... – продолжал Паоло, – сожгли сто русских военнопленных и коней... Нет, не коней, а вместе с конюшней. Бу-э! – тут Паоло с изумлением уставился на Руди: – Зачем тебе это?

Руди сказал первое, что пришло на ум:

– Думал, что это статья о чайных церемониях. Одна знакомая хочет открыть в Мерано русский ресторан.

– А-а, самовары, – закивал головой Паоло. – Русские любят пить воду с травой. Как бедуины... Тут, кстати, еще заметка. Читать?

– Ну... ради любопытства... если не трудно.

– «В начале февраля под Сухиничами партизаны взяли в плен унтер-офицера 5-й роты 337-го полка 208-й дивизии...» Продолжать?

Руди Крайс закивал головой утвердительно и затаил дыхание.

– «Он рассказал, что в период с середины января по 6 февраля... рота потеряла 110 человек из 180. Погибли командир роты обер-лейтенант Биштерфельд, унтер-офицеры Фильцингер и Франц, обер-фельдфебель Нитшке, фельдфебель Форкерт»... Дальше переводить?

– Значит, под Сухиничами, – Руди произнес это вслух, скомканно поблагодарил соседа и поспешил на первый этаж, слыша взволнованное биение своего сердца... Значит, под Сухиничами? Всех этих людей отец мог знать лично. Он знал их, непременно знал. И они все погибли – либо у него на глазах, либо через день-два после того, как его комиссовали.

Руди встал в прихожей и уставился на себя в зеркале. Для него уже было неважно, что отец мог воевать в разных деревнях с одинаковым названием: в Тульской, Орловской и Калужской областях. Не это было главное.

Он глядел на свое зеркальное отражение. И видел продолговатое смуглое лицо с длинным прямым носом, уже несколько одутловатым, как у отца к старости. И вдруг резко появившиеся отцовские морщины у рта.

Вспомнив свой ночной кошмар, Руди широко открыл рот и вздрогнул: из зеркала, словно подернувшегося слабой изморосью, на него взглянул из белого ада отец.

Руди зажмурился, встряхнул головой и снова взглянул в зеркало. И только тут обнаружил, что он заметно поседел, словно белый ветер лизнул его от правого виска к темечку. Но Руди нисколько не испугался. Произнес спокойно:

– Теперь, отец, ты всегда будешь близко. Совсем рядом. Это не страшно – не знать, возле какой деревни партизаны ранили тебя в тазобедренный сустав навyleт. Страшно другое. Страшно забыть, чтобы потом все вспомнить.

Он приставил к виску указательный палец, словно это было дуло старого «вальтера», и нажал на невидимый спуск.

Михаил СМИРНОВ

Родился в 1958 году в городе Салавате Башкирской АССР, где и проживает. Образование среднетехническое.

Печатался в изданиях «Литературная газета», «Литературная Россия», «Молодая гвардия», «Новая литература», «Сибирские огни», «Север», «Бельские просторы» и других. Автор ряда книг прозы. Лауреат международной премии «Филантроп», Международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы им. А. Н. Толстого, международного конкурса Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» и других.

ПОЗДНЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Леонтий Шаргунов вернулся из госпиталя в начале осени, когда зачастили дожди, листва на деревьях пожелтела, а в низинах заколыхался туман. Война уже второй год как закончилась, а он только приехал.

Солнце повернуло на закат, когда Леонтий появился в деревне. Одной ноги у него не было, вместо нее деревянный чурбак, затянутый выше колена широкими ремнями. На другой ноге запыленный разбитый сапог. Сам в галифе, в гимнастерке, на которой поблескивало несколько медалей. Пилотка сдвинута на бровь, а за плечами тощий вещмешок.

Леонтий долго стоял за околицей, поглядывая на деревню. Задержалась щека, а потом затряслась и голова. Он схватился за нее рукой, словно хотел придержать, и зло матюгнулся. Нервное, как сказал врач в госпитале, пройдет со временем. А может, и нога отрастет. И хохотнул. Леонтий в ответ криво усмехнулся. Ладно, если бы кусок мяса выдрало – это дело наживное, а вот молодому без ноги остаться, да еще в деревне, – это большая беда. Тут и здоровому мужику ни времени, ни рук не хватает, чтобы по хозяйству успеть, а он, Леонтий, теперь обрубок.

Достал кiset. Руки дрожали. Пока прикуривал «козью ногу», просыпал табак. Несколько раз затянулся, поплевал на ладонь, затушил – и вытрусил остатки обратно в кiset: пригодится. Прислонился к дереву, расстегнул ремень. Поморщился, растирая култышку. Устала нога, ноет, спасу нет! А еще тащиться на другой конец деревни, да на виду: вечер, уже все с работы домой пришли... Леонтий не раз пожалел, что решил вернуться в деревню. Лучше бы не возвращался. Для всех лучше, и для жены – тоже...

Он еще немного потоптался, потом сплюнул, закинул вещмешок за спину и захромал по разбитой дороге: скрип-шлеп, скрип-шлеп, скрип-шлеп...

Леонтий шел медленно, искоса поглядывая на избы. Кое-где мерцал свет. Где-то гроыхнуло ведро, сразу захотелось пить. Он подошел к колодцу. Ухватившись одной рукой за высокий сруб, второй стал крутить ворот. Достал воды, сделал несколько глотков – кадык заходил ходуном. Леонтий слил воду на корявую жесткую ладонь, плеснул на лицо, опять слил и плеснул... Гимнастерка намокла, пошла пятнами. Он пригладил короткий ежик волос, поправил вещмешок – и опять по деревне: скрип-шлеп, скрип-шлеп...

Изредка кто-нибудь из жителей появлялся на улице. Заметив солдата с вещмешком, люди жадно всматривались в его лицо, а потом долго провожали взглядом.

Скрип-шлеп, скрип-шлеп, скрип-шлеп... Леонтий морщился, когда отступался, и снова шагал, стараясь не смотреть по сторонам, чувствуя, что за ним наблюдают. Казалось бы, родная деревня, но сейчас никого не хотелось видеть: устал за долгую дорогу. Да и радости от возвращения он не испытывал. Не было ему здесь жизни в прошлом, а теперь тем более не будет.

Скрип-шлеп, скрип-шлеп...

Наконец Леонтий добрался до дома. Вокруг поразрослась бузина да кусты сирени. Постоял, хмурясь, исподлобья поглядывая на темные окна. Все же решился – толкнул калитку, но не стал закрывать: пусть стоит распахнутая. Прошелся по заросшему двору – повсюду татарник да репей, – сбросил мешок на крыльцо, неуклюже развернулся и уселся на пыльную скрипучую ступеньку. Тяжко, со всхлипом вздохнул. Расстегнул ремни. Деревянная нога гроыхнула и съехала на землю. Достал кисет, свернул «козью ножку» и задымил.

Ну вот он и вернулся домой. А ждут ли его здесь? Вряд ли...

Махра потрескивала искрами, а потом едкий дым подхватывало ветерком, закручивало и уносило. Леонтий сгорбился, под гимнастеркой топорщились худые лопатки. Он сидел и, время от времени поглядывая по сторонам, морщился, растирая обрубок ноги.

За забором раздался чей-то голос. Ударили по доске, и донеслись шаркающие шаги.

– Это... Что расселся, прохожий? – пробубнил низенький лысый мужичок и пошкрябал волосатую грудь. – Что, говорю, сидишь-то? – Он махнул длинной рукой: – Ступай, ступай отсюда! Видишь, хозяйки нет? Вот и нечего соваться. Иди, пока я тебе пятки в обратную сторону не завернул.

– Да пошел ты! – буркнул Леонтий, продолжая растирать культю. – У, зараза, разнылась!

– Шагай, тебе сказано, нечего по чужим дворам шариться! – громко зевнул мужик, потянулся, а потом всмотрелся в Леонтия и удивленно отмахнулся: – Да ну, не верю... – Подступил ближе, склонился к солдату, хотел было опять зевнуть, но быстро закрыл рот, аж зубы клацнули. – Ленька! Ты, что ли? Ты вернулся?! На тебя же похоронка давным-давно пришла! Мол, погиб смертью храбрых, похоронен в братской могиле... А где – я забыл. Сам читал. Варвара твоя как получила похоронку, так в обморок и грохнулась, едва откачали. Все продолжала ждать от тебя вестей, не верила, что ты погиб. Ага... Война как закончилась, все деревенские мужики, кто в живых остался, домой вернулись. Мы, как соберемся, всё тебя поминали в числе погибших. А Варька каждый день на дорогу выходила – высматривала, не идешь ли. И вот ты сидишь здесь живой... Как же так, а? И правда живой, чертяка!

Мужик не удержался, хлопнул широченной ладонью солдата по спине так, что тот покачнулся и закричал.

– Слышь, Агафон, что ты размахался ручищами? Чуть спину не переломил, черт длиннорукий! Что на всю деревню разорался? Ну пришел я, ну живой – и что?

– Так это же я от радости... Ага! Много наших мужиков полегло, а ты уцелел! Я что говорю... За такое нужно выпить! – Агафон звонко щелкнул по горлу, а потом, словно невзначай, поинтересовался: – Слышь, Ленька, а где же ты столько времени пропадал? Неужто в лагерях побывал? Или какую-нить бабу утешал и забыл про свою Варьку? Сейчас же много такого добра. Сам знаешь, мужиков-то не хватает. На вес золота, так сказать...

– Какие лагеря, какие бабы, что ты мелешь помелом-то? – рассердился Леонтий. – Нога не заживала. Гангрена. Отпилят – а она опять гниет, отпилят – а она опять... Я сразу говорил, чтобы отрубили по самую мошонку и всё на этом. Ан нет, они же умные, всё знают и умеют. Говорят: «Пытаемся спасти». А что спасать, если уже гангрена пошла? Сами измучились и меня измохратили. Ладно, не подох, живучий оказался. Кое-как выкарабкался. Еле-еле душа в теле...

И заскрипел зубами – протяжно, громко, до озноба.

А потом принялся стаскивать сапог с ноги. Уцепился задинкой сапога за ступеньку, склонился, удерживая его, и запыхтел, заматерился, когда нога соскочила. Опять зацепился, снова стал дергать – и новые матюги, еще хлеще прежних.

– погоди, Ленька, не психуй, – подскочил Агафон, ухватился за сапог и за ногу, дернул раз, другой... Примерился, рванул – и Леонтий съехал со ступеньки. – На, держи свой сапог. Нога-то не оторвалась, когда дерганул, а? – Агафон засмеялся, мелко затрясся. – Меня на фронте всегда звали, если сапоги прирастали к ногам. Почитай, сутками на ходу, сапоги некогда снять, портянки перемотать. Вот и прирастали. Глянешь, а от портянок одно название осталось. И твоя портянка сопрела, гляди... Ты, Ленька, посиди чуток, сейчас вернусь. Отметим приезд.

Он щелкнул толстым пальцем по горлу, а потом заторопился со двора.

Леонтий пошевелил пальцами. Кожа белая, рыхлая, местами сбита до кровавых мозолей, а ногти на ногах толстые да желтые, и такой запах... Он пожамкал в руках вонючую портянку, та под пальцами стала расплзаться. Нахмурился, хотел было выбросить, а потом повесил на крыльцо. Авось еще послужит, когда просохнет.

– Ну, Ленька, давай за твой приезд выпьем! – закричал Агафон, появляясь в калитке, и бултыхнул бутылку с мутноватой белесой жидкостью. В другой руке он держал стопки и две вяленые рыбки. Засеменил к крыльцу. – На, держи...

Сунул одну стопку Леонтию, сам зубами вытащил пробку из бутылки – и забулькал самогон.

– С возвращеньцем!

Чокнулись. Выпили.

Леонтий поморщился: отвык. Выпивал при случае, но так, чтобы каждый день, не было желания. Он пошкрябал щетинистую щеку, достал кисет и принялся сворачивать «козью ножку». Закурил. Следом засмолил и Агафон. Поставил чурбак напротив крыльца, уселся на него и дымил, поглядывая на соседа, на обрубок ноги и большой деревянный протез со сбитой набойкой. Похвастался:

– А я всю войну прошел – и ни одной царапины! Бывало, после боя глянешь: вся шинелька в дырах, а сам целый. Ага...

– У каждого своя судьба, – буркнул Леонтий. – У нас был такой же, как ты: тоже ни одного ранения, словно заговоренный. А через речку переправлялись – он утонул. Видишь, как судьба распорядилась...

– А для чего такие большие оглобли сделал? – Агафон ткнул в протез. – Ничего промеж ног не натерло? Гляди, отвалится хозяйство-то. Как же без него будешь, а?

И хохотнул, довольный.

– За свое хозяйство беспокойся, – покосился на него Леонтий и высыпал остатки табака в кисет. – Так удобнее ходить. Не потеряется. Ремнями привязал к ноге и шагай. Первый протез выстругал, так на ходу мотылялся, все колено истер. Вот и придумал с такими оглоблями. Подушечку под колено сделал, рюмку для култышки и ремни присобачил. Култышку сунул, захлестнул ремнями – ни в жизнь не соскочит. Проверено.

– Ага, понятно, – закивал Агафон и потянулся с бутылкой. – Давай-ка еще раз за твое возвращение. Живой пришел, глянь-ка! – И удивленно мотнул башкой.

Выпили еще по стопке. Леонтий оторвал рыбий хвостик, погрыз и опять вынул кисет. Курил, поглядывая по сторонам. Вон сарай покосился. Огородишко зарос сорняками, а поле, где картоху сажали, почти все бурьяном покрылось. Лишь поближе к избе земля чернеет. Раньше-то поболее засаживали... В старые времена по осени картоху выкапывали, а нынче уже убрали. А может, даже и съели – кто знает. Он вздохнул.

– А что домой не писал? – покосился на него Агафон. – Как ушел на войну, так и пропал. Ни слуху ни духу...

– Что спрашиваешь-то? – Леонтий сгорбился, уткнулся взглядом в крыльцо. – Сам знаешь, как я жил.

Жизнь у него еще до войны не заладилась. Свела судьба с Варварой, но так и остались чужими друг для дружки. Да и женились как-то не по-людски. Слишком быстро все закрутилось. Немного погуляли, а потом расписались. Может, как говорят, влюбился по уши: девка-то красивая была, мимо не пройдешь – оглянешься. А может, чем-нибудь опоили, чтобы дальше своего носа не видел. На следующий день, когда свадебные гости опохмелились, кто-то с ехидцей сказал, что баба у него блудливая, как мартовская кошка. Леонтий не выдержал, обозвал жену по-всякому и оттолкнул от себя, а она взглянула и промолчала, ни слова не сказала в ответ, лишь нахмурилась и в избе скрылась. Он сидел на крыльце словно оплеванный и не знал, как быть дальше. Ударить кулаком по столу и сказать гостям, что не останется с Варварой, потому что его обманули? Засмеют и не поймут: сам же выбирал невесту, вот и живи теперь. И никуда не денешься.

Стали жить. Леонтий думал, перемелется – все забудется, но, видать, бесполезно. Не простила его Варвара, затаила обиду. Первое время возвращался домой, по хозяйству возился, ночью совался к жене, а она словно бревно лежит или отвернется и молчит. До замужества веселая была да ласковая. Дня не мог прожить без нее. А потом будто наизнанку вывернули... Замолчала с той поры, как он ее при людях обругал, и ни словечка не говорила.

Детей не было. Пустая оказалась.

По деревне про нее всякие слухи гуляли. Говорили, будто у Варвары раньше был заезжий хахаль, с которым она было уехала да через две

недели вернулась. Всё думали, за ум возьмется. Ага, как же! Другого ухажера подцепила и назло всем закрутила с ним любовь, потом третьего... А потом Леонтий подвернулся – молодой, глупый. Окрутили его Варька с ее матерью, башку задурили и женили простачка... И еще всякое шептали.

Так и жили молодые супруги – каждый сам по себе. Он дневал и ночевал на работе. Она собиралась и тоже уходила. Леонтий вернется домой, а ее нет. Появится, молчком сунется на кровать и не шевелится, а начини говорить – будто не слышит. И лаской пытался образумить, и смертным боем бил, а Варвара отлежится – и снова в молчанку играет. Потом Леонтия на войну забрали. Ни слезинки не проронила, когда провожала. Все смотрела на него, за руки хватала и старалась в глаза заглянуть, но молчала. Он буркнул, что прощает все ее грехи, но больше к ней не вернется, потом уселся на подводу и ни разу не оглянулся, пока деревня не скрылась из виду.

А сейчас приехал – и для чего?..

Леонтий помедлил, взглянул на соседа, выпил, отмахнулся от закуски и, уткнувшись носом в пропахшую потом гимнастерку, сгорбился на ступеньке.

– Устал я, Агафон, – сказал он. – И раньше была жизнь через пень-колоду, и сейчас вернулся не знаю зачем. Сижу, а в избу не захожу. Словно не моя она, а чужая. Как будто мимо шел, присел немного отдохнуть и сейчас дальше отправлюсь. Видать, вся наша жизнь – это дорога. Только у кого-то она гладкая, а у меня – вся в колдобинах...

– Знаешь, Ленька, у каждого в жизни колдобин хватает, – перебил Агафон. – Не успеваешь перепрыгивать и обходить. И люди не станут разбираться, кто или что тебя толкнуло в грязь, а тут же начнут судачить. Вот помочь отмыться и встать на ноги согласится не каждый, потому что всегда легче осудить, чем протянуть руку.

Они сидели и молчали. Изредка курили, а еще реже наливали самогонку и выпивали. Потом Агафон поднялся.

– Ну, бывай, – сказал он. – Подумай над моими словами, а я пошел. Уматался сегодня. На ходу засыпаю. – И громко, протяжно зевнул.

Направился к калитке, но потом обернулся.

– Слышь, а что про Варьку-то не спрашиваешь? Все-таки жена...

Леонтий пожал плечами.

– А зачем? – сказал он. – У Варьки своя жизнь, а у меня...

И махнул рукой.

– Уехала она, – зевая, сказал Агафон. – Немного не застал. Дня два как уехала, а куда – не знаю.

И ушел.

Леонтий невольно оглянулся на дверь. Уехала... Кажется, на душе стало легче, но в то же время навалилась усталость. Он боялся этой встречи, но в душе хотел увидеть ее, свою жену. Посмотреть, какой она стала за эти годы. Хотя какие годы, если его в середине войны забрали... Такая же осталась, как раньше. С ним холодная, словно ледышка, зато с другими была горяча, как шептались в деревне. Леонтий ушел на фронт и ей руки развязал: делай что хочешь...

Он чертыхнулся. Хватит о ней думать и себя накручивать!

Долго поднимался, схватившись за шаткие перила. Придерживаясь за стену, допрыгал до двери. Она не заперта: зачем, если нечего воровать. Толкнул – заскрипела и распахнулась. Уже в сенях до боли знакомые запахи. На ощупь нашел в темноте дверь в избу, дернул. Не по-

лучилось переступить порог. Опустился на щелястый пол, на карачках пробрался внутрь. Прислонился к печке. Холодная, а все равно пахло хлебом и дымом. В животе заурчало. Леонтий уже забыл, когда в последний раз ел, да и желания раньше не было: покурил, водички попил – и хватит.

Заполз в горницу и опять прислонился к стене. Стена обшарпанная, давно не мазанная и не беленная. Взглянул по сторонам – и закашлялся, задохнулся. Частенько ему на фронте и потом в госпитале ночами снилось, как он сидит за столом, а на столе чугунок с картохой, рядом капуста лежит и полная чашка соленых рыжиков, а здесь груздочки выглядывают, а в другой чашке судак и щука соленые – сам на зиму заготавливал. Каждый год опускал в погреб по два-три бочонка с рыбой, потом всю зиму питались. С картошкой, с соленьями, а если еще под стакашок... И, как ни странно, Варвара снилась. Иной раз Леонтий чертыхался, а бывало, тоска накатывала, да такая, что хоть волком вой или об стену головой бейся!

И всегда была какая-то недосказанность в этих снах. Варвара стоит перед ним и смотрит, словно в душу заглядывает и выворачивает ее – эту душу, и вроде что-то хочет сказать. Потянется ему навстречу, а потом плечики поникнут, и стоит сгорбившись. Леонтий руку начнет к ней протягивать, а рука неподъемная, с места не сдвинешь. Рванется к ней – и тут же просыпается, а потом весь день смурной ходит..

– Эй, хозяйева! – С улицы донесся густой голос, и раздались медленные тяжелые шаги. – Что свои ноги разбросали по всему двору? Ни пройти ни проехать.

Заскрипела дверь. Склонившись, протиснулся высокий мужик, аккуратно приставил протез к печке, а сам заглянул в горницу.

– Здорово, Ленька! – забасил он, подхватил Леонтия и принялся тискать. – Здорово, чертяка! Живой, ёшкин малахай, а мы уж тебя тыщу раз похоронили! Значит, будешь жить вечно... – И опять тискает.

– Пусти, Панкрат! – захрипел Леонтий, стараясь вырваться из цепких рук. – Все ребра переломал, ирод!

– А мне Агафон говорит, ты вернулся, а я не верю. Сам знаешь, какой он болтун, – продолжал басить мужик. – С того света не возвращаются. Ага, ёшкин малахай... Думал, он лишку выпил. Присмотрелся – вроде трезвый, и по глазам видно, не врет, зараза. Ну я у своей бабы пузырек забрал ради такого случая, немного снеди прихватил – думаю, ты же голодный вернулся, – и сюда подался. Гляжу: точно, возле крыльца нога валяется. Не обманул Афонька! Аж дух занялся, так обрадовался. Ведь тебя же давным-давно схоронили, ёшкин малахай. Одна твоя Варька не верила, что ты погиб. Всё ждала...

И Панкрат опять полез обниматься. Потом дотащил Леонтия до стола и посадил на шаткую табуретку.

– Здесь чуток посветлее будет, – сказал он, вытащил из кармана бутылку, заткнутую бумажной пробкой, положил на стол большой сверток и метнулся на кухню. Загремел чем-то, захлопали дверцы, и Панкрат опять вернулся. – Вот, разыскал, – сказал он, поставил стаканы и разлил выпивку. Потом развернул сверток и придвинул к Леонтию. – Это для тебя, ёшкин малахай. Давай-ка опрокинем по стопке, и принимайся за еду. Истощал, кожа да кости остались! Ну, ничего, были бы кости, а мясо нарастет. Откормит тебя Варвара, поставит на ноги...

И загнувшись, исподлобья взглянув на Леонтия. Тот промолчал, лишь сильнее нахмурился.

– Ну, провались земля и небо, мы на кочках проживем, как мой батяня говорил. Давай-ка опрокинем за приезд, – сказал Панкрат, медленно выпил и затряс головой. – Ух, зараза, аж слезу вышибает! – И тут же ткнул пальцем: – Ты покушай, Ленька, покушай. Оголодал, пока добрался. Правда, мало разносолов. Голодновато в деревне, но ничего, не помрем – привыкшие.

Леонтий взял со стола маленького жареного окунька и принялся его грызть, обгладывая и обсасывая каждую косточку. У, вкусно-то как! Всякую рыбу пробовал, а своя намного вкуснее. Родная, можно сказать.

– Давай еще по стопке опрокинем, – подтолкнул Панкрат. – Ну и что, что темно? Мимо рта не пронесешь!

И снова закричал, закашлялся. Потом закурил, и огонек выхватывал из тьмы уставшее лицо, заросшее щетиной, и пальцы с обгрызенными ногтями.

– Ну, рассказывай, почему задержался, – наблюдая за Леонтием, сказал сосед. – Афонька говорил, что в госпитале валялся. А почему не писал домой? Все обиду держишь на Варвару, да?

– А тебе какое дело? – не стерпев, рявкнул Леонтий и бросил рыбью голову на стол. – Что лезете в душу? Один зашел, взялся учить, сейчас ты нос суешь... В своих семьях разбирайтесь, а ко мне не приставайте, не то враз отлуп получите. Ишь, защитнички выискались!

Не удержался, схватился за бутылку, налил в стакан, выпил и замолчал, поглядывая в темное окно.

– Дурак, – спокойно, даже неторопливо пробасил Панкрат и повторил: – Дурак! Развыступался, ёшкин малахай! Сам виноват. Поменьше бы других слушал, а побольше бы Варькой интересовался. Внимание уделяй, так сказать. Глядишь, жили бы как люди. Ладно, потом поговорим... Лучше скажи, как в госпиталь попал, почему похоронку прислали?

– Как обычно попадают – ранили, – буркнул Леонтий. – Осколком зацепило. Гангрена началась. Если бы сразу отрезали ногу, давно бы приехал, а они «спасали». И на кой черт она нужна такая? – Он хлопнул по обрубку, поморщился – больно. – Это же не мужик, с такой култышкой, тем более в деревне: ни копать, ни пахать. Молодой еще, жить да жить, но уже стал обузой. Ай, да пропади всё...

Махнул рукой и отвернулся.

– Какая обуза, если всего полноги не хватает? – хохотнул Панкрат. – Вон возьми нашего Николая Дронова. Ну, у которого дом возле речки. Да ты знаешь его, ёшкин малахай! У него три култышки и рука крючком, а он живет да еще умудрился ребятенка сделать. И баба его рада-радехонька, пылинки с него сдувает. А ты: обуза, обуза... Кому – Варьке, что ли, обуза? Да ну, скажешь тоже...

– Что ты заладил: Варька, Варька... – взъярился Леонтий и крепко хлопнул ладонью по столу. – У нее своя жизнь, а у меня своя. Понял? Я вообще не хотел возвращаться. Никто не ждет меня. Некому ждать.

– Дурак, ох дурак! – покачивая головой, сказал Панкрат и поднялся. – Ладно, я пойду, пока не разругались. Вижу, разговор не получается. Отсыпайся с дороги. Скажу своей бабе, чтобы завтра к тебе заглянула. Чем-нибудь поможем. – Постоял, помолчал, потом все-таки сказал: – А Варька твоя, чтобы ты знал, за десятерых ломила в войну, когда всех мужиков на фронт забрали. Всех баб поддерживала, с любой бедой к ней бежали, а она помогала. Последний кусок ребятишкам-сиротам отдавала, а сейчас поехала... – Он запнулся, а потом махнул рукой: –

Смотришь далеко, а под носом ни шиша не видишь. Эх ты, горе луковое...

И ушел, хлопнув дверью.

Леонтий долго сидел за столом. Темно за окном, а в избе еще темнее. Руку протяни – и не увидишь. Курил. Вспыхивал огонек, выхватывая из темноты край стола, или отражался в мутном стекле. Леонтий потушит окурок, вытрусит в кiset и снова сидит. Обо всем думал. Мелькали перед ним обрывки прошлой жизни. Одни исчезали, другие складывались в какую-нибудь картинку. То война вспоминалась, то довоенное. Вот отец мелькнул, давно уж его нет в живых. Надо бы на могилки сходить к родителям да и деда с бабкой проведать. Всех родных Леонтий схоронил. Один был у матери с отцом. Мать он помнил плохо: какой-то смутный образ, запахи больницы... А потом она померла. Леонтия воспитывал отец. Да как воспитывал, если его дома-то не было, все на работе пропадал? Вернется, повозится по хозяйству, что-нибудь перекусит и спать заваливается... Однажды по весне отец стоял на обрыве, смотрел, как вода прибывает, а край обрыва обвалился и ушел под воду. Отца нашли в топляках, когда вода на спад пошла.

Пришлось Леонтию самому заниматься хозяйством. Не до учебы стало, рано пошел работать, а подошло время – женился, но жизнь как-то не сложилась. Конечно, Леонтий и себя за это корил, но Варвару – больше: мол, люди зря не будут говорить, дыма без огня не бывает. С другой стороны, может, со всем бы они справились, если бы он, мужик, ей плечо подставил. А он, получается, оставил ее одну со всеми бедами-напастями: мол, разбирайся как знаешь... Вспомнил он, как они с Варварой познакомились, как гуляли, о чем разговаривали... Что ни говори, а с ней было интересно! И смеялась она так, что и не захочешь, а следом за ней зальешься. А уж как взглянет...

Леонтий чертыхнулся: все-то она в башку лезет! Неуклюже поднялся. Придерживаясь за стену, допрыгал до кровати в углу. Скинул гимнастерку и повалился на матрац. Покрутился, устраиваясь на подушке, – и от нее Варварой пахло, как показалось. Хотел сбросить подушку на пол, а потом обнял покрепче и уснул, словно провалился. Все, он дома...

Едва рассвело, Леонтий был на ногах, если можно так сказать. Сунул свой обрубок в протез, захлестнул ремнями, вышел во двор, постоял, поглядывая по сторонам, потом взял ведро и как был в натальной рубашке, так и направился к колодцу: скрип-шлеп, скрип-шлеп...

– Ой, гляньте-ка, Леонтий воскрес из мертвых! – протяжно, с ехидцей, заголосила толстая баба, стоявшая возле колодца. – Прикатил, а его красавица умызнула. Видать, поехала нового хахала искать...

– Дура ты, Глашка! Что языком-то поганым мелешь? – всплеснула руками старушонка в широкой юбке до земли, в кацавейке и теплом платке. – Не знаешь – не болтай! Здравсте вам, Леонтий Матвевич! – Она склонила голову. – Вот радость-то, живым вернулись! А Глашку не слушайте. Завистливая баба.

– А чему завидовать-то? – уперев руки в бока, возмутилась Глафира. – Что у него баба гулящая или что он безногим воротился? Хе-хе, вот радость-то! И Варька не баба, и он не мужик. Так, две половинки... – И поджала тонкие губы.

– Стыда у тебя нет! – покачивая головой, протяжно сказала старуха. – Не слушай ее, Леонтий Матвевич! Твоя Варька – золото, а не баба.

– Золото для других? – буркнул Леонтий, подхватил ведро и медленно направился к дому: скрип-шлеп, скрип-шлеп...

– О, баб Дуся, слышала? Сам Ленька сказал, что его Варька еще та гулена! Всех мужиков перебрала, огни и воды прошла, шалава подзаборная, – опять зачастила Глафира. – Горбатого могила исправит. Так и ее...

– Да замолчи уже! – сердито прошамкала старуха. – Сама не живешь и другим не даешь. Распустили сплетни на пустом месте, ославили девушку на всю деревню... Вот погоди, скажу твоему мужику, пусть он тебя проучит!

– Тоже мне напугала – мужик! Да я сама его... – начала было Глашка – и ойкнула, когда рядом с ней вдруг загудел тягучий бас. – Коленька, а же пошутила... Конечно, ты настоящий мужик... А-а-а!..

– Правильно, Коля, так ее, заразу! – донеслось от колодца. – Приструни немного, чтобы почем зря языком не молола.

Во дворе Леонтий скинул исподнюю рубаху и принялся мыться холодной водой. Охал, фыркал, намываясь. Потом вытерся утиркой, висевшей на крыльце, подхватил рубаху и зашел в избу.

Усевшись за стол, сразу налил в стакан, выпил. Закряхтел, замотал головой: ух, крепка самогонка! Потом схватил окунька и принялся грызть. Достал из свертка, что оставил Панкрат, две небольшие картошки. Очистил одну: внутри почерневшая. Все равно откусил и замурился. Опять налил и выпил. Закурил. Стал осматриваться.

Впотьмах-то накануне родную избу не разглядел. Все такое знакомое, но в то же время чужое. Как он вчера сказал соседу, «будто я мимо проходил и просто присел отдохнуть». Так и сейчас было, но уже как будто немного отступило и притупилося... Стол, табуретки, кровать в углу, над ней простенький коврик. Рядом сундук, а в нем, как он помнил, его костюм, рубахи и ботинки, Варькины платья и прочие тряпки. Возле окна этажерка, на ней две-три книжки, огрызок карандаша, шкатулка – все нажитое богатство. А в углу икона виднеется. Это Варвара с собой принесла, когда они с Леонтием поженились. Странно, если насовсем уехала, почему ее не забрала? Леонтий сдвинул брови. Знал, что жена дорожила этой иконой, которая ей будто бы еще от бабки досталась. Икона здесь, а Варвары нет, и куда укатила – непонятно, все молчат...

Леонтий поднялся. Придерживаясь за стены, вышел во двор. Распахнул дверь в сараюшку. Тишина. Раньше, хоть и жили сами по себе, а здесь и свинка была, даже не одна, и кур десятка два, и гуси ходили, и козу держали. И за всем этим хозяйством Варвара присматривала... Тьфу ты! О чем бы ни подумал, все думки неминуемо к Варьке сходятся!

Огляделся в полутьме. Скрип-шлеп, скрип-шлеп. Подошел к закрытой двери, звякнул щеколдой – открыл. Остановился на пороге. Здесь он столярничал. Верстак в углу, на нем лежит весь инструмент, на стенке пилы, угольники да линейки. Он постоял, рассматривая. Каждая вещь на своем месте, как он привык держать. Наверное, Варвара позаботилась... Вот черт, опять! Грохнул дверью и направился в избу: скрип-шлеп, скрип-шлеп.

– Хозяин, бывай здоров! – На крыльце стояла соседка с ведром и узелком. – С прибытием, Лень! Мы так рады, что ты вернулся живой, так рады! Я всю ноченьку глаз не сомкнула, все про тебя думала да про Варвару...

– Нечего думать, – буркнул Леонтий и стал медленно подниматься по ступеням. – Не успел появиться, уже всю плешь прогрызли. И ты будь здорова, Анюта! Что тебя нелегкая принесла?

– Панкрат прислал. – Она кивнула на ведро. – Чуток картошки положила. Плохо уродилась в этот раз, да и сажать было нечего. Вот здесь еще грибы. А Панкрат выделил для тебя самосад и газетку сунул на всякий случай. Мало ли что... – Она помялась, хотела что-то сказать, а потом махнула рукой, все оставила и пошла со двора. – Сами разберетесь, не малые дети.

Чему-чему, а табаку Леонтий обрадовался. Лучше без куса хлеба остаться, чем без курева! Проголодаешься – можно потерпеть дня два и даже три, а вот без табака сразу беда. Весь изведешься, всю траву да листья искуришь или изжуешь, но все равно тянет смолить – спасу нет. Он сразу подхватил узелок и ведро да быстрее подался в избу.

К вечеру снова нагрянули гости. А потом люди и вовсе потянулись друг за дружкой. По деревне быстро разошелся слух, что считавшийся погибшим Леонтий Шаргунов вернулся – без ноги, но живым. Несмотря на голодные времена, каждый старался прихватить гостинчик. К Леонтию заглядывали все: соседи, ребяшня, деревенские бабы и молодые девчонки. И вдовы заходили – спросить, не встречался ли он где-нибудь на фронте с их мужьями... Спрашивали, а сами плакали.

Плакали все, кто приходил, бывало, даже мужчины не сдерживали слез.

Мужики приносили бутылку, рассаживались возле стола, а то и на подоконнике, если места было маловато, выпивали и подолгу разговаривали. Все разговоры в конце концов сводились к войне. Каждый старался выложить что-нибудь свое, наболевшее: или про себя, или про друзей, с кем рядом воевал. Этот вернулся, тот погиб, а тем повезло – в госпиталь угодили. Повезло, потому что в живых остались, а что теперь без руки или без ноги – это мелочи. Дома их готовы ждать сколько угодно и примут любых: здоровых, контуженных, безруких и безногих, слепых и глухих... Лишь бы вернулись.

– Вот я помню, наш полк вырвался вперед, – рассказывал невысокий тощий мужичок. – Ушли мы далеко от своих – и нас взяли в кольцо. Боеприпасы закончились. И как принялись фашисты садить в нас без передышки, зная, что никуда не вырвемся! Трое суток мы пролежали в болотах, головы не могли поднять – такой огонь вели по нам фрицы. Чтобы от него укрыться, мы выкладывали перед собой тела погибших товарищей. Они мертвые спасали нас живых. А через трое суток наши подоспели. Вот только от полка осталась всего одна рота. Так-то, братцы... Мне ногами снятся ребята, что там погибли. Приходят. Разговариваю с ними...

Он замолчал, уткнувшись взглядом в пол.

– Давайте, мужики, выпьем, – сказал кто-то.

Все выпили.

– А мы готовились к атаке. «Катюши» как врезали по немцам – ужас, что творилось! – заговорил крепкий мужик в расстегнутой до пупа рубашке. – Как дали, аж земля горела! Потом пошли мы, танки. И только двинулись в атаку, как из огня навстречу нам выскакивает фашист! Прямо вот так, передо мной. Гляжу, а у него вся башка седая и глаза белые-белые, даже зрачков не видно! Видать, рассудка лишился после наших «катюш». Никого не замечает и бежит прямо на мой танк. А я куда отверну, если рядом со мной другие идут? По нему прошли... Эх, война сволочная!..

И тоже смолк, уставившись куда-то в окно.

– Помню, заскочил я в один дом, когда Берлин брали, – медленно заговорил еще один мужик, потирая щетинистое лицо. – Слышу, кто-то

возится в комнате. Забегаю туда, а там офицер-эсэсовец в гражданскую одежду переодевается. Видать, сбежать хотел. Меня увидел, пистолет выхватил и выстрелил мне в лицо. Промахнулся, мне только висок обожгло. Я его из автомата снял. Дурак он: нужно было в грудь стрелять, тогда бы попал. А он – в лицо из пистолета! Кто же так стреляет?

Сказал и пожал плечами, словно не в него палили и не его могли убить.

– Давайте, мужики, выпьем за всех, кто не вернулся домой, – предложил кто-то за столом. – За всех, кого до сих пор ждут и будут ждать...

Выпили. Потом потянулись на улицу, на перекур. И на крыльце опять долгие разговоры. Вспоминали войну, тут же переходили на деревенскую жизнь и начинали что-нибудь обсуждать, спорить, а иногда и ссориться. Тогда вмешивались жены и наводили порядок: одних ругали, других уговаривали, третьих просто уводили домой.

Прошло несколько дней, и на пороге появился председатель, Роман Тимофеевич. Зашел, осмотрелся. Нахмурился, увидев замызганные полы, мусор в углах, пепел на столе и подоконниках, разбросанные повсюду свертки, узелки и узелочки. В доме стоял стойкий запах махорки.

Леонтий сидел за столом – небритый, опухший и уже навеселе.

– Здорово, солдат! – Председатель подошел к столу, громыхнул табуреткой и присел напротив Леонтия. Покрутил в руках заляпанный стакан, чуточку налил в него и выпил. – За приезд, за твое воскрешение из мертвых!

– А, здрасте вам. – Леонтий пьяно качнул головой. – Как живете-можете? – И потянулся за бутылкой.

– Вашими молитвами. – Председатель перехватил бутылку и отставил подальше. – Не надоело в рюмку заглядывать?

– А что? – с гонором сказал Леонтий. – Имею право! Я домой вернулся. Вот гуляю...

Он обвел рукой стол.

– И долго еще собираешься гулять? – прищурился Роман Тимофеевич.

– Сколько хочу, столько гуляю. Вам-то какое дело? – повысил голос Леонтий. И заухмылялся: – Я человек списанный, к жизни и труду непригодный. Калека безногий. Вся моя жизнь коту под хвост. Ясно вам?

– А, ну да, ну да! – закивал председатель. – Это проще всего – себя жалеть. Мол, больной, хромой, жизнью обиженный... И самогоном себя глушить – так сказать, горе заливать.

– Я войну видел! – Леонтий ударил кулаком по столу. – А ты, Тимофеевич, дальше райцентра не выезжал. И не тебе меня совестить, понятно?

– А я каждый день смотрел в глаза детишек, которых к нам привозили в эвакуацию! – тоже повысил голос председатель. – У нас в деревне всю войну детдом стоял, только потом его в город перевели. Ты знаешь, какво это, когда голодные дети смотрят на тебя и молчат? Страшно и больно... Твоя Варвара этих ребятишек выхаживала. В тень превратилась, потому что у самой маковой росинки во рту не было, все им отдавала. И если бы не она...

– Да что вы лезете ко мне с этой Варькой? – вспылил Леонтий и смахнул со стола пустую бутылку. Та, звякнув, покатила по грязному полу. – Нашли икону! У меня своя жизнь...

– Знаешь, Ленька, я тебе раньше сочувствовал, – помолчав, сказал Роман Тимофеевич. – Ты рано без родителей остался, совсем еще мальчишкой пошел работать, чтобы себя прокормить. Потом, как женился,

поползли эти слухи про Варвару... Я думал, надо же, как не везет человеку, жалел тебя. А теперь понял: ты просто дальше своего носа не видел и не хотел видеть. Тебе так было удобно. Наслушался бабьих пересудов, отвернулся от жены и успокоился. А ты бы своей башкой подумал, сколько Варваре пришлось вынести, через что она прошла! Ты помочь ей должен был, защитить. А ты бросил ее одну...

Председатель вздохнул. Хотел было налить себе в стакан, но передумал и поставил бутылку обратно.

– Я бросил?! – вскинулся Леонтий. – Я вернулся – и где же она, моя разлюбезная, а? Никто не знает, а кто знает – посмеиваются. Говорят, к хахалю подалась...

– Дурак! – оборвал его председатель. – В город твоя Варька поехала, в детдом. Прикажешь на каждом перекрестке об этом кричать? Хочет она взять мальчонку-сироту. Мы с бумагами помогли. А что тебя никто не спросил, так ведь ты погибшим числился, столько лет не подавал о себе вестей... – И добавил: – Радуйся, сын у тебя будет! Еще один мужик в доме появится, помощник вырастет. Мальчонка – вылитый ты. Варвара как его увидела, так сразу к нему сердцем и потянулась.

– Сын... – Леонтий запнулся и в растерянности закрутил башкой. – Так ведь... А как жить-то будем? Я же безногий...

Сказал и поник.

– А руки и голова у тебя на что? – усмехнулся Роман Тимофеевич. – Чем собираешься заниматься? Так и будешь у бутылки дно искать или все-таки возьмешься за ум? Не для того Варвара мальчонку привезет, чтобы он смотрел, как отец лодыря гоняет и спивается.

– Да куда я со своей культей пойду? – Леонтий стукнул по ноге. – Ни копать, ни пахать...

– Кто тебя заставляет пахать? – пожал плечами председатель. – Ты же неплохой столяр и плотник. До войны любо-дорого было смотреть на твою работу. И двери делал, и окна, да много чего... Вот и займись. Мастерскую выделю, инструментами и материалом обеспечу. Помощников подберешь сам. Работы – непчатый край: нужно старое восстанавливать, новое строить... Сына в подручные возьмешь, пусть растет при деле, учится мастерству. Ну как, согласен?

Леонтий растерялся от неожиданного предложения. Он уже привык считать себя ни на что не годным, обузой для других, а тут вдруг... Вспомнил, как в первый день после возвращения зашел в свою мастерскую, как задрожали руки, прикоснувшись к инструментам... Соскучился!

– Можно взяться, – степенно сказал он. – От работы я никогда не бегал. Приучиться бы только с одной ногой управляться...

– Вот и ладушки, – перебил Роман Тимофеевич и встал. – Договорились. Я распоряжусь, чтобы подготовили мастерские и прочее. А тебе даю еще три дня на уборку в избе... – Он обвел взглядом горницу. – И в семье порядок наведи. Нужно жить своей головой, а не верить чужим сплетням. Понял? Вот так!

Надвинув на глаза фуражку, председатель пошел к выходу. На пороге оглянулся, постоял, глядя на Леонтия, как будто прикидывал, можно на того надеяться или нет. Потом погрозил пальцем и вышел.

Леонтий еще посидел за столом. Хотел выпить, но подумал и отставил бутылку в сторону. Посмотрел по сторонам: везде грязь, мусор, окурки... А запах!.. Поморщился и торопливо взялся за уборку. Думал о Варваре, о сыне, который скоро приедет, и удивленно качал головой.

Смеркалось, когда дверь распахнулась и на пороге появился Агафон. Он хохотнул, увидев, как Леонтий елозит по полу в исподнем белье и косырем скоблил грязные половицы.

– Эй, Ленька, ты что это делаешь? – Сосед прислонился к косяку. – Полы драить – это же бабья работа! Хватит, поднимайся. Посидим, покурим, поболтаем. Столько не виделись...

– Некогда рассиживаться, – буркнул запыхавшийся Леонтий. – Иди отсюда, не стой над душой! Мешаешь. Хватит, отметили приезд. Пора делом заняться.

И опять взялся за косырь.

Агафон потоптался, что-то бормоча себе под нос. Собрался закурить, достал кисет, потом взглянул на чистый пол и молчком вышел.

Чуть погодя снова стукнули в дверь. Ввалился крепкий старик, держа в руке небольшой кукан с мелочевкой.

– Ленька, я рыбку принес! – забасил он и в грязных опорках прошлепал к столу. Положил на него рыбу и прищурился: – А ты чего на карачках ползаешь? Перебрал, что ли?

– Ну, дед Тимоха! Я тут полы скоблю, а ты в грязной обуви шляешься! – не удержался, рыкнул Леонтий и вытер вспотевшее лицо. – Вон, аж мокрый весь... Спасибо за гостинец.

– Ну ладно, не стану мешать. – Дед Тимоха направился к двери. – Не ругайся. Рыбку определи, чтобы не испортилась. Наловлю – еще принесу.

Леонтий не ответил, все скоблил полы. Доски зажелтели. Намочит их – сразу смоляным духом тянет. Опять берется за косырь и начинает скоблить. Немного продерет, смывает водой – и опять запах смоляной...

Наконец закончил. Чувствуя усталость, устроился на крыльце с кисетом. Над деревней висели густые сумерки. Дорога терялась в них, но Леонтий все равно смотрел вдаль, дымил самокруткой и ждал. Вдруг они приедут уже сегодня – Варвара и мальчик. Какими словами их встретить? «Здорово, малой, я твой папка. Здравствуй, Варя. Мне Тимофеич все рассказал...» Так, что ли?

Задержалась щека, следом затряслась голова. Он схватился рукой, словно старался удержать. Врачи говорили, что это нервное, со временем пройдет...

Леонтий представил лицо жены. Вспомнил, как она смотрела в тот день, когда его забирали на войну, – словно хотела что-то сказать или спросить, но не решалась... Вспомнил слова председателя, что нужно жить своей головой. И вдруг успокоился. Здесь его дом, и теперь у него по-настоящему есть семья. Война и мытарства по госпиталям остались позади. Можно начинать жить заново. Они с Варварой и сами не пропадут, и сына на ноги поставят. Ничего, что он, Леонтий, без ноги. К этому можно приспособиться. Главное, что живой.

Он сидел, курил, глядя в дорогу, по которой к нему должна была прийти новая жизнь, готовый встать и шагнуть ей навстречу. Может, они приедут завтра, а не сегодня. Путь-то из города неблизкий... Ну и ладно: ведь Леонтий больше никуда отсюда не денется. Он теперь всегда будет с ними. Он вернулся.

ЛЮДИ-ПТИЦЫ

Алёшка, сидевший на крылечке, потёр красные воспалённые глаза и поёжился, поправляя старую куртку. Казалось, солнце пригревает, а потянет ветерок, и сразу знобит. Что ни говори – осень на дворе. Он вздохнул. Вот уж который день не спит. Вроде закроет глаза, а сон не идёт. Всё бабу Шуру вспоминает. К ней привязался, когда родители померли. Баба Шура забрала его к себе. Одна жила. Дед Василий давно пропал. Вышел на двор и исчез. Долго искали, но не нашли. Разное говорили в деревне, будто он с нечистой водится, но чаще дурачком называли, но баба Шура никого не велела слушать. Говорила, что дед Василий хорошим мужиком был. Пусть у него мозги набекрень и со своей чудинкой, но все люди такие же, как дед, и ничем не лучше, а может, и похуже, но скрывают это. И обещала, когда Алёшка вырастет, рассказать про него. Алёшка остался жить с баб Шурой. В школе слабенько учился. Бог ума не дал, как соседи говорили. Учителя махнули рукой, что толку тратить на него время, если ветер в голове гуляет. В одно ухо влетает, а из другого со свистом высккивает. Сидит на уроках и ворон в небе считает. А бывало по осени, когда птицы собирались в стаи, Алёшка выскакивал из класса и начинал кружить по двору, словно взлететь пытался. Девчонки смеялись и дураком обзывали, а мальчишки нередко лупили его, а он ни на кого не обижался. Он смотрел на всех и улыбался – широко и радостно. Учителя головой качали: мол, бабка Шурка, ты намучаешься с внуком-то. А когда тебя не будет, совсем пропадёт паренёк. И советовали, чтобы сдала его в детдом или в специальный интернат, где такие же живут, как он, а то и похуже. Убогие – одним словом. А баба Шура хмурилась и начинала грозить всеми земными и небесными карами, за то, что живого человека хотят на погибель отправить, и говорила, что костями ляжет, но не отдаст родного внука. Пусть мозги набекрень, как у деда Василия, но он же человек – это главное! Как же можно взять и своими руками родную кровиночку в интернат отдать? И грозила скрюченным пальцем...

Баба Шура повезла внука в райцентр, врачам показала. Может, таблетки или микстуру выпишут, чтобы умишка прибавилось. Всего лишь капельку, а больше и не нужно. Жалко внука, к жизни неприспособлен. Врачи руками развели. Если своего ума нет, чужого не добавишь. Хворобу в башке нашли. Какое-то наследство передалось, как баба Шура всем говорила, а потом смеялась, что богатым будет внук-то, и справки показывала, а что там понаписали врачи, чёрт ногу ломает. Махнёт рукой баба Шура и меленько засмеётся, прикрывая беззубый рот уголком косынки. А потом пристроила Алёшку в мастерские. Пусть полы подметает да всякие железяки таскает, чем сиднем сидеть дома. Глядишь, копеечку заработает. Какая-никакая, а помощь. Там Алёшке понравилось. Особенно когда разрешали в кабине посидеть. Вот уж радовался! И Алёшка стал в мастерской пропадать с утра до вечера. Особенно когда посевная или уборочная, когда каждая пара рук на вес золота, даже руки убогонького. Вернётся

домой, усядется за стол, а сам носом клюёт. Не успеет улечься, уже засопел. И почти всегда один и тот же сон, будто баба Шура стоит возле калитки и ладошкой машет ему, словно подзывает, чтобы поторопился, а сама улыбается и вся светлая-светлая. Родители не снились. Ни разу. Потому что не помнил их. Так, какие-то образы мелькали, и всё. И деда Василия не видел, только на фотографии. А баба Шура всегда во сне приходила. Наверное, успевал соскучиться за день. А она жалела его, всё расстраивалась, как он будет жить с птичьими мозгами, если ни к чему не приспособлен. Всё дожидалась, что старшая дочка приедет. Надеялась, что Алёшку к себе заберёт. И не дождалась. Померла. Тихо ушла, незаметно...

Осень на дворе. Пусть солнце не такое яркое и тёплое, а всё же согревает, но ветер прохладный. В теньке сидишь, как задует, аж сразу начинается знобить. Осень, ничего не поделаешь... Вон дедка Ефим выбрался из дома, не стал на крыльце сидеть, а на лавочку подался, где солнца побольше. На улицу вышел, чтобы с баб Шурой попрощаться, в последний путь проводить, а потом на лавочке старые кости погреть, покуда солнышко тёплое. Сидит в зимнем пальто с потёртым и облезшим воротником, в шапке, очки на кончик крупного носа сползли, а он не поправляет. Видать, пригрелся и уснул, притулившись к забору. Сидит старик, посыпыхивает...

Алёшка вздохнул и, приложив ладонь к глазам, всмотрелся вдаль. Там желтел густой лес, а опушка покрылась пятнами: где-то зелёные мелькают, в других местах пожухлая трава, а там чернью отдаёт. Издалека донёсся птичий гомон. Алёшка задрал голову, взглянул вверх и не удержался. Вскочил и завертелся на одном месте, размахивая руками, словно крыльями, а сам засвистел, будто с птицами разговаривал, и так тоскливо, так больно, словно жаловался, что баб Шура померла, что один остался... Птицы закружились над головой, загомонили, точно за собой звали, а потом скрылись за лесом. Следом за ними потянулась огромная стая. Вон полнеба закрыли. Гомонят и гомонят... В осенние дни Алёшка места себе не находил. Закружат птицы над головой, и тут же словно душу в кулак сжимают. Непонятная тревога охватывала, тоскливо становилось на душе, как-то неуютно, но в то же время был необъяснимый восторг, и ему хотелось разбежаться, вытянуться в струнку, взмахнуть руками, закричать громко и протяжно, взлететь над деревней и помчаться вслед за птицами...

– Алёшка, ну-ка, прекрати! – крикнула баба Шура и нахмурилась, когда впервые заметила, что он, раскинув руки, мечется на краю высокого обрыва, а над головой кружилась стая птиц. – Отойди от края. Упадёшь, костей не соберёшь. Уйди, пока не отлупила! Весь в деда уродился. Таким же был – мозги набекрень. Узнала про это, да поздно. Замуж выдали, а потом сказали, будто у моего Васьки с головой не в порядке. Вся деревня потешалась, когда он в птицу превращался, – и опять закричала, намахнувшись тряпкой: – Ну-ка, хватит кружиться, живо по заднице надаю. Кыш, кыш отсюда! Ишь, разлетались! Мало один пропал, так ещё и внука за собой тащите. Летите отсюда, летите, – и тут же повернулась к Алёшке. – Твой дед Василий начинал чудить, когда осень наступала и птицы в стаи собирались. Он следом за ними рвался. Говорил, что душа мается, места не может найти. Встанет посередь улицы, задерёт бошку и смотрит в небо, где птицы кружат, а сам квохчет, вскрикивает, словно с ними разговаривает. И птицы ниже опускались, тоже криком исходили. Столько было, что белый свет застилала. А твой дед Василий раскинет руки в стороны и начинает кружиться и хлопает себя по бокам, хлопает,

словно крыльями, а потом взмахнёт руками, тоненько вскрикнет, словно прощается с ними, и птицы выше поднимались, ещё кружочек делали над двором и улетали. А дед усядется посередь дороги и с тоской глядит вслед. И так до следующей стаи. И так, пока последние птицы не улетят... А потом дед Василий пропал. Вышел на двор. Всё на крыльчке курил и прислушивался, как птицы летели. Я выглянула – он кружится по улице, руками машет. Позвала, а он не слышит, на небо смотрит, и отовсюду птицы кричали, словно за собой звали. И так мне тоскливо стало на душе, аж в груди защемило. Вышла на двор, гляжу, на крыльчке папироски лежат, спички, а деда Василия нет. Думала, может к кому-нить подался. Всё ждала, что вернётся, ан нет, так и пропал, и до сей поры не могут найти. Может, птицы забрали с собой, а может, рассудок потерял и теперь лежит в какой-нить больнице с решётками и даже имени своего не помнит. Никто не знает, где он, и я – тоже...

И баба Шура посмотрела на тёмное небо...

Алёшка поднялся. Потоптался на крыльчке и с неохотой зашлёпал в избу. Сегодня снесли на мазарки бабу Шуру. Она лежала, как принято, три дня в избе, и каждый раз, когда свечи догорали, кто-то из старушек, что сидели возле гробика, неслышно поднимались и меняли свечи, зажигая новые, и опять присаживались на лавку, горестно покачивая головой. Это дядька Кондратий смастерил гробик. Небольшой. Лёгонький, как сама бабка Шура. Алёшка хотел помочь ему, но дядька Кондратий прогнал. Велел возле двора сидеть и никуда не уходить. Соседки приходили, обмыли, переодели в смертную одёжку, какую Алёшка вытащил из старого сундука, – это давным-давно бабка Шура показала и велела, ежели она представится, отдать соседям, а они разберутся, что к чему. Так и получилось...

Бабка Шура тихо, неприметно прожила свою жизнь. И ушла так же тихо. Правда, последние дни твердила, как же Алёшка останется один. Он же не знает эту жизнь, не приспособлен к ней, потому что у него своя жизнь, более понятная для него, где чужим не место. Ему легче с птицами разговаривать – и, как казалось, они понимали его, – чем быть с людьми, которые его прогоняли и смеялись над ним, убогоньким. А если баба Шура помрёт, тогда Алёшка может пропасть без неё, как когда-то исчез дед Василий. Вон уже птицы кружат над двором – его высматривают, как бы с собой не забрали. И тыкала пальцем в потолок. Расстраивалась. И в последний день, ближе к вечеру, всё возле Алёшки ходила и печалилась, что один останется на белом свете и норовила дотронуться до него, по плечу или голове погладить, а он отдёргивался и хмурился. Не нравилось – словно маленького гладит, а он же большой. За окном темно было, когда они собрались спать. Бабка Шура долго сидела на кровати, глядела на него, что-то шептала, а может, молилась, а потом перекрестила его, спящего, и задёрнула занавеску.

Алёшка проснулся утром, в доме тишина, лишь ходики отсчитывали секунды, и запоздалая муха сонно колотилась в окне, а потом притихла. Он поднялся. Вышел на улицу, постоял на крыльце. Не слышно бабки Шуры, зато птицы кружились над двором. На него пикировали и опять взмывали, а на их месте другие появлялись и снова взлетали, а сами криком исходили, словно что-то рассказывали. Алёшка восторженно, опять появившись какой-то непонятный восторг. Хотелось спуститься во двор, взмахнуть руками, словно крыльями, закричать протяжно и... И следом навалилась тоска, словно к земле придавила, аж дышать тяжело стало. Он оглянулся. Куры бросились к нему, думали, корм насыплет, а он

нахмурился, опять взглянул на небо, махнул рукой птицам, чтобы прочь летели, и скрылся в избе. Зашёл в горницу. Отдёрнул занавеску, где стояла кровать бабы Шуры, и уселся на табуретку, что рядом стояла. Казалось, баба Шура спит. Морщинистые руки на груди сложены, а лицо какое-то светлое и спокойное, а по щеке муха ползала, а она лежала и не прогоняла её. Алёшка посидел возле кровати, несколько раз окликнул бабу Шуру, потом дотронулся до руки и отдёрнул. Холодная она – рука-то...

– Баб, вставай, баб, – забубнил Алёшка и снова дотронулся. – Почему лежишь, а? Дай хлеба...

Но баба Шура не шевелилась.

Алёшка опять завздохал, закрутил лохматой башкой, не зная, что делать, поддёрнул одеяло, прикрывая бабу Шуру, опасливо прикоснулся к руке и опять отдёрнул, потом поднялся и поплёлся к соседке, к тётке Зине, которая частенько его подкармливала, то яблочко совала, то пряник.

– Это... Теть... – он сунулся в дверь, и затоптался возле порога. – Это... Бабака не встаёт. Я кушать хочу.

И замолчал.

– Как не встаёт? Давно утро, а она... Да неужели померла? – она заметалась по избе. – Я ж вчера с ней говорила. Она всё за тебя тревожилась да старшую дочку ругала, что не приезжает, а потом взяла молочка, сказала, что кашку потомит в печи и ушла. Как же так, а?

И, прижимая руки ко рту, опять качнула головой.

– Она лежит, – пожимая плечами, повторил Алёшка. – Я проснулся. Подошёл, а она лежит. Холодная. Одеялку поправил. Бабака замёрзла.

Сказал и зябко передёрнул плечами.

– Ой, божечка, беда пришла, – запричитала тётка Зина, рот платком прикрыла и закачала головой, а потом вздрогнула от окрика и засуетилась, повернулась к мужу, который сидел за столом. – Петь, а, Петька, накорми паренька. Чать маковой росинки во рту не было. Налей вчерашних щец. Вкусные – страсть! – она причмокнула, закачала головой, потом подтолкнула Алёшку к столу, а сама подалась к дверям. – Петька, обойди мужиков. Пусть могилку копают. Проследи за ними. Я в правление сбегая, начальству сообщу, потом бабок покличу и за монашкой зайду. А ты, Алёшка, когда покушаешь, посиди на лавке. Не входи в избу-то, не путайся под ногами – не мужицкое дело покойницей заниматься. Сами управимся, а тебя покличем, когда понадобится.

Сказала и умчалась, хлопнув дверью.

Алёшка изредка подходил к двери, стоял на веранде, прислушиваясь к тихим голосам, но войти не решался. Тётка Зина ругать начнёт, ежели заметит. Заскрипела дверь. Вышел дядька Кондратий. Сунул в карман складной метр. Постоял, задумавшись. Потом коряво написал цифры на клочке бумаги, посмотрел на Алёшку, хотел было что-то сказать, но махнул рукой и, надвинув фуражку на глаза, заторопился со двора. Алёшка подался следом за ним и вернулся, когда его прогнали. Постоял возле двора, посмотрел, как дядька Кондратий захромал, подтягивая ногу с протезом, и размахивал руками, когда оступался. Взглянул на занавешенные окна, а потом уселся на лавку возле забора. И стал ждать, когда его позовут. Он сидел, поглядывая по сторонам, смотрел на старух, которые заходили в избу, а некоторые так и норовили погладить по голове, как делала баба Шура, но Алёшка отдёргивал голову и хмурился. Не любил, когда его гладили, как маленького. Старухи уходили, а он продолжал сидеть. Услышав гомон птичьей стаи, Алёшка поднимал голову и с тоской посматривал на птиц, которые проносились над головой. Поднимался

и, размахивая руками, начинал кружиться на траве, криками подзывая птиц, и рассказал им, что произошло, а они метались над головой, за собой звали. И Алёшке хотелось разбежаться, взмахнуть руками и полететь вслед за птицами. Он бы полетел, да нельзя, как же бабу Шуру оставит одну-одинёшеньку. Алёшка встрепенулся и опять посмотрел на птиц. Баба Шура говорила, что птицы – это души людские. Его ругала, что с ними разговаривает, прочь гнала, а сама вслед ушла. Видать, правду говорила бабака, что души людские – это птицы...

– Врёшь ты, бабака, – отмахнулся Алёшка, когда она опять взялась ругать его, что кружился на краю высокого обрыва, – что птицы – это души. Птички маленькие, а люди вон какие большие. Обманываешь...

Сказал и тут же получил подзатыльник.

– Нельзя так говорить, ежели не знаешь, – баба Шура погрозила пальцем. – Ишь, умник-полоумник выискался! Мне ещё отец твоего деда Василия говорил, что души переселяются в птиц. Ага... Вот каким был человек в жизни, его душа в такую же птицу перебирается. И не спорь со мной, Алёшка, потому что умишка в тебе кот наплакал! Вот, к примеру, взять плохого человека. Как ты думаешь, в какую птицу попадёт его душа, а? – и бабка, подбоченись, взглянула на Алёшку, который сидел и молчал. – Правильно думаешь – в плохую птицу. Если человек обманывал в жизни, воровал и на других вину перекладывал за дела содеянные, его душа окажется у кукушки или в сороку-воровку переселится. Что смеёшься-то, злыдень! – и она опять намахнулась. – У чёрного человека, душегуба какого, душа попадёт в ворону-падальщицу и будет до скончания веков дохлятиной всякой питаться. Ага... А ежели светлый человек был или, не дай бог, ребёночек помер, а у них-то души всегда чистые, значит, тому дорога к светлой птице.

– Ага... – недоверчиво протянул Алёшка. – А куда дядька Еремей попадёт, который всё стучит и стучит большим молотком, аж страшно становится, когда к нему заглянешь. Как же он в птицу залезет? – он засмеялся, плечики затряслись, а потом затих, задумавшись, и опять сказал. – А наша деревня тоже в птичек заберётся, а куда всякие артисты переселятся, которых по телеку показывают, а?

И Алёшка опять засмеялся, прыгал с пятого на десятое, задавая вопросы.

– Ишь, разговорился! То слово из него не вытянешь, а тут не остановишь. Куда... – бабка Шура задумалась, а потом кивнула. – Дык это же... У души дядьки Еремея одна дорога – это птица, которая дятлом зовётся. Ну, ты видел этих дятлов, когда в лес ходили. Вот и Еремей привык по наковальне стучать, а померёт, душа к дятлу отправится и опять-таки начнёт своим делом заниматься, как при жизни. Деревня, говоришь... Мы же привыкли работать, каждый день землице-матушке в пояс кланяемся. Вот и получается, что переберёмся в грачей. Ты видел грача. Такие важные весною ходят по полям. Тоже кланяются, корм добывают. Наши душеньки к ним отправятся, и опять начнём поклоны отбивать, как при жизни было. Что касаемо артистов... – бабка Шура поджала губы, нахмурила и без того морщинистый лоб, потом сказала: – Одни в соловьёв перебираются, другие в дроздов, в общем, кто куда, а самые знаменитые и голосистые – эти в жаворонков. Ага... Ты, Алёшка, не гляди, что жаворонок – птичка-невеличка, зато её вон как с небес слышать. Звенит голосочек-то! И людям радость несёт, и к Боженьке поближе. Поэтому и говорю, что у каждого человека своя птица, и у тебя – тоже. Ага...

И утвердительно ткнула пальцем в потолок.

Алёшка долго молчал, видать, старался понять, о чём говорила бабака, потом спросил:

– Баб, а где твоя птичка?

И задумчиво поглядел на сухонькую бабу Шуру.

– Моя-то? – усмехнулась баба Шура и поправила платок. – Я стану курочкой Рябой. Яички буду для тебя нести. Ты ж из избы не выйдешь, пока парочку не скушаешь, а с улицы возвернёшься, с пяток можешь умять за один присест, а то и поболее и глазом не моргнёшь. Наши курочки не успевают нестись для тебя. Хочу или не хочу, а придётся в несущку превращаться, чтобы ты с голодухи не помер.

И тоненько засмеялась.

Вслед за ней рассмеялся Алёшка, представляя баб Шуру несущкой...

Сегодня снесли бабу Шуру на мазарки. Остался лишь небольшой холмик и неуклюжий крест да ещё веночек и маленькие букетики ярких осенних цветов. Видать, в школьном саду сорвали. Соседки пришли проводить в последний путь бабку Шуру. Поплакали возле могилки, когда её опускали, а Алёшка стоял, смотрел на неё, а потом задира л голову, чтобы взглянуть на стаи птиц, и ему хотелось взмахнуть руками, взлететь и помчаться вслед за ними. С кладбища все отправились в дом бабы Шуры. Тётка Зина с бабками щи сварила и лапшу, кто-то кутью приготовил, а баба Вера кашу принесла. Откуда-то пироги на столе появились. Всё сделали соседи, чтобы проводить бабу Шуру и помянуть её. Недолго сидели за столом. Мужики стопки подняли. Выпили. Алёшка сидел в уголке. Сгорбился. Глядел, как поминали, как едва слышно разговаривали. Потом стали расходиться. Две соседки остались. Всё убрали, помыли и тоже ушли.

– Алёшка, – дверь распахнулась и появилась тётка Зина. – Слышь, никуда не уходи. Дома сиди или во двор выйди. Я все дела переделаю, а потом за тобой приду. Пока у нас побудешь. Может, твоя тётка приедет. Телеграмму отбили. Ну, а не появится, тогда в интернате станешь жить. У себя не могу оставить. Извиняй!

Она развела руками, поправила платок и ушла.

Алёшка остался один.

Он долго сидел и смотрел в щелку между ставнями, а потом не выдержал, вышел на улицу. Сегодня тепло. Алёшка вздохнул. Взглянул на солнце и прислушался. Яркий день и тишина на улице. Казалось, всё притихло в природе. Лишь берёзки золотом горят, а трава уж пожухла, прижалась к земле, прислонилась – зиму дожидается. Откуда-то донёсся запах дыма. Видать, старую ботву сжигают на огородах. Туманом стелется дымка, скрывая округу. Тишина... Нет, издали донесли крики птиц, и сразу же душу сжало в кулак, тоска накатила, а вместе с ней непонятный восторг, и, едва птицы показались в вышине, опять потянуло за ними и снова захотелось разбежаться, раскинуть руки, взлететь и помчаться вслед за птицами...

Алёшка встрепенулся. Оглянулся на дом. Показалось, баба Шура звала. Взглянул и тут же поник. А потом закутался в куртку и притих. Солнце яркое, дымка плывёт по огородам, всё призрачно до синевы, а здесь холодно. И птицы покоя не дают. Кружат и кружат над головой. Видать, за собой зовут. А может, среди них и душа бабы Шуры. Алёшка задрал голову, стараясь рассмотреть птиц. Вот одна пошла вниз и закружилась над двором, словно присесть хотела, а потом жалобно вскрикнула и помчалась вслед за стаей...

Поднявшись, Алёшка осмотрелся. Дед Ефим, что напротив живёт, так и сидел возле двора. Видать, пригрелся. Хорошо ему. Задремал... Алёш-

ка зашёл домой. Тишина в доме. Все звуки с улицы приглушены закрытыми ставнями. Тик-так, тик-так – качается маятник на старых часах, что висели в горнице. Алёшке казалось, часы всегда здесь висели. Старые. Циферблат уж давно облез да потемнел, и цифр на нём не видно, а маятник продолжает качаться, отсчитывая секунды жизни: тик-так, тик-так, тик... Алёшке нравилось смотреть на маятник. УсядетсЯ возле стола, смотрит на него, прислушивается к звукам и сам качается, как маятник. И так сидел до тех пор, пока баба Шура не прогоняла его. А сегодня бабу Шуру закопали, а часы всё тикают и тикают, отсчитывая секунды. И сколько они ещё будут работать – никто не знает, и Алёшка – тоже...

Он стоял в дверях горницы, но не входил. В горнице темно. Лишь редкие лучики солнца пробивались через закрытые ставни. Густой запах воска, тлена, каких-то трав, и тянет лекарством. Зеркало завешено, на телевизоре накидка, окна закрыты. Пусто в доме. Лишь на стенах несколько фотографий в рамках, и всё. Да ещё кошка промелькнула, припав к полу, и исчезла на кухоньке, скрывшись на печке. Под полом заскреблась мышь, и тут же пробежала кошка. Неслышно скользнула по горнице и опять скрылась. Алёшка медленно подошёл к фотографиям. Баба Шура говорила, что это отец и мать, а Алёшка не помнил родителей. Так, что-то мелькало в голове и тут же исчезало. Он взглянул на фотографию. Отец хмуро и напряженно смотрел перед собой, а мать, наоборот, улыбалась. А сегодня бабу Шуру закопали. Нет, её душа с птицами улетела...

Алёшка вышел из горницы. Потоптался на маленькой кухоньке и присел в уголок, где всегда сидел, и прислонился к обшарпанной стене. Опять мелькнула кошка. Муркнула, а потом притихла. Видать, тоже чует, что одни остались. Он скрипнул табуреткой. Взглянул на окно, закрытое ставнями. Сквозь узкую щель пробиваются последние лучи солнца...

Тихо в доме. Изредка осенняя муха зажужжит, забьётся и притихнет. С улицы донеслось мычание коров – это стадо под окнами прошло, а вскоре затихло вдалеке, лишь редкий раз в проулках бляели овечки, отбившись от стада. Взлаивали собаки лениво, так, словно напоминали, что службу свою несут, хозяйское добро стерегут. Протарахтел мотоцикл. Видать, кто-то поехал кататься. Молодёжь собиралась в берёзовой рощице, что стояла на взгорке над рекой. Там собирались, сидели до первых петухов, ребята показывали свою удаль, гоняя на мотоциклах, а те, кто постарше, парами расхаживали вдоль речки, находили укромные места и сидели до рассвета...

Он долго сидел на крыльце, дожидаясь, когда тётка Зина придёт. Потом прислушался. Со стороны обрыва донёсся птичий гомон. Алёшка затоптался. Тоскливо стало на душе, и в то же время появился непонятный восторг. И Алёшка не удержался. Неуклюже побежал по меже между огородами. Он бежал, размахивая руками, словно крыльями. В сумерках казалось, будто летит. Алёшка выскочил на обрыв и закружился, раскинув руки. Защёлкал, засвистел, птиц подзывает, потом взглянул ввысь, а небо над ним: яркое, тёмно-синее и бездонное. Опять восторг и захотелось взлететь. Он вытянулся в струнку, взмахнул руками и с обрыва шагнул в небо. Шагнул и закричал: громко, восторженно и замахал руками, словно крыльями и полетел. Он летел над деревней, над лесами и полями, над реками и озёрами, и отовсюду к нему присоединялись такие же люди-птицы, чьи души в птиц превратились, и они стали подниматься всё выше и выше в синь небесную, навстречу солнцу, и вокруг него был яркий и тёплый свет...

А на деревню опустилась ночь.

Алла ВОЙСКАЯ

Родилась в Москве. Студентка Литинститута им. Горького. Пишет прозу и литературную критику. Публиковалась в журнале «Юность», на порталах «Литература» и «Ревизор.ру», а также в газете «Литературная Россия». Лауреат премии «Русское слово» (2017). Ведет литературно-критический проект «Скала» в социальных сетях.

ГИНЕКОЛОГИЯ

От остановки отъезжала маршрутка с билбордным лицом известной актрисы на боковой панели. Мама протянула к маршрутке руку, но водитель нажал на газ – и актриса с открывающимся в улыбке ртом еще раз мелькнула на заднем стекле газели.

Клац-клац-клац. «Ты можешь и дальше игнорить меня, но просто знай: я ложусь в больницу»

Я убрала телефон в карман пальто, но он тут же завибрировал уведомлением.

«Серьезно?! Что случилось?»

«Да бок болит... Сначала списали на месячные, а потом решили, что можно и полечить меня, ну, так – для интереса. Теперь каждый день буду ходить на осмотр к гинекологу»

«Трэш какой-то. Стоило мне уехать, как у тебя пошла сплошная херобора»

«Главная херобора – это твой отъезд. А остальное – по накатанной»

«Ясно»

* * *

Я ходила вдоль плакатов с детализированным процессом родов и слушала, как о ламинат хрустят мои бахилы. На клеенчатой скамье сидела девушка, заставленная вещами женщин, бродивших по отделению в ожидании главврачихи. Встав поближе к своей сумке, я наблюдала, как правый угол губ девушки съезжает вниз, пока она читает памятку о том, как правильно дышать при схватках.

В коридоре появилась главврачиха, поправлявшая на ходу дамские очки со стразами на дужке, – она впустила в отделении холод с лестничной пролета, где никогда не закрывали окон, и я крепче запахнула куртку.

Меня поселили в палату прямо напротив стойки дежурного. Когда я вошла, то увидела небольшую узкую комнатку с треснувшей на стене штукатуркой и женщиной, лежавшей на запроваженной койке головой к окну.

– Здравствуйте! – сказала я четко и выученно и положила свои вещи на белую сияющую тумбу.

– Доброе утро! – женщина повернулась ко мне своим округлым и веснушчатым лицом. На вид она была не младше моей матери.

* * *

Вибрация. *«Ты как там? Устроилась?»*

Клац-клац. *«А тебе это вообще интересно?»*

«Да харе. Если мне было пофиг, я бы не писал. Это не очевидно?»

«Да нормально. Двухместная палата»

«Ууу, буржуйка! Че за соседка?»

«Да тетка за сорок. Зовут Оксана. Веселая и болтливая – все рассказывает мне про своих котов. А сам как? Опять работы много, да? Ну, ладно... Ответишь – как сможешь. Мне на кровь идти, кстати»

Лаборатория была через дверь. Я аккуратно постучалась и, не дождавшись ответа, вошла. Молодая медсестра слушала через наушники грустный рэп про отношения и мыла пол. Увидев меня, она, не снимая наушников, указала на кушетку и начала готовить шприц.

– Руку освободите.

– Что? Какую?

– Да любую.

Я задернула водолазку на левой руке, но медсестра демонстративно встала у окна, как бы не замечая меня, и я подняла рукав на правой. Из ее наушников зазвучал более энергичный трек.

Я смотрела, не отрываясь, как колбочки заполняются моей густой и темной венозной кровью. Она колыхалась в колбе и ударялась о ее борта. Я представляла, что это вишневый сок, который вот-вот перельют в мой бокал, и мы чокнемся с медсестрой, слушая вдвоем песни про пушки и бэнкролл...

– Э, все ок? – медсестра трясла меня за плечо.

– Да-да, только повело немного...

– Ну, ты это... Не пали в следующий раз, когда у тебя кровь забирают, – медсестра выдернула наушники из телефона и кинула их на стол. – Все, свободна.

Когда я вышла из лаборатории, почти все разбрелись на завтрак. Из дальнего конца отделения шла девушка моего возраста. На вид таджичка или узбечка, с желтоватыми осветленными волосами и блестящими черными корнями. Ее живот был перебинтован, и она припадала на правую ногу при каждом шаге. На ее повязке виднелись капельки крови.

* * *

«Кровь брали? Узи делали? Ты поела? Как кормят? Соседка не обижает?»

«Да. Нет. Да. Такое себе... Дали какую-то водянистую кашу, а когда я потянулась к яблоку, лежавшему на подносе, мне сказали, что они только для беременных. Что ж, отличный повод залететь!»

– Ой, ты пришла! – Оксана, приставив стул к окну, ела бутерброды на подоконнике. – Я как раз хотела показать тебе Мисика! – она вскочила со стула и стала хаотично листать галерею китайского смартфона. – Вот это Мисик... А вот он с Жужей... Это они так играют. Они, кстати, из одного помета – братик и сестричка. У них были керамические миски, соединенные друг с другом, но Жужа взяла и разбила их – и теперь у каждого отдельная миска. А Мисик однажды...

«Да нет. Она скорее надоедливая. Все тычет мне в лицо своих кошек. А я как-то стесняюсь сказать, что я больше собак люблю. Но она ничего, милая. Мужа у нее нет, я так понимаю. Я не отвлекаю? Ну ладно. Мне Гаршина надо читать по учебе».

– Больница, конечно, хрен чего, – Оксана ритмично смахивала крошки с подоконника в целлофановый пакетик. – Они уже неделю почти мне диагноз не могут поставить! То есть вроде печат, а вроде сами не знаю, от чего... А у главврачихи ты была уже или нет? Она у нас одна и на хирургическое отделение, и на роддом, – Оксана взбила подушку и села на кровать.

Пока я читала, как рядовой из вольноопределяющихся Иванов лежал рядом с мертвым турком, в палату въехала тележка уборщицы, а следом и она сама. Это была бесцветная русская женщина со сморщенными пальцами. Я пододвинула тумбу, и уборщица тщательно вытерла стену тряпкой, прямо с рук, каждый угол.

– У вас так чисто в отделении!

– Да-да. Аж моющими средствами пахнет, – Оксана легла к стенке и завернулась в пустой пододеяльник.

– Да? – уборщица улыбнулась мне – и у нее во рту заблестел металлический зуб. – А сколько вам лет?

– Восемнадцать, – я закрыла Гаршина и убрала его под подушку.

– Почти как моей дочери! А вы замужем?

– Да нет пока, – я включила мобильный Интернет – и мне пришло уведомление о новом сообщении. Мой палец застыл над экраном, но я пересилила себя и нажала на кнопку блокировки.

– А моя дочка замужем. Вот, в семнадцать лет с парнем познакомились. В восемнадцать поженились. Все говорили, мол, рано, отучиться еще надо. Но дочка сейчас в медицинский колледж поступила даже, – она еще что-то говорила мне про дочь, я кивала и держалась за телефон. Выжав тряпку, уборщица ушла.

После обеда я вышла из палаты и встала у окна возле дежурной стойки. Это был пятый этаж, и наше отделение возвышалось над кронами деревьев. Я смотрела на верхушки желто-красных осин (от них рябило в глазах), пока там, внизу, санитары выгружали кого-то на носилках из скорой.

Клац-клац. *«Как тебе Венская опера? Уже ходил?»*

Уведомление. *«Да когда мне... Ты-то как? Тебе не скучно?»*

«Не-а. Сейчас фоточку пришлю»

Я пыталась красиво сфотографировать листья, но получалось как-то далеко и размыто.

«А где твоё лицо? Ты же лучшие листочков»

Я снова посмотрела в окно, а потом на свое отражение в экране смартфона.

«Себя ты тоже фоткать не спешишь.» Все же давай обойдемся листочками. И Веной»

«Здесь тоже осень и деревья. А тебя вот нет... Как твой обед? Все так же?»

«Ага. Буду просить маму привезти мне завтра-послезавтра какого-нибудь фастфуда. Лучшие гастрит, чем голодная смерть. И Вену мне пофоткай – буду представлять, что мы гуляем там вдвоем»

* * *

«Почему я вижу звезды, которые так ярко светятся на черно-синем болгарском небе?» И правда, почему?

6:30. Медсестра больно колет в вену – кажется, что будет синяк. Катетер не держится, и она втыкает шприц в другое место – еще один.

Она похожа на ту девушку из лаборатории – только на лбу уже залом морщин, а вместо наушников – жвачка во рту.

– Ты руку на разгибай, – жум-жум, – так и держи минут сорок, пока не приду, – жум-жум.

Оксана еще спит, а у меня больше не получится уснуть. Смотрю в текст, но буквы плывут – да и сама книга тоже. Новых сообщений нет. Осталось минут тридцать, если она вообще придет вовремя. Жум-жум.

Я дергаю пластырь на вене, и он больно отходит по краям. Если слетит катетер, то она меня зажуёт, точно.

Хочется к окну, в туалет, на завтрак. Новых сообщений нет.

Осторожно включаю камеру на телефоне и фотографирую вытянутую руку с торчащим проводом от капельницы.

«Смотри. Это я на капельнице. Героиновый шик». Пальцы немеют и с трудом бьют по экрану.

Новых сообщений нет. Слишком рано. Пружины койки скрепят под Оксаной. Хочу обернуться к ней, но боюсь пошевелить корпусом. Я слышу, как переворачивается ее тело. Жду. Но она затихает.

Уведомление. Я дергаю рукой – и катетер чуть не вылетает.

«Какая у тебя худенькая ручка. И маленькая ладонь. Я не замечал»

«Ты так рано на работу? Ты вообще спишь? Ой, или это я тебя разбудила?»

«Да нет, не разбудила. Что ты. :) Кстати, в Вене дождь, а я забыл захватить с собой из дома зонт – представляешь?»

* * *

Клац-клац. *«Ахаха. Блин. Да нет, я сейчас на завтрак иду. Приходится давать столовке шанс, чтобы как-то поддерживать силы»*

«Так когда тебе на узи? Тебя врач вообще смотрела вчера?»

«После завтрака должны позвать. Да-да, смотрела. Щупала живот. Спрашивает: “Больно?” Я говорю, мол, да. Она в другом месте опять: “Больно?” Я: “И тут больно». Короче, она кивнула так строго, типа тебя уже можно со счетов списывать, и ушла. Ты же приедешь ко мне на похороны, да?»

«Не шути так...»

Я набираю текст, удаляю, снова хочу что-то написать и не замечаю, как совсем рядом проходит таджичка с крашеными волосами. Я смотрю на нее и вижу, как она улыбается мне одними губами – белыми и искусанными. Я ускоряю шаг.

«Как на узи сходишь, напиши. Они же моментально результаты считывают»

«Ок»

В туалете не работает свет, и я освещаю унитаз фонариком телефона. В мессенджере включается кнопка видеосвязи. Блин! Срочно сбросить! Срочно сбросить! Только не лагай!

«Ты хочешь поговорить по видео?))»

«Ой, нет, это случайно. Я же знаю: ты на работе»

Я блокирую телефон и быстро нажимаю на кнопку слива. Весомая причина, чтобы бросить девушку...

* * *

Я двигаюсь по коридору отделения – после завтрака все уже успели разойтись по палатам. «Как правильно дышать», «фазы беременности», «как распознать рак груди» – глаз цепляется за плакаты и тут же замыливается. Хочется скорее дойти до палаты и лечь. Между плакатами висит иконка-календарик с Матроной.

В палате пусто – на подоконнике нетронутые Оксанины бутерброды. Сегодня у нее чистка.

«Я сходила на узи...»

Я облокачиваюсь на подоконник. Отсюда тоже вид на деревья – золотые и сочные. А еще на туберкулезный корпус. Оттуда никто не показывается – только охранник курит иногда у входа. Почти лепрозорий.

«И как?»

«Знаешь, я не ожидала, что это будет именно ТАК. На узи же обычно водят по намазанному маслом животу, а тут в меня засунули эту металлическую штуку...»

«Прямо ТУДА?»

«Ага. Резинку на нее надели – и внутрь. Ужас. Это совсем не как с тобой...»

«Ну а что с диагнозом?»

«Придатки... Я думала, что все это ерунда про не сидеть на холодном, но оказывается, что нет»

«Это не из-за тех таблеток?»

«Да нет. Пронесло, не парься. Ты не виноват, правда... Просто переохладилась. Полежу еще дня три-четыре – и все будет хорошо».

«Мне до сих пор так стыдно за это... Когда я вернусь, мы так никогда не будем делать больше, хорошо?»

Дверь в палату резко открыл санитар с большими татуированными руками, и я бросилась к своей кровати.

Два санитары ввезли в палату каталку с Оксаной. Ее, в задранной ночной рубашке с силуэтами кошек, грубо сбросили на кровать, а каталку тут же убрали.

Сначала Оксана лежала головой в подушке, но потом начала потихоньку шевелиться и легла на спину.

– Ой, это ты... – шептала она, не открывая глаз. – Я под наркозом еще чуть-чуть, так что буду говорить с тобой. Это ничего?

– Ничего.

– Ты можешь не отвечать, это нестрашно...

– Да нет-нет.

– Я же показывала тебе Мисика и Жужу? Они очень красивые... И муж мой был красивый... Но он умер. Это он принес Мисика и Жужу – и сразу умер. Вот мы и живем: я, Мисик да Жужа, Жужа, Мисик да я. Но Мисика я люблю больше – он похож на него, на моего мужа. Ты еще такая молоденькая... Это хорошо. А у меня вот Мисик и Жужа – и

больше никого. Все одна: только Мисик с Жужой. Это Мисик делает мне бутербродики, а сестра относит. Ты хочешь бутербродик? Какая худенькая... Наверное, очень хочешь...

Оксана все говорила и говорила. Я села на кровати, боясь посмотреть на нее. Но вскоре она отвернулась к стенке и замолчала.

«Ты все-таки сходи в оперу. Там такой красивый зал – почти как в Большом. Я в Интернете видела. И фото оттуда пришли. Обязательно». Нет новых сообщений.

* * *

Жум-жум. Жум-жум. 7:20 – сегодня поздно. Пока медсестра закалывала мою вену шприцем, как того турка из рассказа, Оксана неожиданно поднялась с койки и начала собирать вещи.

– Оксана, а вы куда? Уже выписываетесь?

– Да знаешь, как-то лежу здесь уже неделю – а они только уколы делают и ничего, – она достала из тумбочки спортивную сумку, расстегнула на ней молнию и задумалась о чем-то. – Слушай, а я под наркозом тебе не болтала ерунды?

Я сказала, что нет.

– Ну и славно... Вроде битком сюда сумку тащила, а вроде и везти нечего домой. Все сожрала за неделю... – Оксана молча бросала в сумку полотенце и нижнее белье.

– Так выписка же обычно после завтрака, зачем так спешить?

– Да что здесь толку сидеть? Охранник на тебя смотрит как цербер – и покурить не сходишь. Жрать нечего – сестре спасибо за бутерброды хоть... – Оксана засунула в сумку пустой целлофановый пакет из-под бутербродов. – Лечить не лечат, зато там иконостас целый в кабинете у главврачихи – с божьей помощью, как говорится.

Стикер в виде котика

Сердечко

«Выспалась сегодня?»

«Ага. Соседка съезжает – пока я одна в палате»

За Оксаной пришла ее сестра – такая же круглая, но без веснушек.

– Как твой бок? Болит еще? – спросила Оксана, стоя в дверях палаты.

– Болит...

– Да вали ты отсюда скорее, пока совсем не залечили. Вон, на тебе лица нет.

На прощание Оксана оставила мне бутербродов с сырокопченой колбасой. Сегодня еще мама приедет. Пир горой.

«Здесь рано утром иногда кричат роженицы на нижних этажах. Ну или глубокой ночью. Днем они почему-то не рожают»

«А может, посреди дня их просто не слышно? Когда ты пришлешь свои фото? У тебя зеленые глаза – это я знаю, но оттенок вспомнить не могу»

«У тебя есть желтый свитер с буквой «М», который ты надевал на ужин в «Якиторию» – вот цвета этой буквы у меня глаза. Достань из шкафа – и вспомнишь»

Сначала снять катетер. Потом завтрак. И только после мама. Почти скоро.

«Здесь есть одна девушка в дальнем конце отделения. То ли таджичка, то ли узбечка – говорят, ей матку удалили. Она часто становится у окна возле дежурной и смотрит на деревья. Я все пытаюсь

к ней подойти, чувствую, что она хочет пообщаться, но мне от нее страшно... А еще во время обхода девчонка-ординаторша сказала, что подозревает у меня туберкулезный сальпингит. Бред какой-то, да? Поэтому давай лучше ты будешь рассказывать, про Вену»

Мама курит на скамейке во дворе, пока я ем нагетсы прямо из пакета. Я капаю соусом на свое черное пальто – ну, ничего, он кисло-сладкий, будет не так заметно.

– Тебе тяжело было сюда с пятого этажа спускаться?

– Да вроде справилась... Здесь хотя бы воздух свежий – у нас на этаже очень пахнет хлоркой.

Нет новых сообщений.

– А этот твой все еще в командировке? Надолго?

– Да, в командировке... Сначала говорили на три месяца – они прошли, теперь вот на полгода.

– Ты поешь еще. Че ты все в телефоне?

У главного входа в роддом встала пара с голубым свертком в руках – женщина в дешевом розовом пуховике и мужчина в спортивной шапке. Они позировали для фото: передавали друг другу сверток, из которого торчала смешная маленькая голова в капюшоне, смотрели то на ребенка, то друг на друга. Снимала их женщина за пятьдесят – либо теща, либо свекровь. Она приседала на асфальт, подходила сбоку, фоткала сверху, снизу. Потом теща-свекровь взяла сверток на руки, и они все вместе вышли за калитку, к парковке.

Я макнула в соус последний нагетс.

«А ты все-таки пришли. Пожалуйста :)»

– Я же тоже здесь родилась, – мама достала очередную сигарету из пачки, но колесико зажигалки барахлило – и кончик сигареты все никак не загорался. – У бабушки когда схватки начались, к ней подошла акушерка со здоровенными щипцами и сказала: «Будем рожать уroda? Будем, а?» Уроды здесь только вы... – она сложила пачку сигарет обратно в карман. – К тебе вообще врач подходила вчера или сегодня?

Я кивнула.

– Пусть тебя еще прокапают пару дней, а потом домой. Только время теряем, а тебе ведь еще рожать! – мама хотела было указать на семью со свертком, но они уже ушли куда-то на своей девятке. Мама дала мне пирожных картошка на вечер (мои нелюбимые – мама все перепутала), и я пошла обратно ко входу.

* * *

На сегодня только уколы. Медсестра в наушниках колет больно и четко под бит. «Фазы беременности», «как распознать рак груди», «как правильно дышать при схватках», «Половую жизнь ведете?», «А вы замужем? Нет? Жаль». – «Мне тоже жаль».

Расстояние между палатой и туалетом как дойти пешком от дома до института – семь остановок на автобусе и девять станций метро.

«Я здесь сплю на диване-полторашке, но ты такая худенькая, что мы могли бы спокойно спать на нем вдвоем»

«А у меня жесткая узкая койка, вдвоем можно только боком. Но я бы потеснилась – правда. Соседка съехала со всеми вещами – без нее у меня остались только ты и Гаршин»

«А кто лучше?»

«Гаршина можно потрогать, пощипать страницы, а тебя – только представить, но иногда мне кажется, что стоит вытянуть руку – и ты тоже тут, ходишь и ругаешь меня за то, что я не читала Гегеля»

Пока я меряю углы палаты, долго и тяжело вечереет. Спать хочется, но все равно не получается. Мама привезла из дома большую подушку – и это самая лучшая вещь, которая есть у меня здесь, – после телефона, конечно.

«Решился сходить в оперу?) Там “Орест” идет на этой неделе – про то, как сын убивает мать. Трэш, конечно, но ставят веками. Обязательно купи туда билет – посмотри и за меня, и за себя!»

«Я еще на той недели ходил...»

«Ого! И как? Почему не сказал? С кем?»

«...»

«Как тебе зал? Пели на немецком?) Это так здорово, что ты все-таки попал туда!»

«Со знакомой...»

«С какой?»

«Да так. Встретились одним вечером, и все... Больше не пересекались. Да и ты же знаешь, что если бы я не уезжал, то никогда бы...»

Совсем стемнело. На пустую Оксанину койку падает свет фонарей, а мое лицо освещает дисплей телефона.

«А она поместилась на диване-полторашке?»

«Поместилась»

Я открываю пачку пирожных картошка. Они подтаяли немного, поэтому густой шоколад налипает на пальцы.

«Мы же тогда расставались с тобой»

Я по очереди откусываю кусок от пирожного и слизываю шоколад с испачканных пальцев.

«Такого больше никогда не повторится!»

Шоколадная стружка падает на чистую домашнюю подушку.

«Я приеду, и мы снимем квартиру. Только нужно немного подождать. Ты же сама говорила, что эти месяцы – ерунда».

Картошка была невкусной, слишком жирной и сладкой, но я доставала из пачки еще одно и еще одно пирожное.

Уведомление. Блокировка. Уведомление. Блокировка. Уведомление. Уведомление.

«Не молчи! Я сделаю все, что угодно. Только ответь!»

Я доела последнюю картошку, вытерла руки влажной салфеткой – и положила использованную салфетку в упаковку из-под пирожных.

«Я люблю тебя – просто знай это. Прости меня... Я так хочу, чтобы ты выздоровела. Давай я в декабре возьму отпуск? Приеду на Новый год, куплю всяких сувениров. Привезу тебя засахаренных фиалок или Swarovski. Хочешь? Я тебя люблю. Люблю!»

«Я тебя тоже...»

«Тогда мир?) Пожалуйста, я очень прошу...»

В ночи на меня всегда смотрит трещина на стене. Каждый раз она разрастается и подползает все ближе, как желтые волосы таджички лезут в лицо, когда мы выходим вместе из столовой.

«Мир»

Стикер в виде котика

Сердечко

Почему я вижу эти звезды на черно-синем болгарском небе? Почему?

* * *

Когда мама забирала меня через несколько дней из больницы, она ругалась с главврачихой, кричала ей: «Вы понимаете, что моя дочь может остаться бесплодной? Вы понимаете это?».

Встречал нас папа – он отпросился с работы сегодня. Когда мы с мамой вышли из отделения, он торжественно стоял у входа, крутя в руке ключи от машины.

«Доброе утро, моя хорошая. Люблю тебя :»*

«Привет, милый. И я тебя :»*

– Поехали, девчонки? – папа взял мои сумки и повел нас к припаркованной машине.

Я обернулась – во дворе гуляла таджичка с крашеными волосами. Она все так же припадает на правую ногу при каждом шаге. Под курткой повязки не видно.

А я так и не узнала, как ее зовут, хотя мы ровесницы – это точно. Но теперь не важно, ведь она все еще ходит во дворе родильного отделения и странно улыбается, а я смотрю на нее из окна выезжающей на шоссе машины. Черные корни и желтые волосы, завязанные в небрежный пучок. И белые страшные губы.

Деревья золотые и сочные. Вдали виднеется туберкулезный корпус. Оттуда никто не показывается – только охранник курит у входа.

Михаил СТРИГИН

Родился в 1969 году в Сарапуле. Окончил Южно-Уральский государственный университет. Кандидат физико-математических наук, автор ряда научных публикаций, в том числе в зарубежных журналах. В 1990-е годы отошел от науки и занялся предпринимательством.

Автор поэтических сборников. Учредитель ряда литературных проектов, в том числе детского поэтического конкурса «Как слово наше отзовется». Член жюри Южно-Уральской литературной премии. Живет в Челябинске.

ДЕСЯТЬ МИНУТ

Стрелка проступила сквозь солнечные блики – наручные часы показали без двадцати семь. Всмотривание в циферблат отвлекло от дороги. Ящерка выскользнула из-под башмака и грациозно уткнулась в траву. Дед на ходу проводил её взглядом, улыбнувшись и порадовавшись за её везучесть. В позапрошлом году он нечаянно раздавил такую же и целую неделю ходил сам не свой.

Йован медленно подымался в гору, оглядываясь, вспоминая о той трагедии и причитая: «Не зевай, жизнь очень быстрая штука. Не успеешь обернуться, а что-то в этой жизни уже не так. Вроде и дорога та, вроде и жасмин цветёт так же, но вот тот куст начал сохнуть. Видать, какая-то бяка к корням присосалась», – Йован нахмурился и погрозил кому-то в кусты жасмина, которые словно арматура переплели небо и землю.

«Эта бяка считай тоже на хвост наступила», – Йован заметил трещину на асфальте: «Конечно, по сравнению с землетрясением – это мелочь. Тогда на хвост наступили целой стране, ладно до нас только отголоски той трагедии донеслись. Засохший жасмин тоже перестанет кому-то тень давать и побегут отголоски по траве», – Йован услышал справа работу газонокосилки, остановился, поставил на землю сумку, в которой было десять непроданных бутылок молока, перевёл дух, а затем и взгляд с жасмина на прозрачный металлический забор новенького пятизвёздочного отеля «Мираж»:

«Или вот этот отель. Быстро его построили. Дом с отцом два года подымали. А тут пять четырёхэтажных зданий за зиму выросли, бассейн наполнился и зонтики, как пальмы, поднялись над шезлонгами».

За забором на лежаке возле бассейна громоздился волосатый мужчина в годах, похожий на крупного кота, одной рукой сжимавший

высокий бокал с шампанским, а другой набравший номер на телефоне. Через секунду он уже оглашал окрестность властным басом. Йован прислушался, ему нравился русский язык:

– Сколько экскаваторов? Тридцать семь. Это хорошо. Доставка до Тюмени за наш счёт. Сегодня же с банком свяжитесь, пусть к вечеру сделают банковскую гарантию. Тогда можно аванс просить пятьдесят процентов. И пусть юрист Василий собирает вещички и завтра летит ко мне. Я думаю, он не против будет на пару дней в Черногорию слетать, – чеширская улыбка сжалась в тоненькую воронку, и «кот», отпив шампанского, всем телом подмигнул лежащей рядом томной красотке, которая подобно королевской кобре расправила боковые складки и хищнически поглощала мужчину взглядом. Её бронзовая кожа переливалась на солнце волнами, которые двигались от кончиков пальцев до прекрасных глаз, неминуемо пробегая по всему телу и приоткрывая все тайны, заложенные в ней природой. «Кот» каким-то чудом отвлёкся от девушки и заметил Йована и, поставив бокал, поднял руку и большой палец вверх, символизируя то, как ему хорошо. Йован тоже поднял руку и помахал в ответ. Десять непроданных бутылок молока, стоящие на земле, не позволили ему повторить жест и тоже поднять палец вверх – Йовану уже давно хотелось купить новое платье для жены. Но эти жесты соединили двух совершенно непохожих людей из разных миров.

«Наверно, хороший человек. С плохим не свяжется такая красавица. И русский язык мне нравится, он энергичный, вроде и похож на сербский, но резче, немного лающий. На таком языке командовать хорошо. Не немецкий, конечно», – Йован промокнул платком пот на лбу и взвалил палку на плечо, на конце которой висела котомка с бутылками молока и контейнерами с сыром. Солнце уже распахнуло ворота своего стойла, задев краешком вершину горы, но неугомонно с жаром освещало предгорье. Йован расстался несколько сожалеющим взглядом с русским, когда увидел, как тот, поставив бокал, взял кусок зелёного французского сыра и словно фисташку отправил его в рот. Непроданный сыр давил к земле.

«Наш сыр вкуснее... Я его, конечно, понимаю. Так надёжнее. Известное качество. Шезлонги, экскаваторы, сыр, температура воды – всё единообразно, никаких неожиданностей. Новый век всё уравнил. Двадцать лет назад внизу, в деревне продавалось двенадцать из пятнадцати бутылок молока, и это был неважный день. Десять лет назад уже десять, теперь дай бог продать пять. А таскаю всё те же пятнадцать бутылок. Козы меньше доиться не стали».

Йован сошёл с асфальтовой дороги на грунтовую, выскочив из двадцать первого века в свой родной двадцатый. Соловьи, заливающиеся в соседней рощице, как будто сразу прибавили громкость. Хотя забор продолжался дальше, но строители посчитали бессмысленным продолжать асфальт выше – гости отеля туда не ходили или не доходили. Дорога резко взмывала вверх, как бы говоря: «Слабо?»

«За асфальт должен спасибо сказать отелю. А что-то язык не поворачивается. Сорок лет ношу вниз молоко, как дед умер, и суставы всегда были в порядке, а как асфальт положили, какие-то боли начались, для нежити он хорош – для автомобилей», – мысль замерла вместе с Йованом. Он весь превратился в зрение, рассматривая глубокий грунтовый рисунок, образовавшийся после дождя.

«Надо же. И здесь что-то новое. Не мог я раньше такого не заметить. Рисунок в точности напоминает линию жизни на правой руке моей Ми-

лянки. Сколько раз я разглаживал эту ладошку? Как не стёр за пятьдесят лет природный рисунок? А как она пахнет, когда разотрёт траву для чая! Уткнёшься в неё носом и будто пролетишь над садом», – Йована, словно куропатку, подбил и вернул на землю громовой голос того же русского «тигра». Он не смог не обернуться, скинул палку с мешком на землю и остановился, с любопытством рассматривая диковинку.

– В смысле теперь Василий работает на тебя? Что значит, он куда не полетит? Что? Он занимается нашим с тобой разводом? Что? Ты ему предложила в два раза больше? – «тигр» проявил недюжинную прыть и соскочил с шезлонга.

– Каким разводом, Леночка? Ах, тебе прислали фотографии из Черногории, – он закрыл рукой телефон и обратился к «королевской кобре»:

– Ты выкладывала наши фото в сети? – Не получив ответа, он понял по змеиным глазам, что ответ положительный, взревел, чуть не швырнул телефон в девушку, но, видимо, вспомнил, что там сейчас происходит очень важное и снова обратился к нему: – И что ты собираешься делать? В смысле уже сделала? Я понял. Пошёл. – «Тигр» сел, промахнувшись мимо шезлонга, ещё раз взревел от боли, подскочил, снова сел и замолчал, превратившись снова в кота. Спустя несколько секунд продолжительностью в жизнь, он посмотрел на свою девушку взглядом змеелова. Она всё поняла и не без грациозности начала собирать свои вещи. Русский, как факир, достал бутылку чего-то крепкого и наполнил им бокал из-под шампанского.

«Кто-то присосался к твоим корням», – Йован нахмурился. Фасад отеля стал темнее. Йован больно забросил палку на плечо, пошёл и, уже уходя, ещё раз посмотрел на рисунок на грунте. Теперь он напоминал трещину, такую же трещину, которая сейчас бежала и разрывала мир этого «кота», трещину, которую породили то ли фотографии в «Инстаграме», то ли его глупость. Теперь мир этого русского уже навсегда будет обезображен этой трещиной.

«У всего свой масштаб», – трещина стояла перед глазами Йована. Ему вспомнилось землетрясение 1979 года, когда он приютил несколько беженцев из Котора. Они рассказывали про страшные трещины, пробежавшие по побережью и обезобразившие город и рассекшие его на до и после, и преобразившие людей, живущих в нём. Их привезли на русском грузовике, и у них не было даже зубных щёток. Таких растерянных людей Йован не видел и во время войны в начале девяностых. В том памятном семьдесят девятом году единственный месяц в своей жизни он не спускался вниз продавать молоко – его просто всё выпивали.

Мысли утекали вниз вместе с забором. Вот уже виден его край. Дальше дорога уходит налево, огибает скалу и приводит прямо к крыльцу дома. Выше только горы. Йован поднял голову и увидел ласточек, радостно встречающих его, пикирующих, исполняющих немыслимые пируэты, неподвластные самым совершенным самолётам. И не успел он насладиться мыслью о скором возвращении домой, как снова услышал голос «кота». Йован обернулся, не планируя останавливаться, и не желая больше тратить времени на эту мыльную оперу. Красивой девушки не стало – она уже иссушивала другую жизнь, и смотреть было особенно не на что.

– В смысле банк не дает гарантию? Они же всегда молились на нас! Что? Налоговая арестовала счета? Вычислили наши офшорные дела? – «Кот» вновь проворно вскочил, замер и сказал уже тише: – Я, кажется,

знаю, откуда у них информация, – слово «информация» только угадывалось по согласным звукам. В этот момент всё вокруг стало серым – солнце зашло-таки за гору и задёрнуло за собой шторы. Отель сжался до размера шезлонга. – Это она, моя королева! – произнёс он громко и чётко.

Йован почувствовал, как пространство проваливается в глотку «тигра-кота», словно в чёрную дыру, засасывая все пять четырёхэтажных зданий, забор, бассейн и какой-то кусок самого Йована. После того как всё было поглощено, тело русского осело и растеклось по кафельной плитке.

Часы показывали без десяти семь.

Официанты быстро подскочили к упавшему, взвалили его на шезлонг и унесли. Йован не помнил, как дошёл до крыльца, и очнулся только когда Милянка, словно девчонка, выскочила из дома с новостью: – Коза дала потомство! Пять козлят! Такого не бывало!

«Значит, теперь нести двадцать бутылок», – Йован, улыбнувшись, опустил на ступень и снова посмотрел на ласточек.

«Куплю я, пожалуй, не платье, а ткань, а Анастасия из деревни сошьёт его. Небольшие, а перемены»,

Миляна села рядышком, обняла Йована и вложила свою ладонь в его руку.

«А трещинка на её ладони не разъединяет, а скрепляет».

Павел ТУЖИЛКИН

Родился в 1953 году в селе Плюхино Горьковской области. Окончил Арзамасский государственный педагогический институт. Работал инспектором отдела гражданской обороны, военным руководителем в школе, секретарем городского комитета ВЛКСМ, начальником отдела администрации города Сарова.

Публиковался в журналах «Роман-журнал XXI век», «Крокодил», «Нижний Новгород», ряде других изданий. Автор 39 сборников стихов и прозы. Лауреат национальной премии Союза писателей России «Имперская культура» за роман-предположение «Пламенный» о жизни Серафима Саровского (2011). Награжден золотой медалью «Василий Шукшин» (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Сарове.

СОВРЕМЕННЫЙ РОМЕО

Дед Артамон крепок телом и духом. Когда его могучая фигура появляется на огороде, даже пчелы перестают суетиться и жужжать. Сельские собаки обходят стороной, а соседи всегда здороваются первыми. Единственный, кто не боится деда Артамона и плевать хочет на его солидность и величавость, – жена Евдокия, маленькая крепкая старушка, которая умеет усмирить иногда не в меру расхорившегося хозяина одним взглядом. Дед Артамон сразу тускнеет, становится меньше ростом и норовит улизнуть с глаз долой и схватиться за первое попавшееся дело. Кстати сказать, дела у него всегда имеются в большом количестве. Он содержит вишнево-яблоневый сад, бережно ухаживая за ним и получая неплохие урожаи. Яблоки и вишню он пускает в оборот – делает из них вино, которое ценится не только по всему селу Верхние Бугры, но и по деревенской округе.

Живут Артамон и Евдокия в своем каменном двухэтажном доме, который им достался от предков – еще в девятнадцатом веке два брата Кривоzubова, вернувшись с турецкой войны и получив от батюшки-царя хорошее жалованье (да и сами не с пустыми руками были), построили эту хоромину из красного кирпича на радость себе и потомкам.

Из выживших Кривоzubовых в кровавой мясорубке под названием российская история остался только Артамон. Ну да два его сына – такие же крепкие и могучие, как батя. Старший, Григорий, давно уехал из села, устремился за хорошей жизнью в областной город: работает там слесарем на автомобильном заводе, в родное село наезжает нечасто: все, говорит, семейные дела мешают. Но Артамон комнату Григория

на первом этаже правого крыла бережет. Так и пустует она, оживляясь только в редкие приезды сына с семейством – две дочки да тощая как вобла жененка.

Младший сын Федор живет в левом крыле. Он и жена Валентина занимают комнату наверху, а дети, Ромка и Светка, хозяйничают на первом этаже, где довольно просторная комната разделена деревянной перегородкой на две части. Они погодки, поэтому живут не очень мирно – все время соревнуются, спорят, доказывают, кто из них ловчее, умнее и лучше. Да и старшие Кривокубовы пошуметь любят.

– Дуся! – кричит Артамон из сарая, что притулился на краю сада.

– Чего тебе? – откликается Евдокия от курятника.

– Ты опрыскиватель мой не видала?

– А я знаю, что это такое?

– Ну цилиндр такой медный, большой, похожий на газовый баллон.

– По кой черт он тебе понадобился?

– Гусениц развелось в саду полно, надо бы потравить.

– Ну да – ты еще заразой нас попотчуй. Гусеницы твои выживут, потому как они миллион лет живут, и ни черта им не делается, а вот мы отравимся. Да еще яблок твоих опрысканных наедемся, тогда сразу всем семейством на кладбище и отправимся.

– Чего выдумываешь? Все садоводы вредителей ядами опрыскивают – и ничего. Помнишь, колхозные поля с «кукурузника» дустом опыляли?

– Ну, помню, и что?

– Не померла же?

– А ты хочешь, чтобы я поскорее очоурилась?

– Да тьфу на тебя! Не знаешь, так и скажи – не видала опрыскивателя. Ладно, пойду еще в подвале поищу.

Дед Артамон занимается поисками полдня. Опрыскиватель как сквозь землю провалился. Федор, приехавший с работы на обед, тоже ничем помочь не может.

– Да ты же уже лет двадцать, наверно, этим опрыскивателем ничего не делал, а тут вдруг вспомнил.

– Вспомнил вот. Пришла нужда, и вспомнил. Признавайся, твоих рук дело? Ты отдал, чай, кому-нито, а то и пропилил.

– Скажешь тоже... Чай я в ПМК зарабатываю неплохо, да и выпиваю только по праздникам. Мне зачем эта рухлядь твоя?

– Рухлядь... Всё вам рухлядь. Потому и в доме ничего нет, что всё выбрасываете вечно. Один раз попользуются – и на свалку.

– Это чего я на свалку-то выбросил? Ржавый велосипед без колес? Вспомнил тоже.

– Отремонтировать еще можно было.

– Ага... Отремонтируешь эту развалину. Да и кому он нужен-то? Тебе, что ли? Я чего-то не помню, чтобы ты на велосипед хоть раз сядил. Ты его раздавишь в один миг.

– Так, хватит языками молоть, – прикрикивает Евдокия, которая вместе со снохой Валентиной подает на стол. – Вон у Ромки лучше спросите, он на прошлой неделе, чего-то в этом сарае шевырлялся.

– А где этот Ромка-то? – спрашивает дед.

– Да кто его знает? Школу закончил, вот и хлыщет целыми днями, – бурчит недовольно Федор.

– Вот именно – хлыщет. Пора бы уже на работу устроиться, раз дальше учиться не хочет.

– Нароботается еще, – отмахивается Федор, – вся жизнь впереди. А сейчас пусть погуляет.

– От безделья того и гляди чего-нито учудит, – не унимается Артамон.

– Не учудит, он у нас смиренный, – поддерживает мужа Валентина.

– Видали мы таких смиренных, – продолжает ворчать дед.

– Да он, поди, у своей зазнобы воркует, – со смехом говорит Светка.

– У какой еще зазнобы? – настораживается Артамон.

Валентина тычет дочь в бок и отмахивается.

– Да так... Он ведь с Люськой Егоровой дружит. Вот и пошел, наверно, к ней.

– Во-во, я и говорю, – распаляется Артамон, – того гляди, обрюхатит девку да под суд пойдет – ей, поди, лет четырнадцать всего.

– Пятнадцать, – опять вмешивается Светка и снова получает тычок от матери.

– Рано ему еще про такие дела думать, – сердито говорит Валентина, – сначала пусть армию отслужит, а потом уж и все остальное...

– Послушает он вас, – ерепенится Артамон и, перехватив гневный взгляд Евдокии, тушует. – А-а... делайте, что хотите.

Хлопает дверь, и в комнату заходит Ромка.

– О! Все в сборе! – громко и радостно кричит он. – Как раз то, что нужно!

Дед Артамон молча хлебает суп, демонстративно хлюпая и чавкая. Остальные смотрят на вошедшего.

– И для чего это мы, сынонька, все тебе понадобились? – насмешливо интересуется Федор.

– Я женюсь! – гордо и с вызовом произносит Ромка.

Все замирают и смотрят на младшего Кривоzubова, как на невиданную диковину. Будто вместо долговязого, тощего, веснушчатого и белобрысого пацана посреди комнаты объявился бегемот. Один дед хлюпает и чавкает, будто его все это не касается. Но Ромка обращается именно к нему.

– Дед Артамон, ты чо на это скажешь?

Дед чавкает.

– Ты сдурел?! – грозно спрашивает Федор и, распрямившись во весь свой огромный рост, нависает над сыном, как коршун над желторотым цыпленком.

Но тот не из робкого десятка. Вытянувшись в струнку, он с вызовом смотрит в глаза отцу и громко, по слогам, повторяет фразу, введшую в ступор семейство Кривоzubовых:

– Я же-нюсь! Чего не ясно?

– Да я тебя, щенок! – замахивается Федор.

– Федя! – кричит Валентина. – Не смей!

Федор замирает с поднятой рукой, потом машет ей, будто полено колет, садится за стол и тоже начинает хлюпать и чавкать.

– И к кому же мы сватов будем засылать? – ехидно, еле сдерживая гнев, спрашивает Евдокия.

– Баб Дусь, да ты же знаешь Люську-то. Чего ты притворяешься?

– Так ей же всего пятнадцать лет! Я думала, ты постарше кого нашел.

– Не надо мне никого! Я Люську люблю! – упрямо твердит Ромка.

– Да кто же в пятнадцать лет распишет-то? Дубина ты стоеросовая!

– Ей уже скоро шестнадцать стукнет. А мне восемнадцать. Вот и распишемся. Чтобы она меня из армии ждала. А так мало ли чего, всяко бывает. А я ее очень-очень люблю. Как Ромео Джульетту.

- Кто это? – поднимает голову от миски Федор.
- Пап, да это из пьесы английского писателя Шекспира, – поясняет Светка. – Там такая любовь, такая любовь! Они даже отравились, чтобы вместе быть.
- А отравились-то зачем? – не понимает Федор.
- Ну, ихние родители против свадьбы были, вот они и отравились.
- Они что – тоже несовершеннолетние были?
- Да вроде того.
- Ну тогда понятно, почему родители против. Мы тоже против. Ты как, Валюха?
- Сынок, – Валентина поднимается из-за стола, подходит к Ромке и, обняв его, всхлипывает. – Может, подождешь маленько?
- Ромка отстраняется и твердо говорит:
- Готовьтесь сватать. Или мы, как Ромео с Джульеттой, отравимся.
- Валентина воев в голос.
- Я тебе отравлюсь! – вскакивает Федор. – Я тебе, мать твою, башку оторву!
- Сядь! – машет рукой Евдокия. Федор послушно плюхается на стул. – Ромочка, а что родители Люськины по этому поводу говорят?
- Еще не знаю. Мы с Люськой сговорились сегодня родителей проинформировать.
- Ага... Вот оно как... То есть, твоя зазноба сейчас своих родителей радует неожиданным и долгожданным известием. Слушай, а она, слушаем, не в положении?
- Ромка вспыхивает.
- Ну ты скажешь тоже. Дядя Ваня, ее папка, когда увидел, что мы по вечерам гуляем, предупредил, чтобы я это... А то грозился оторвать все с корнем. Мы с Люськой решили, что только после свадьбы...
- Ну, это уже лучше...
- Бросив на стол ложку, дед Артамон выпрямляется и зло смотрит на жениха.
- Так это ты, внучек, мой опрыскиватель кому-то продал?
- Ну я, – легко соглашается Ромка, чувствуя некоторое облегчение, что разговор на острую тему немножко виляет в сторону.
- И зачем, если не секрет?
- Мы решили на свадьбу деньги копить, – сообщает Ромка.
- А кто тебе позволил продавать мое имущество? – грозно вопрошает дед Артамон, стараясь не смотреть в сторону жены, которая испепеляет его взглядом.
- Да я это... Ты же им все равно давно уже не пользуешься. Ну я и решил, что можно.
- Ну, продай тогда бабку Дусю свою! – кричит дед и еще раз швыряет ложку, которая прыгает по столу, как лягушка, звякая о тесно стоящие тарелки.
- А баба Дуся-то тут причем? – недоумевает Ромка.
- Так я ей тоже давно не пользуюсь уже! Вот и продай! Зачем она нужна?
- Дед тут же получает полотенцем по физиономии от разъяренной жены. Грохнув упавшим стулом, он грузно топает к выходу. Под ним стонут и пищат половицы. У Федора из глаз капают слезы – он с великим трудом пытается сдерживать рвущийся наружу хохот.
- Семейный совет постановил, что никакой свадьбы не будет, пока Ромка не отслужит армию и его невеста, соответственно, не станет совершеннолетней.

Униженный и расстроенный, Ромка вечером крутился вокруг Люськиного дома, боясь приблизиться. Он подозревал, и не без основания, что у Люськи беседа с родителями прошла в таком же нервном ключе. Только когда стемнело, ему удалось пробраться в палисадник и поскребыкать в окно Люськиной комнаты. Створки распахнулись, и возлюбленная выпрыгнула прямо в объятия Ромки. Ромкина Джульетта по-деревенски крепка и мясиста, поэтому она чуть не раздавила возлюбленного, свалив его в крапиву.

Выбравшись за пределы опасной зоны, они уселись на крылечке заброшенного дома под развесистыми березами и стали предаваться унынию.

Люська рассказала, что мать ее таскала за волосы, а отец пару раз опоясал ремнем. Орала так, будто атомная война началась. Ни о какой свадьбе не могло быть и речи. Возлюбленные это поняли сразу, никаких надежд не питая, не строя непродуктивных иллюзий и не надеясь, что по щучьему велению родители сжальтся и благословят союз двух любящих сердец.

– Выхода нет, – тяжело вздохнул Ромка. – Я без тебя жить не смогу, а женитьба нам не светит. По крайней мере года два. Я не знаю, чо делать.

– Есть выход, – решительно сказала Люська. – Я все придумала.

– И что? – с надеждой спросил Ромка, по устоявшейся в веках мужской привычке перекладывая ответственность за решение сложных проблем на хрупкие женские плечи.

– Вот, – ответила Люська и положила в руку возлюбленного пузырек.

– Что это? – не понял Ромка,

– Таблетки. Мы с тобой, как Ромео и Джульетта, отравимся, потому что черствые и бездушные родители нам никогда не дадут жить в счастье и радости. А без тебя мне и жизнь не мила.

– Ты чо, сдурела? – ужаснулся Ромка. – Это же в книжке, а тут наяву.

– И что? – возмутилась Люська. – Ты меня не любишь, что ли?

– Люблю. Очень-очень.

– Тогда не трусь!

– Я трушу? Да я...

Ромка представил, как их находят поутру бездыханных на ветхом крылечке, как режут в голос мать, Светка и баба Дуся, как тайком утирают слезы осознавшие свою неправоту дед и отец. Картина, возникшая в его возбужденном мозгу, грела душу: что – не послушали меня? Вот так вам и надо. Разве можно разлучать любящих? Вам же еще Шекспир об этом написал. Читать надо книжки-то.

– На вот, я и воды захватила, – Люська протянула пластиковую бутылку.

– Зачем? – не понял Ромка.

– А как ты таблетки собираешься глотать? Насухую не пойдут. А глотать надо много – тебе полпузырька и мне тоже.

– Слушай, Люськ, а может, как-нибудь обойдемся без таблеток? – смалодушничал Ромка.

– А как? Удушиться на веревке я не могу – страшно и, наверно, больно. Да и язык, говорят, потом изо рта вываливается. Брр, противно. В речке тоже утопиться трудно – я плавать умею. Как хлебать начну – сразу же руками забарахтаю и выплыву. А с таблетками – в самый раз. Во-первых, Ромео и Джульетта тоже травились, а во-вторых, хода назад уже не будет, выпил – и сиди жди, когда помрешь. На, пей.

– Чего-то не хочется, – протянул Ромка. – Да и родители горевать будут.

– Мои тоже. Ну, так им и надо. Так будешь или нет?

– Буду, – не очень уверенно, ответил Ромка.

Люська сыпанула ему в ладонь половину пузырька, а потом высыпала остатки себе в рот. Запив из бутылки, она сказала:

– Ну вот и всё. Поцелуй меня.

Ромка прикоснулся губами к устам Джульетты и напился головокружительного аромата страсти.

Оторвавшись от возлюбленного, Люська спросила:

– А ты выпил?

– Ага, – ответил Ромка и незаметно высыпал таблетки в лопухи.

И понял, что его теперь обвинят в умышленном убийстве любимой девушки. Помирать, как она, он не хотел. Ему вдруг так захотелось жить, что слезы потекли ручьем. Он помрет, а вот эти березы будут все так же склонять ветви к возлюбленным, что схоронятся от посторонних глаз на старом крылечке. Все так же будет пахнуть травой и земляникой. Все так же будут тоненько ныть комары и все так же будет светить яркая белобокая луна. А его, Ромки Кривоzubова, больше никогда не будет. Останется только глиняный холмик на сельском кладбище, а возле него время от времени будет выть безнадежно и страшно его мамка.

Люська обмякла в его руках.

Трясущимися руками, он достал мобильник и вызвал скорую.

Люську откачали. Полежав пару дней в больнице, она вернулась домой. Но про любовь свою к Ромке забыла напрочь. Она была сражена его коварством. И потому даже слышать Ромкино имя не хотела. А ей и не напоминали, увидев, что дурь из башки, к счастью, выветрилась. Поняв, какие страсти бушуют в сердце дочери, родители стали относиться к ней с особой заботой и вниманием.

В семье Кривоzubовых к происшествию отнеслись попроще. Федор отвесил Ромке такую оплеуху, что у него звенело в ушах до самого вечера. Но он почему-то даже не обиделся. Даже рад был. Принял это как искупление греха.

А дед Артамон, сердито взглянув утром на внука, буркнул:

– Ну что, Ромео хитрожопый, одумался?

С легкой руки Артамона Ромку все село стало звать Хитрожопым Ромео. А у нас уж если какая кличка прилепится, ее до самой смерти носить придется.

Владимир КЛИМЫЧЕВ

Родился в 1965 году в Горьком. Окончил филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского.

Прозаик, поэт, журналист. Публиковался в журнале «Нижний Новгород», в литературных альманахах «Золотой век», «Нестолничная литература», «Urbі», «Неизвестный поэт». Автор самиздатовских книг «Портрет русского писателя», «Московский вундеркинд» и сборника рассказов.

Живет в Нижнем Новгороде.

КОЛЛЕКЦИЯ

Ума не приложу – кому понадобился мой череп? Несколько лет стоял на полке, рядом с другими экземплярами коллекции, а теперь пропал. И я даже не знаю – когда, при каких обстоятельствах. Замки на входной двери нетронуты, через окна проникнуть в квартиру не могли, они почти всегда закрыты и находятся слишком высоко, чтобы рисковать. Знакомые бывали у меня часто, но подозревать кого-то в воровстве нет оснований, друзья – проверенные и обеспеченные люди, такого себе не позволят. Спрашивается – куда делся череп?

Нужно внести ясность: моя коллекция черепов одна из самых больших в мире. Почти все экземпляры принадлежат знаменитостям: киноактерам, певцам, спортсменам, политикам и другим людям, обладающим бешеной популярностью. Черепа искусственные, но в точности копируют, если так можно выразиться, оригиналы, которых в реальной жизни никто никогда не видел. Возможность изготавливать забавные сувениры появилась давно, вместе с развитием компьютерных технологий. Какой-то художник заказал умельцам череп Чарли Чаплина, те за большие деньги исполнили прихоть, воссоздав скелет головы так искусно, что сразу можно было сказать – кто его звездный «прародитель». Сложностей не возникло: если криминалисты восстанавливают облик умершего человека по его останкам, то возможен и обратный процесс. С помощью компьютерных программ специалисты на основе параметров чьей-то головы создают 3d-модель нужного черепа, а затем изготавливают копию из специального пластика. Для работы нужны фотографии живого человека и рентгеновские снимки важнейшей части его тела, но, замечу, стоит удовольствие дорого, а желающих приобрести диковинную вещь – единицы, включая меня.

Заказывать черепа неизвестных людей глупо, их все равно никто не узнает, поэтому коллекционеры облюбовали для своей темы мировых

звезд, внешние черты которых различит даже ребенок. Частичной реконструкции подвергают скелеты как живых, так и мертвых знаменитостей, технология изготовления одна, главное здесь – желание приобрести в собственность конкретный экземпляр.

Моя коллекция имеет историю. Несколько лет назад приятели шутки ради подарили мне на день рождения череп Мика Джаггера. Они первые узнали о частной компании, изготавливающей на заказ экзотические штуковины. Все мои друзья – богатые люди, подарок стоил им громадных денег, но главное не в этом. Череп получился абсолютно похожим: чуть вытянутой формы, с узкими глазницами, ввалившимися скулами, челюсти – немного вперед. Смотришь и сразу понимаешь, кто перед тобой, вернее – кому принадлежит «запасная деталь» скелета. Я часто показывал череп знакомым, состоятельным бизнесменам, а у тех возникло желание иметь подобную игрушку, но напоминающую о другой звезде, так и родилась своеобразная мода на пластиковые копии. За последнее время они сильно подорожали, а качество изготовления стало еще выше, так как работают в этой области настоящие профессионалы. Халтура здесь не пройдет, череп должен быть стопроцентно похож, или его придется выбросить, дешевку в коллекции никто не оставит.

Дома у меня на специальных стеллажах хранится более трех тысяч черепов, общая стоимость коллекции – почти двадцать пять миллионов долларов. Каждому экземпляру отведено свое место, рядом подпись – кому из звезд он принадлежит, хотя и так понятно. Каждый вечер я бываю в хранилище, чтобы осмотреть коллекцию, иногда приглашаю друзей – показать новые экспонаты или те, которые считаю своей гордостью. Вот череп бывшего президента США Франклина Рузвельта: небольшой прямой рот, утяжеленный подбородок, узкая носовая полость. Линии выдают в хозяине аристократа: череп смотрит гордо, немного вверх. Не я первый из коллекционеров обратился к теме выдающихся политиков, но Рузвельт, к счастью, достался мне, как и десяток других американских президентов: Ричард Никсон, Гарри Трумэн, Билл Клинтон. Дело в том, что больше одной копии черепа не изготавливают, правительство ввело запрет сразу, как родилось повальное увлечение их собирать. Чем это было вызвано, неясно, может, решили, что ставить производство пластиковых копий на поток – некрасиво. И теперь коллекционеры торопятся заполучить в собственность материальное напоминание о конкретной личности, не жалея денег, отсюда – цена.

Рядом с политиками на стеллажах стоят рок-звезды, как отдельные исполнители, так и целые группы: Джимми Хендрикс, Дэвид Боуи, Эрик Клэптон, Алис Купер, Deep Purple, The Queen, The Doors, многие другие музыканты. Опять же: знаменитости достались не только мне, пока фирма выполняла эти заказы, другие коллекционеры усердно вкладывали деньги в свое увлечение. Меня лишили черепа Ринго Старра, Элтона Джона, Фила Коллинза, Стинга, Рода Стюарта. Мик Джаггер, к счастью, украшает мою полку, но собрать всех роллингов я уже не смогу, Кит Ричардс и Ронни Вуд попали в другие руки. Kiss в полном составе стоят у меня, хотя особой гордости это не вселяет. Изготовители настойчиво предлагали раскрасить пластиковые изделия, как лица самих музыкантов, но я отказался, на мой взгляд, это вульгарно.

Следующий стенд занимают великие актеры (около трехсот черепов), писатели, художники, спортсмены. Повторяю, копии выполнены на таком уровне, что вы без труда узнаете каждого человека, мне даже не придется подсказывать имена. В силу поразительной схожести каж-

дого экземпляра коллекция и доставляет удовольствие. Даже если кому-то из владельцев не повезло и он остался без любимого персонажа, выход из положения можно найти. Зачастую коллекционеры меняются искусственными черепами, на взаимовыгодных условиях или продают друг другу. К примеру, я приобрел копию черепа Джима Кэрри. Мне этот актер не нравится, фильмы с его участием я не смотрю, а другой человек наоборот – обожает комика и мечтает заполучить муляж его коробки для мозгов в личную коллекцию. Тогда я говорю претенденту – окей, готов поменять на другой пластиковый череп, хозяина которого я уважаю больше. Мне предлагают несколько вариантов, на выбор: Джеймса Белуши, Билла Мюррея, Бенни Хилла или Адриано Челентано. Конечно, я возьму Челентано и подумаю про себя, что парень, который совершил обмен, поторопился или сильно продешевил. Но здесь все субъективно, ведь экстравагантный итальянец тоже может надоест.

Череп должны находиться в идеальном состоянии: ни трещинки, ни малейшего скола, цена экземпляра с дефектом существенно падает. Нужно внимательно осмотреть копию, прежде чем она станет частью коллекции, вернуть обратно такую вещь сложно, даже близкому человеку, ведь дефект мог возникнуть после обмена, из-за неосторожного обращения.

А теперь о главном. Два года назад я решил заказать изготовителям свой собственный череп. Идея впервые родилась у меня, до этого знакомые коллекционеры не имели своих копий. Череп получился идеальным, я как будто в зеркало смотрелся, когда брал его в руки. Но вот что странно, раньше таких недоразумений не случалось: череп пропал из коллекции, и я даже не знаю, в какой момент это произошло. Есть смутные подозрения, что его украли, но зачем похищать вещь, происхождение которой сложно объяснить, ведь «прототипом» стала не общепризнанная Мэрилин Монро или Джеки Чан. Рядом на стеллажах стояли куда более ценные экземпляры, их можно было дорого продать или обменять, а мой – кому нужен? И все-таки исчез именно он.

Каким образом вещь могли вынести из дома, не представляю, но вряд ли ее украли. Я тщательно осмотрел всю коллекцию, хотя смысла в этом не было – каждый череп подписан. Анонимные экземпляры, доставшиеся мне случайно, лежат в отдельном месте, друг на друге, нужного среди них тоже нет.

Полицейским мое заявление странным не показалось, многие богатые люди хранят в своем доме диковинные вещи, и о коллекциях пластиковых черепов почти все знают – на эту тему даже в газетах пишут. В общем, через какое-то время меня навестил следователь: бегло записал показания, сфотографировал стеллажи с черепами, опять же проверил замок на двери, окна – и ушел. Исправить ситуацию его скупые вопросы не могли:

– Вы точно помните, что череп стоял на этом месте?

– Да, готов поклясться, переставлять было некому, но я и на другой полке его бы обнаружил.

– Подозреваете кого-нибудь из знакомых или друзей, навещавших вас?

– Нет, доступ к коллекции открыт только для самых близких, впрочем, случайные люди ко мне вообще не приходят.

Детектив прояснил еще кое-какие детали и распрощался, не высказав соображений по поводу пропажи. Мой искусственный череп

как будто в воду канул, что казалось чрезвычайно обидным. Тогда автоматически мне пришла мысль заказать новую копию: к счастью, ограничительный закон не распространялся на тиражирование своего собственного черепа.

Пришлось навестить знакомую фирму, рассказать о проблеме, а затем перевести на счет деньги. И вот настал момент получать ценный заказ. Я приехал в тот же офис, открыл коробку с заветным сувениром и тут же понял, что разочарован – впервые за время коллекционирования. Череп, безусловно, копировал мои черты, был узнаваем, но выглядел не очень похожим. Сотрудники фирмы, уловив мою реакцию, начали выправлять положение:

– Это одна из лучших копий, изготовленных в нашей компании.

Я молчал, стараясь разобраться в том, что конкретно меня не устроило в пластмассовой коробке, напоминающей мое лицо или голову, как хотите. В конце концов я принял решение оставить череп себе и при этом даже не высказал дизайнерам и мастерам претензий.

– Отличная работа. Вы использовали старую компьютерную модель?

– Да, вы сами просили об этом. Получилось один к одному, как в прошлый раз.

Я дождался, когда череп уложат в специальную коробку, и вышел на улицу, ощущая неуверенность в том, что поступил правильно. Истраченных денег было не жаль, но я решил проверить себя: чем объяснить сомнения, возникшие по поводу внешнего вида новой копии? Раньше их не было.

Дома я принялся детально изучать череп. Схожесть однозначно была, я узнал свой чуть скошенный лоб, узкий подбородок, широкие глазницы, но что-то продолжало настораживать. Тогда я быстро подошел к зеркалу и посмотрел на собственное отражение: лицо выглядело худее привезенного искусственного черепа, глаза чуть впали, щеки осунулись. Все стало ясно. Повторную копию должны были отлить на основе прежней компьютерной модели, ведь я сам хотел получить экземпляр, в точности похожий на тот, который якобы украли. Заказ выполнили филигранно, но с тех пор, как был изготовлен первый череп, прошло более двух лет, за это время я сильно изменился, скажу больше – постарел, а еще стал неважно себя чувствовать. Разгадка лежала на поверхности: если смотреть в зеркало каждый день, изменения во внешности будут не столь заметными, как если вдруг увидеть свое изображение двухлетней давности, что и произошло со мной в момент выдачи повторного заказа. Ведь искусственный череп тоже был частичкой меня самого. А к первой копии, лежавшей на полке с другими черепами, я элементарно привык.

И тут меня осенило! Никакой кражи не было. Пропавшая копия все время находилась в комнате, отведенной для хранения коллекции, рядом с другими экземплярами, но только в непривычном месте, куда ее случайно могли переложить после осмотра.

С этой мыслью я вошел в хранилище, включил свет и убедился, что на законной полке черепа нет. Затеряться среди музыкантов, политиков или спортсменов он не мог, значит, искать «младшего брата» нужно было среди неподписанных экземпляров, хаотично лежавших друг на друге. Я подошел к пластиковым коробкам ближе, взял первый попавшийся череп и... сразу обнаружил пропажу. Узнать копию было легко, потому что несколько минут назад я держал в руках точно такую же. Они были похожи как две капли воды, но казались чуть полнее моего лица, из-за чего я ошибся. Ну и дела!

Теперь о болезни. Год назад врачи намекнули, что мне стоит заняться собственным здоровьем. Конкретнее сказано не было, но специалисты что-то заподозрили и посоветовали регулярно бывать у них. Чувствовал я себя неплохо и забыл о совете почти сразу. А вот болезнь, похоже, отступать не захотела. Точного диагноза врачи так и не поставили, но за последний год я сильно сдал, особенно если учесть, что копия родного черепа выглядела словно чужая.

Что дальше? Обращусь к докторам, но вряд ли буду усердствовать с приемом пилюль. История мнимой пропажи и ее грустный финал ни капли не расстроили меня. Ведь не переживаете вы, когда смотрите альбом со старыми фотографиями, на которых были молодыми и красивыми. Кусок литой пластмассы, копирующий мои прежние черты, тоже хранит память о прошлом, и встреча с ним напомнила мне о самом важном. На какое-то время я потерял себя, уступив болезни, но вскоре обрел заново, благодаря страсти к коллекционированию, пусть такому странному. Обе копии моего черепа теперь лежат на одной полке, рядом, что можно расценить как усмешку над их владельцем или дерзкий вызов обстоятельствам, случаю, смерти – как хотите.

Алексей ОСТУДИН

Родился в 1962 году в Казани. Учился в Казанском государственном университете на филологическом факультете. Окончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. М. Горького.

Автор восьми книг стихотворений, многочисленных публикаций в литературных журналах и альманахах. Выступал организатором трёх Форумов современной поэзии (2004, 2005, 2008) и поэтических вечеров в Казани, в которых приняли участие ведущие российские поэты и видные литераторы из ближнего и дальнего зарубежья. Соучредитель двух ежегодных казанских поэтических мероприятий, фестиваля имени Лобачевского и Хлебниковского фестиваля (2011–2017).

Лауреат республиканской премии им. Г. Державина (2018), Всероссийская премия им П. Бажова (2019). Живет в Казани.

ВОТ И ВСЁ НА РАССВЕТЕ НЕ ЗАМЕРЛО...

Счастье

Пока враги кряхтели с тыла, страна ощупывала дно,
казалось, счастье рядом было, но было ли оно – оно,
не унимался зуд подкожный предчувствием иных забот,
придётся подождать, возможно, ещё немного, и – вот-вот,

а в будущем усталый хакер, на Марсе подхватив гастрит,
пошлёт свою эпоху на хрен и в нашу ложки навострит –
включая аварийный пеленг, успеть бы смельчаку напеть:
чтоб разумел сначала перед не удивляться и терпеть,

чтоб на заре, умывшись щами, начальство посылать в качель,
не обращать на обещанья любимых женщин и врачей,
не спятить вдруг от жажды мести, расходуя полоний зря,
когда приходится всем вместе тянуть из ила якоря,

забыть в поход любимый свитер, сыграть на спички в дурака,
поддаться чарам леди Винтер, свинтить в итоге, а пока
трещит на батарее «Прима», хрипит на записях Вудсток,
а счастье пролетает мимо, как рейс Москва – Владивосток.

Петля времени

Что будет с этими и с теми,
когда в теплице добрых лиц
фигуры расставляет время
и не проигрывает блиц,

а ты испортил кадр, не дуб ли,
не время думать с кем оно,
идёт кино – сплошные дубли,
одно и то же кимоно,

одна пространства кривизна и
как не пропасть, спроси у пчёл,
что всё не так – и так я знаю,
на солнце пятен не учёл,

но вырвешься на дачу рано –
звенит скворца зубная нить,
достанешь юность из чулана
поверх щетины нацепить,

сопатит радио с причала,
елозит в чашке муравей –
и вновь котёнком заурчала
любовь за пазухой твоей.

Попутная астрофизика

Вот и всё на рассвете не замерло,
грянул ливень, короче – движуха,
расцелует звезду фотокамера,
коль случится на тучу проруха,

расплескались подсолнухи рыжие,
закипел иван-чай из ванили,
словно добрых людей не мурыжили,
в неотложку по ним не звонили,

научились трещать автоматами,
о бессмертии будущем врать, но,
всё равно распадёмся на атомы,
где ни света, ни тьмы – невозвратно,

дорогая, запомни лицо моё,
шаткий кузов последней попутки,
где в дорожной пыли пританцовывают
разорвавшихся звёзд незабудки.

Пять утра

Всё начинается с малого,
если не будет сюрприза,
цифра не дружит с аналогом,
как с головой телевизор,

в серости рыхлого, талого –
майского солнца замашки,
если с утра не поймал его –
чай остывает в скучашке,

пьёшь холодильник из горлышка,
по полу скачешь по крошкам
высохших яблочных зёрнышек,
делая пальцы картошкой.

Мультик

На лапах лебеды и розмарина,
гуляет август с дудкой в бороде,
как битумную крышу разморило
его на солнце, значит, быть беде,

кривые георгины мутят воду,
ворона переваривает сыр –
моей поляне ясную погоду
накаркала, ну кто её просил,

гудят шмели, как выпивший Мацуев,
а у подружки юбка коротка,
нет алкоголя крепче поцелуя,
внезапнее болонки с поводка,

идёшь себе, правдив, как мерин сивый,
у красных цифр полуденный столбняк,
хватило б вербы в собственные силы,
метаться и аукаться поздняк,

моршанской папироскою мигая,
персоной грата меньше суети,
Петровка 38 попугаев –
ни одного удава на пути.

Забантика

Злые тучи плывут на восток,
отливают дождями, как нерпы,
я пропущен сквозь электроток,
потому что железные нервы,

думал сам этот вес подниму,
одному не по силам, однако –
там, где сосны сосут синеву
и рассован вай-фай по оврагам,

здесь листвы нарезные тузы,
и кора, как ладонь психопата,
лес взлетел на турбинах грозы
и упал за Тунгуску куда-то,

накрутила река бигуди,
нацепила на бакен рубины,

назарет ты меня не буди,
и копьём не касайся грудины,

мне обрыдла веков суета,
бесконечные войны за слитки,
только – вымок, похлопав кита,
словно чайный пакетик, до нитки,

украинцам за сало «салам»,
итальянцам «рахмат» за ризотто,
гнётся воздух, с грехом пополам,
разжимая тиски горизонта,

где шинкует надежду резон,
завезли амазонок намеднях,
и кенты егерей не в сезон
перебили кентавров последних.

Павел ШАРОВ

Родился в 1972 году в Саратове. Окончил Литинститут им. А.М. Горького. Публиковался в журналах «Волга», «Волга XXI век», «Сибирские огни», «Северная Аврора», «ЕДИТА» (Германия), «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Урал-Транзит», «Звезда» и других изданиях.

Автор четырёх книг стихов. Член Союза писателей России. Живёт в Саратове.

ЗНАЮ, ОТЧЕ, КАК ДОРОГ ТЕБЕ ЧЕЛОВЕК...

* * *

Кто на башню сумеет влезть,
тот увидит: два неба есть –
небо верхнее с нижним небом,
а земли – ее вовсе нет.
Зря пугают, грозят Эребом –
там не сумрак, а тот же свет.

Эта башня – она внутри.
Чтоб взойти на нее, сотри
пелену и смотри сквозь то, что
окружает тебя вокруг,
и тогда ты увидишь точно
карусельный небесный круг.

В центре «я» – сквозь него насквозь
эта башня – вселенной ось –
в оба неба вросла корнями.
Здесь души твоей колыбель.
Ты и средство Творца, и цель,
ты – граница между мирами.

* * *

Солнце ниже,
и тень наползает на двор.
Отче, иже...
Не помню, с каких это пор

за оградой
сiju я, седой, во дворе –
бородатый
с недремлющим бесом в ребре.

С жизни сдачу
отдал алкашу: на сто грамм
он всё клянчил,
и счет потерял я годам.

Отче, иже...
и долги оставь, как и мы...
Я всё ближе
к таинственной области тьмы.

Тихий вечер,
и воздуха пыльная взвесь.
Это Вечность
незримо присутствует здесь.

Звезды ночи.
Галактик стремительный бег.
Знаю, Отче,
как дорог тебе человек.

Жили-были,
любили и шли к алтарю,
и в могиле
мы ждем Воскресенья зарю.

* * *

Отболела головушка, слезы вытекли.
Март, но в сердце пурга как на Вытегре –
там, на севере, где болотами
заперт лес, точно двор – воротами.
С нашим сыном пойти рука об руку
к золотому от солнца облаку
не судьба мне... В отцовскую ямину
положите меня, братцу Каину
передайте, что был я Павликом,
но уплыл по Коциту яликом,
был да сплыл я – по Стиксу ботиком,
пламя черпая низеньким бортиком.
Жизнь разменная – зимами, веснами –
разошлась по рукам. Жаль, что взрослыми
мы не стали, душа моя, Павел, но
все, что было – неправильно, правильно, –
все же было... Французскими булками
не хрустел отродясь – водка булькала
из горла – я занюхал, и ладно уж.
...Не сыграть с нашим сыном мне в ладушки...
Так судьба нас обоих прищучила.
Не тебя, а меня бы – на чучело
в огород! Я же, челюстью клацаю,
Ипокрены глотну, из Горация
вспомню – сказано было невежде
Научись-ка порядочно мыслить ты прежде,

чем начнешь писать, но – кончается курево,
и плывет топор из села Чугуево –
из Аида, за Летой-Ягорбой,
где забвение – волчьей ягодой.

* * *

Зря на Венеру я надеюсь, во власти Марса – Фобос, Деймос,
а говоря по-русски, Страх и Ужас. Неизбежен крах
в семейной солнечной системе, – нас разлучит навеки с теми,
кого мы любим, бог войны. А мы – себе мы не равны
(о, кто бы человека сузил!), и в сердце – гордиев тот узел:
не развязать любовь с войной нам в этом мире. Но за смертью –
удар секирой по предсердию! – узрим иной.

* * *

В холодном апреле я вспомнил – о ком?
Сказать не могу, но возник в горле ком,
и хлынули слезы – раскаянья, что ли?
Да нет, но взорвался мой череп от боли,

полезли глаза из орбит: я свой грех
увидел воочию – будто при всех
я голый стою, побиваем камнями,
лицо закрываю, кричу им, что я не

виновен, а если виновен любой,
то где же прощение? где же любовь?
Гляжу на орущую эту ораву
и слышу: «Варавву! Варавву! Варавву!»

* * *

Здесь два тополя, два фонаря желтолицых,
и еще невозможно не вспомнить о птицах –
вот ворона, вот голубь, а вот воробышко.
А мальчишка,
что играет в песочнице, это тот самый,
кто гуляет за ручку со старенькой мамой,
то есть я, из которого скоро песочек
будет сыпаться. Что, кроме строчек,
он оставит и кто их прочтет, эти строчки?
...Ах, апрельская дымка, набухшие почки.
Это снова весна, и в душе отблеск мая.
Умирая,
что ты вспомнишь? Наверное, вспомнишь апрельский
Божий день и услышишь тот благовест сельский,
что над родом твоим разносился от века –
над Марией, Иваном, Петром... А с Увека*

* Кладбище в Саратове.

видно: Волга сливается с небом. Мне надо
воротиться домой, миновав пропасть ада.
Здравствуй, дедушка Павел, пропал ты без вести
на Великой войне. Наконец-то мы вместе.

* * *

Летят утки, летят утки и два гуся.
Ох, кого люблю, кого люблю – не дождуся.
Не дождусь я журавля, упустив синицу.
Мне б лягушку на болоте завернуть в тряпицу –
лягушачью шкуру в печь, победить Кощея.
Только я не царский сын. Кто такой вообще я?!
Баба Маша, я твой внук. Ты меня проведай,
хоть во сне, а песня та – пусть она допетой
будет голосом твоим, чтоб от слез счастливый
я проснулся – вспомнил всё: как я был пугливый –
на иконе страшный Бог, я лежу на печке,
на коленях ты стоишь, в отблеске от свечки
седина твоих волос, а мне жутко очень.
...Всё короче дни мои, всё бессонней ночи.
Мне теперь не страшно, нет, это я ребенком
ничего не мог понять, а теперь на тонком
насте жизни я держусь за свое, родное,
родовое – за Христа, знаю лишь одно я:
отмолила ты меня, выплакала реки
слез, а внук-то опоздал – опоздал навеки.

* * *

Калина красная, калина вызрела.
Журавль – под облаком, а я жду выстрела –
а я жду выстрела, ножа ли под ребро.
Журавль-журавушка, ты оброни перо.

По ветру перышко пуцу по осени –
по ветру стылому... Деревья сбросили
в предзимнем холоде последних листьев плоть –
скелеты страшные. Персты сложу в щепоть –

о, сжался, Господи! В закатном зареве,
в ночной ли темени, в рассветном мареве
пускай то перышко укажет верный путь.
А я не ведаю, куда ступить-шагнуть:

налево – рытвина, направо – ямина,
засака – спереди, а сзади мамина
слеза горячая – лицо белей, чем мел.
Сказать же правду ей я так и не посмел.

Судьбы негоже мне бояться – надобно
жить по-хорошему. Но всюду надолбы.
Журавль – под облаком, синицы нет в горсти.
Калина красная. Прощай. За всё прости.

Николай РАЧКОВ

Родился в 1941 году в селе Кирилловка Арзамасского района Горьковской области. Окончил историко-филологический факультет Горьковского педагогического института. Работал учителем, журналистом в Арзамасе. Творческий путь начинал в Горьковском отделении Союза писателей СССР.

Поэт, автор более 30 сборников стихотворений. Лауреат всероссийских и международных литературных премий, в том числе Большой литературной премии «Алроса», всероссийской православной премии им. святого А. Невского, святого непобедимого воина Ф. Ушакова, лауреат Гран-при Всемирного славянского форума «Золотой Витязь», лауреат литературной премии «Болдинская осень».

Секретарь Союза писателей России, академик Петровской академии наук и искусств. Живет в городе Тосно, Ленинградская область.

МЫ РОДИНЫ СВОЕЙ НЕ ЗАМЕЧАЕМ...

* * *

Здесь русские люди рождались и жили,
Пахали и жали, косили и шили.

Здесь свадьбы по улице шли нараспашку
Под песню, под удаль, под пьяную бражку.

У крайней избы, у резного окошка
Кому-то в любви признавалась гармошка.

А сколько звенело здесь свежих частушек
Под гул перестроек, утрясок, усушек.

Деревня! Овраги, поля и долины.
Веселье в избе – новый внук у Полины.

И веяло жизнью простой, небогатой,
Шагавшей вовек с топором да лопатой.

Война на порог... Сколько горя и страху.
«Поддай-ка мне чистую, Марья, рубаху...»

Звучат голоса сквозь года из тумана
Василия, Анны, Бориса, Ивана.

Вот-вот и совсем разойдемся мы с ними.
Уходят... Всё дальше... Лишь эхо... Лишь имя...

Взяв ореховый посошок,
Он пешком пошел в Лукоянов,
В городок средь степных дорог.
В лапотках да в дырявой шапке,
Сам бледней своего холста,
На подмостках церковных, шатких,
Подрядился писать Христа.
За спиной – поля, перелески,
Птичий радостный переклик.
А во храме живой на фреске
Воссиял божественный лик.
Он работал без передышки,
Зорок глаз и душа чиста.
Ах, какая в душе мальчишки
Затаенно жила мечта!
...В том, что славы он не добился,
Нет нисколько его вины.
Он упал с лесов и разбился,
Не увидев своей весны.

Падает снег

Лиде

Сколько промчалось зим,
Кажется, целый век...
Вновь за окном моим
Падает тихо снег.

Снег заносит опять
Сёла и города.
Выйти бы погулять,
Только не те года.

Как я забыть могу
Дней молодых поток.
В звездном сверкнул снегу
Твой пуховый платок.

Это во мне, во мне –
Лестница, коридор,
Губы твои в огне,
Радостный взор в упор.

То ли восторг мне сжал
Сердце, то ли испуг, –
Это холодный жар,
Это касанье рук.

Встреча накоротке.
Школа вдали. Дела...
В снежном своем платке
Как ты была мила!

Был он неповторим
Твой и приезд, и снег...
...Сколько промчалось зим,
Кажется, целый век.

* * *

Не бьет уже под дых, как прежде, неудача,
Удача не пьянит под шум родных берез.
Глухим я, видно, стал – почти не слышу плача,
Слепым я, видно, стал – не вижу чьих-то слез.

И время, и года сожгли былые страсти.
И что с того, что вновь я на себя сержусь,
Что громко не кричу немилосердной власти
О том, как из-под ног у нас уходит Русь.

Нет, не земля уходит и не реки,
И не простор страны, от зимней стужи сед,
А то, что испокон держалось в человеке
Как символ и любви, и дружбы, и побед.

* * *

Вот и последнее тает тепло,
Тополь-то как нарядился!
Солнечный лучик упал на стекло
И о дождинку разбился.

Значит, недолго уже до зимы.
Чудится: в жаркой погоне
Скачут вдоль алых рябин хохломы
Вновь городецкие кони.

Снова под грай суматошных грачей
На сквозняках перелеска
Вспыхнуло столько прощальных свечей,
Столько янтарного блеска.

Не пропусти, поспеши, улови
Сквозь потемневшие своды
Эту улыбку осенней любви
Женщины,
жизни,
природы...

Дмитрий МИЗГУЛИН

Родился в 1961 году в Мурманске. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н. Вознесенского и Литинститут им. А.М. Горького.

Автор семнадцати поэтических книг, многочисленных публикаций в литературных журналах. Отдельными изданиями выходили книги на французском, английском, сербском, чешском, украинском, греческом, венгерском, болгарском, татарском и белорусском языках. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии правительства РФ в области культуры (2013). Кавалер орденов преподобного Серафима Саровского и св. благ. кн. Даниила Московского РПЦ.

Член Союза писателей России. Академик Петровской академии наук и искусств, Российской академии естественных наук. Сопредседатель попечительского совета альманаха «День поэзии – XXI век». Президент литературного фонда «Дорога жизни». Живет в Санкт-Петербурге и в Ханты-Мансийске.

ОЩУТИТЬ ДЫХАНИЕ СВОБОДЫ И ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ КОНЦА...

* * *

Смотрю на первый снег летящий
В сухой морозной лунной мгле,
Как много жизни настоящей
На этой сумрачной земле.

Где нет понтов и нет престижа,
Где бродит леший по лесам,
Где всё наивно и поближе
К обетованным небесам.

Давно получены награды
И стихнул ветер перемен,
И ничего тебе не надо –
Ни власти дым, ни денег тлен.

Устой рушатся и царства,
И ты, конечно, поспеши,
Прими молитву как лекарство
Для врачевания души.

И, переплыв сомнений реку,
На дальнем выйди берегу...
Как мало надо человеку,
Как много надо дураку...

* * *

Я давно не летаю во сне,
 Да и спится не очень-то мне.
 В беспросветной ночной тишине
 Не приходят видения мне.
 (Так, как раньше, в немых облаках.
 Словно кто-то носил на руках...)

Сколько было по жизни всего –
 А не снится почти ничего, –
 Только санки под горку летят,
 Только мамы встревоженный взгляд.

Только тёплые руки отца
 Да полярная ночь без конца.
 Сколько было по жизни всего,
 А не нужно уже ничего...

Светят звёзды, мерцает луна,
 И полоска рассвета видна.
 Тает ночь, ускользая, как тень,
 Начинается сумрачный день...
 Я во сне не летаю. Боюсь,
 Что на землю уже не вернусь...

* * *

Проще мысли и прозрачней думы
 Стали. Больше некого винить.
 Все мои рубашки да костюмы
 Мне уже до смерти не сносить.

Всё, с чем ты носился горделиво,
 Как туман рассеялся к утру –
 Ведь не предъявишь крутую ксиву
 На вратах Апостолу Петру.

И не нужны истины и знания
 Для того, чтоб из последних сил,
 Хоть на миг частицей мирозданья
 Ты себя внезапно ощутил.

И, попав в водоворот природы,
 Вдруг как бы от третьего лица,
 Ощутить дыхание свободы
 И предвосхищение конца...

А наутро без конца и края
 Всю округу – снегом замело,
 Словно бы в начале жизнь земная.
 Тихо.

Пусто.

Благостно.

Светло.

* * *

Что может быть хуже весны.
В грязи утопает дорога.
Оттаяли мысли и сны,
В душе поселилась тревога.

Чернеет встревоженный лес.
Природа нема и уныла,
И занавес серый небес
Скрывает дневное светило...

Оставила душу зима...
Легка, как небесная милость,
Где даже полночная тьма,
Промёрзшая, насквозь светилась.

Чернеет оттаявший снег,
Колышутся лужи сомненья.
И ты не увидишь вовек
Небесного в них отраженья.

* * *

Избавленный от мелочных забот,
Он пребывал в безволии и неге.
Стоял июль. А он мечтал о снеге
И о сугробах белых у ворот.

Под сенью сосен плавилась жара.
Густели небеса остекленело.
Он жарко баню истопил с утра
И парился, покуда не стемнело.

Уголья тускло плавилась в печи,
Томясь, как переполненные соты,
И было слышно в сумрачной ночи,
Как пролетают в небе самолеты.

Чуть слышен гул. И вот пропал
уже.
И лишь сомненье смутное
осталось.
И так спокойно было на душе,
Как будто жизнь еще не начиналась.

Прощаясь наспех, навсегда

Прощаясь наспех, навсегда
В столпотворении разлук,
Ты не забудешь никогда
Её по-детски тонких рук.

Пройдёт печальная пора.
Ты будешь жить и не тужить,
Но будут жёлтые ветра,
Как листья, память ворошить.

Конечно, вечность – это вздор.
Ты прав, конечно, всё пройдет.
Но всё же, где горел костёр –
Трава годами не растёт...

Встреча

Судьба испытывает дважды,
И дважды ты ответ давал.
В Париже Вяземский однажды
Был зван на некий важный бал.

Соображаясь с политесом,
Стоял, как маршал на плацу...
И вдруг, о господи, с Дантесом
Столкнулся он лицом к лицу.

Под сводами блистали свечи.
Дробился в хрустале огонь.
Дантес обрадовался встрече
И князю протянул ладонь.

О чем подумал князь? – не знаю.
Быть может, стал припоминать,
Как бедный Пушкин, умирая,
Шептал-просил морошки дать.

А за окном – дождливый вечер,
Парижских улиц мерный гул...
И Петр Андреевич навстречу,
Помедля, руку протянул.

А пары в танце мимо, мимо.
Бокалов пенных гулкий звон...
Не так уж труднообъяснима
Распавшаяся связь времен.

Мы духом вознеслись в победах,
Окрепши в горе и любви,
Но некого винить нам в бедах,
И в смутах русских, и в крови...

Да, мы обречены на муку,
Нас презирают все вокруг –
Ведь твоего убийцы руку
Смущенно жмет твой старый друг.

* * *

Ни на кого не обижаясь,
Не презирая никого,
Я постепенно приближаюсь
К порогу счастья своего.

Кому-то в сотый раз поверив,
Кого-то в сотый раз простив,
Я открываю тихо двери,
О разрешение не спросив,

А за дверями, как и прежде,
Друзей услышу голоса,
И корабли моей надежды
Поднимут снова паруса,

И чайки кружатся в тумане,
Который тает, словно дым,
И я не верю, что обманут
Воображением своим...

Минна ЯМПОЛЬСКАЯ

Родилась в Киеве в 1949 году. После окончания школы поступила в Горьковский государственный университет, на биологический факультет. Работала биологом в НИИ гигиены труда и профзаболеваний, помощником депутата в Законодательном собрании Нижегородской области. Стихи публиковались в местной периодике, в 2009 году вышел сборник в издательстве «Мирайя».

Живет в Нижнем Новгороде.

НЕ ГЛЯДИ СКВОЗЬ ТОЛЩУ ЛЬДА...

* * *

Слаб человек? Слаб.
Горд человек? Горд.
В каждой душе – раб.
Каждой спине – горб.

Глух человек? Глух.
Слеп человек? Слеп.
И надо всем – дух.
И подо всем – хлеб.

Ты их любил? Да.
Ты им простил? Нет.
Каждой зенице – звезда.
В каждой душе – след.

* * *

Не гляди сквозь толщу льда,
ни оттуда, ни туда –
где-то греет, где-то веет,
где-то капает вода.

Кто-то под, а кто-то – над,
но никто себе не рад.
Каждый слышит, как он дышит –
каждый дышит невпопад.

Не ходи сквозь толщу льда
ни оттуда, ни туда –

там ни выхода, ни входа,
ни тропинки, ни следа.

Чья-то память подо льдом,
но о ком-то не о том.
Если свидимся – узнаем.
Если свидимся потом...

* * *

Умудрившись прожить наугад,
без расчёта на чёрный на день,
продолжала фиксировать взгляд
над головами людей.

Убедилась, что ракурс сквозной
достоверен, как жест руки,
что намного приятней гулять одной,
мимо и вне тоски.

* * *

Была хоть счастлива?
Была.
Я выбираю только это –
проявленные кадры света,
засвеченные кадры зла.
Услуга сверху – дар забвенья,
так просто, как дыханье, пенье,
в стихе любимая строка,
пусть остаётся только это –
проявленные кадры света,
и не иначе – только это:
проявленные кадры света,
засвеченные кадры зла.

* * *

Любила ветер?
Очень.
Плыл «Метеор» по Волге,
и я, держась за поручень,
Макарий проплывала.
Какой был ветер,
Боже мой!
Плыл «Метеор» по Волге,
и я, держась за поручень,
как видела, так помнила:
плыл над водой Макарий,
а я, держась за поручень,
счастливая, безмозглая,
и ветер, ветер!

* * *

Очень тихо пережить осень,
после молча переждать зиму,
говорить, когда о том просят, –
покивала и прошла мимо.
Дальше больше: на два дня – пачка,
три затяжки – и хорош, тушим.
И ещё. Не заедать сладким
диетический – тоска – ужин.
Доживаем до весны, значит.
Для чего – не поняла, надо.
А на кухонном столе – пачка,
и конфетой закушу, падла.

* * *

Линялая картинка на стене.
Прогнозы лгут, но обещают снег.
Мир зыбок, и раскачивает зыбку
Младенец, и губами ищет мать.
И если слечь всерьёз – уже не встать.
Глаза глядят сквозь прорезь полой тыквы,
и зеркало не хочет больше лгать.

* * *

Причудлив мир, в котором нету грани
меж мёртвым и живым.
Мы рядом. Мы – насквозь.
Мы движемся на ощупь и кругами
внутри гудящей сферы, по программе,
когда поймут – окажется простой.
Не отрывая глаз, не отводя лица.
И нет нам ни начала, ни конца.

Проза

Виктор КАРПЕНКО

Родился в 1951 году в Чулыме, Новосибирская область. Окончил Ставропольское высшее военное командное училище, Киевский госуниверситет, Институт прикладной экономики при Волго-Вятской академии госслужбы.

Служил в ракетных войсках стратегического назначения, подполковник запаса. Работал директором Нижегородского областного департамента культуры и искусств, замминистра культуры Нижегородской области, исполнителем директором фонда «Народный памятник», председателем Нижегородского отделения Литфонда России.

Писатель, историк, краевед. Директор издательства «Бикар», главный редактор альманаха «Нижегородцы». Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

*Моему отцу, командиру взвода дивизионных разведчиков
младшему лейтенанту Карпенко Федору Федоровичу
посвящается*

ПОВЕСТЬ О РАЗВЕДЧИКАХ

I. Охота

1

Снег накануне несколько подтаял, за ночь подморозило, и потому наст держал. Федор шел не спеша. Лыжи, подбитые лосиной шкуркой, лишь надламывали тонкую ледяную корочку. Солнце еще не выглянуло из-за кромки леса, но небо было по-весеннему высоким, безоблачным, а значит, день предвещал быть хорошим. Лес медленно надвигался темной стеной. Крайние ели, словно стражи, стояли, набычившись, касаясь нижними лапами снежного покрова.

Чуть познабливало. Не от морозца, нет! От внутреннего волнения – предвестника предстоящей охоты. К этой охоте Федор готовился больше месяца. Шутка ли! На медведя! Может, он и не пошел бы, да военком твердит одно: «Тебе еще и восемнадцати нет, потерпи. Окончи школу... Приходи через год, тогда и поговорим».

«Через год... Через год и война уже закончится... Нет! Я докажу, что со мной так нельзя... – накручивая себя, размышлял Федор. – Силой бог не обидел, ростом тоже, да и весом, почитай, центнер. А главное – с раннего

детства в тайге: стреляю, что из берданки, что из карабина, без промаха, следы читаю, с дедом на пару неделями в тайге промышлял... А что мне лет семнадцать от роду, так то разве причина в армию не призывать. Тимоху-то Пронькина, не в пример, еле ноги волочит от слабосилья, а забрали. Несправедливо это! Неправильно!»

Медвежью берлогу Федор приметил давно. Самого зверя не видел, каков он: матёрый или так, не очень. Выбрал же берлогу потому, что оказалась самой близкой от заброшенной просеки, по которой можно будет добычу вывезти из леса. Пока что Федор тащил за собой санки, чтобы было на чем шкуру и медвежью голову везти, а уж за тушей... у председателя колхоза придется просить лошадь. В том, что он завалит медведя, Федор не сомневался. Не раз видел, как охотники брали матерых на ножи. «Дело нехитрое, – продолжал он размышлять, ритмично переставляя лыжи. – Поднять медведя... а встанет на задние лапы – булаву ему в морду... и ножом в сердце... Главное тут, чтобы нож меж ребер прошел...»

Видеть-то Федор подобные схватки со зверем видел, но тогда на страховке у поединщика до пяти охотников было, а он сегодня один, некому его подстраховать. Война! В первый месяц почти всех мужиков из деревни побрали. И понятно: охотники! Кому, как не им, воевать. С детства к оружию привыкшие. Отец тоже охотником знатным был, да не повезло ему. С медведем схватился один на один. Булаву-то, обитую медными шипами, он мишке в морду сунул, тот схватил ее, да, видимо, наколовшись, отпустил... и навалился на охотника. Только через двое суток истерзанное тело нашли. Но Федор об этом не думал. «Дед-то вон сколь матёрых завалил, и ничего...» Правду сказать, дед был более двух метров ростом, весил сто сорок килограммов и силушкой на всю деревню славился. Бывало, в праздник мужики напьются, задерутся, бегут бабы к деду: «Федор Федорович, уйми ты мужиков, не дай бог, покалечат друг друга». И унимал. Подхватит оглоблю или жердину из изгороди выдернет и ну ею охаживать буйных. Федору-внуку еще ой как далеко до Федора-деда. Вот и сегодня... чуть свет, пошел в тайгу, а деду не сказал. Отговорил бы старый или следом увязался. Хотя и могуч дед, а ему-то уж девяносто семь... Поберечь надо старого...

Вот и примеченное место. Меж двух ветром вывороченных с корнями сосен и устроил себе мишка берлогу – парок еле заметно вьется из-под снега, как рай.

«Спит розолапый, – усмехнулся Федор. – Ну, я сейчас устрою тебе побудку!»

Федор убрал в сторону лыжи, санки. Вскарабкавшись метра на три на подсыхающую сосну, на сучок повесил карабин. Это на всякой случай. Коли завалить медведя не удастся, то дерево и карабин на нем могут спасти охотнику жизнь. На земле, тем более по снегу, от разъяренного зверя не уйти.

Из укромного места Федор вытащил лопату и принялся расчищать от снега место предстоящей схватки. Молодой охотник давно уже все продумал и даже длинную жердину, которой собирался будить зверя, приготовил заранее.

Отдохнув, он решительно взялся за очищенную от веток и от коры лесину.

Где находится вход в берлогу, Федор высмотрел давно и теперь безошибочно воткнул заостренный конец жерди сквозь засыпанные снегом ветки во что-то мягкое. «Попал, – радостно ёкнуло сердце, – с первого раза!» Молодой охотник принялся ворочать жердиной из стороны в

сторону. Вскоре ледяная корка пошла трещинами, ветки, прикрывавшие вход в берлогу, с треском и комьями снега разлетелись в стороны, и хозяин берлоги с ревом показался из открывшегося черного зева. Свет ударил зверю по глазам, и тот отчаянно тер их, захватывая лапой снег. Вдруг он замер, увидев того, кто потревожил его сон. Взревев, он поднялся на задние лапы. Федор только и ждал этого момента. Он ткнул шипастой палицей медведю в раскрытую в оскале пасть и отдернул, опередив на какое-то мгновение могучую лапу зверя. Шагнув вперед, Федор еще раз ткнул палицей в медвежью морду. Зверь обеими лапами ударил по утолщению палицы, нанизывая их на острые треугольные грани шипов. От боли зверь заревел и еще сильнее сжал палицу. Федору показалось, что медные пластины, на которых находились шипы, лопнули. Извернувшись, охотник выхватил из-за пояса полуметровый нож и всадил его по самую рукоять зверю под левую лопатку. Медведь продолжал стоять.

«Неужто промазал?!» – запоздало мелькнуло в голове, но рассуждать было некогда. Федор метнулся к спасительному дереву. Через какое-то мгновение он уже был на сосне метрах в шести от земли и привычно передергивал затвор карабина. Страх не было. Он просто не успел испугаться.

«Только бы не дрогнула рука!»

Федор прицелился, метя в глаз зверю, который только сейчас разомкнул лапы и правой ударил по рукояти ножа, сломав ее. Из раны хлынула кровь. Сделав шаг, он захрапел и повалился на окровавленный снег.

Выждав какое-то время, Федор спустился с дерева и осторожно приблизился к поверженному зверю. Только сейчас он обратил внимание, насколько тот огромен, и только сейчас пришло осознание содеянного. «Оступись или окажись медведь чуточку проворнее, и не он, а я бы сейчас лежал на окровавленном снегу».

Освежевать лежащего медведя, как планировал Федор ранее, не представлялось возможным, а подвесить его за задние лапы и потом снять шкуру не хватило бы сил, да и веревку с собой он взял короткую. Забросав добытого зверя снегом, чтобы не так быстро остывала туша, молодой охотник устремился в обратный путь.

Председатель колхоза поначалу не поверил, что семнадцатилетний, пусть даже крупного телосложения, парень завалил матёрого медведя, но, поразмыслив, дал не только лошадь, но и отрядил двух мужиков-охотников. Каково же было его удивление, когда троица вернулась. Медведь был настолько большим, что задние лапы, свисая с саней, волочились по снегу.

Прослышав об удачной охоте, дуплинские к зданию сельсовета собрались быстро. Окружив сани, женщины охали и ахали, всплескивая руками, мелкота крутилась, верещала тут же и, стремясь выказать бесстрашие, таскала медведя за уши, тыкала пальцами в ноздри, девчата, собравшись отдельной стайкой, щебетали о чем-то своем, не без интереса поглядывая на Федора, словно впервые его видели, опытные же охотники похлопывали его по плечу, приговаривая: «Молодец! Хорошего зверя взял!» Дед пришел одним из последних. Поглядев на трофей внука, лишь осуждающе покачал головой. Отойдя в сторону, смахнул слезу и больше для себя, нежели чем для стоявших рядом соседей, сказал: «Силушкой бог наделил, а ума не дал!»

Вызова в военкомат Федор ожидал с нетерпением, однако, получив его, направился туда не без опасения: «Чего еще там райвоенком удумал?»

Но, войдя в кабинет и увидев улыбающегося майора Фирсова, просветлел и сам.

– Ну что, герой, неужто верно народ сказывает: под четыре центнера медведя завалил? Да-а. Не всякому опытному охотнику такое под силу. И что, ножом?

Федор, засмутившись, кивнул.

– Кто бы рассказал – не поверил. Но мне ваш председатель шкуру показывал. Хороша, хотя и не выделанная еще. мех плотный. Да и сальце, поди, зверюга еще не все сжег, март только начался. А ты чего у двери топчешься? Проходи, садись, – широким жестом майор указал на стул. – Я вот для чего тебя пригласил... Ты в армию-то еще не раздумал идти? А то председатель ваш, хотя тебе еще год до восемнадцати, уже о брони на тебя печется. Говорит, место работы подыскал – механиком на маслозавод.

– Нет, – мотнул головой Федор. – Только на фронт.

– Я так и думал. Парень ты упёртый, целеустремленный, потому помогу. С заведующей районо договорился: свидетельство об окончании школы выдадут досрочно. Да и невелико нарушение – до окончания учебы осталось всего два месяца. А вот справку с нужным годом рождения только сельсовет выдать может. Пусть твой дед переговорит с председателем. Ему-то уж, верно, он не откажет. А Федору Федоровичу скажи, что, мол, майор Фирсов направит тебя в офицерскую школу в Новосибирск. Шесть месяцев учебы... Офицером станешь. Дед знает, мое слово верное.

Возвращаясь из района, Федор всю дорогу прокручивал варианты разговора с дедом. Как-то он поведет себя, узнав, что с военкоматом вопрос решен и осталось только в сельсовете справку выправить. Поможет ли? Строг дед. Решив однажды, что бык, упрется рогом в землю – не столкнётся. А то еще... несмотря на то что внук вымахал ростом, может и наподдать. Но не тумакон страшился Федор, ему-то не впервой. Бывало, на праздниках с соседскими парнями из Соколовки сходились дуплинские молодцы стенка на стенку: и ему доставалось, и от него тоже перепадало. Боялся же он, что дед запретит ему идти в армию. Скажет, чтобы ждал своего года призыва, и уже тогда – проси не проси его – своего решения не изменит.

За ужином дед молчал, лишь изредка из-под нависших бровей поглядывал на внука. Видал, что тот мается, не решаясь начать непростой разговор. Сам-то Федор Федорович еще по возвращении внука из района по его восторженным глазам понял, что военком сдался, догадался, и о чем пойдет речь, но помалкивал. Лишь когда с ужином было покончено, а внук так и не решился на разговор, спрятав усмешку в бороду, сказал:

– Я договорился с председателем колхоза: лошадь дает на два дня. Будешь перевозить сено для нашей коровки с дальнего покоса...

– Да я же... – начал было Федор, но дед его перебил:

– Перевезешь сено, а потом иди воевать, не держу. В нашем роду от войны не бегали: ни прадед мой, ни дед, ни я. Две войны прошел – мировую и Гражданскую. На Финскую вот только не взяли, стар, говорят.

– Деда, а с документами поможешь?

– Помогу. Выправим тебе бумаги.

Через неделю Федора провожали в районный военкомат. Пришли парни из класса, девчонки, правда, не все. Но Анна, что ему последние два года нравилась, была среди провожавших одноклассниц. Проводы прошли как-то тихо, по-деловому, без песен и самогонки. Дед несколь-

ко раз обнёс медовой брагой гостей, сказал внуку напутствие, на том и разошлись. Понятно... шел март 1942 года. Уже больше десятка семей в деревне получили похоронки. Не до веселья.

Федор, провожая Анну, лишь у самой калитки поцеловал ее впервые: торопливо, неумело, в краешек губ.

– Я дождусь, ты только вернись, – проговорила она тихо. – И за дедушкой твоим присмотрю... Ты за него не тревожься. И вот еще что, – отстранившись от Федора, строго заговорила девушка: – Я за столом молчала, но теперь скажу: немцы не медведь, перед ними удаль молодецкую показывать незачем, не оценят. Отец с фронта пишет, что лютуют фашисты. От Москвы их погнали... но это только начало. Ты – охотник, тебе ли не знать, что раненого зверя опасаться более всего надобно. Так что войи с опаской, бережёного и бог бережёт!

Анна решительно обхватила голову Федора, наклонила и поцеловала... долго, страстно, по-настоящему.

«Вот те и тихоня! – мелькнула мысль. – И говорит толково!»

Стояли обнявшись еще часа два. Говорили мало, больше целовались, а растались, лишь когда ноги в валенках замерзать начали и щеки загорелись не от страсти, а от мороза. Зима не хотела уступать весне. Март. А в марте еще и морозы, и метели... Сибирь, и этим все сказано.

3

Майор Фирсов, вручая предписание, напутствовал:

– Начальник школы – мой друг, вместе на Дальнем Востоке службу начинали. Я ему о тебе написал. Так что ты меня не осрами, учишься хорошо, на фронт не рвись, еще успеешь. Война, судя по всему, будет затяжной. И вот еще что: едешь один, в сопровождающие дать некого. Здесь на поезд посажу, а уж в Новосибирске воинскую часть ищи сам. Обратись к военному коменданту, поможет.

Через четыре часа Федор уже ехал в переполненном вагоне пассажирского поезда и смотрел в окно, за которым сплошной черной полосой проплывал лес, лишь изредка разрываемый огнями маленьких станций.

То, о чем мечтал последние полгода, свершилось: он едет на фронт. Хотя еще не совсем на фронт, но скоро там будет. Почему же нет радости, а на душе тоскливо? Не потому, что на фронте могут убить. Нет. Смерти Федор не страшился. По молодости уверен был, что она его минует. Тогда почему? Из-за деда – единственного родного человека, связывавшего его с родной деревней, с прошлой жизнью? А может, из-за Анны? «Чего же я, дурак, ходил так долго вокруг да около... Когда теперь встретимся?»

II. Школа

1

В Новосибирск поезд пришел рано утром. Вокзал еще не шумел, не горел своей суетливой жизнью, хотя в зале ожидания яблоку негде было упасть. Половину зала занимала воинская команда, ожидая сборного эшелона из Барабинска, на лавках, а большинство на полу, подстелив под бок что придется, расположилась гражданская публика: кто сидел, кто спал, а кто тихонько разговаривал.

Военного коменданта Федор нашел быстро. Предъявив предписание, попросил помочь.

Усталого вида капитан, возвращая документы, сказал:

– Повезло тебе, парень. В шесть утра машина должна прийти из воинской части, которая тебе нужна. Так что будь поблизости.

Не успел Федор еще отыскать себе место, как рядом с ним оказался мужичонка лет сорока, в телогрейке, шапке-ушанке, вида неприметного, заросший волосом, как говорится, по самые брови.

– Иди за мной. Дело есть, – проговорил он мимоходом и направился к еще не занятому никем простенку возле полуколонны.

Федор последовал за ним, недоумевая, зачем он тому понадобился.

– Я видел, как ты разговаривал с комендантом. На призывной пункт собрался? – озираясь по сторонам, спросил мужчина.

– А тебе что до того? – насторожился Федор.

– Хочу предложить выгодное дело: на призывном все вещи отберут, переоденут в военку, а на тебе такой тулуп... Загляденье, а не тулуп.

– Да. Дед шил. Из медвежьей шкуры...

– Так вот я и говорю: зачем такое добро даром отдавать. Складские все равно его за водку на сторону загонят. Давай меняться: я одежонку попроще найду тебе по плечу да еще денжат накинута. В обиде не будешь...

– Нет, – решительно боднул головой Федор. – Иди куда шел!

– Как скажешь. Только я хотел по-хорошему.

Вскоре мужик уже был у выхода из вокзала.

– Правильно сделал, что его отшил, – подала голос сидевшая на узлах пожилая женщина. – Тут, на вокзале, немало шушеры всякой ошивается. Всё норвят что-нибудь умыкнуть. Народу-то много...

– А как же патруль? – кивнул Федор в сторону проходивших военных с красными повязками на рукавах шинелей.

– Военные-то? Так они все больше за солдатами присматривают. Им не до воришек... О! – кивнула в сторону женщина. – Уж не по твою ли душу компания...

Федор скосил глазом: перешагивая через расположившихся на полу пассажиров, в его сторону направлялись трое – два дюжих, коренастых мужика, похожих одеждой на путевых рабочих, а третий – уже знакомый ему прилипала. Подойдя вплотную, один из путевых хрипло выдал:

– Сымай, паря, тулуп. Он тебе ни к чему, а нам сгодится. Будешь артачиться – подколем. А ты, баба, молчи, коли жить хочешь, – пригрозил он ножом приподнявшейся было с узла женщине.

Федор понял, что разговорами дело не закончится. Поэтому поступил, как в драке, на опережение: перехватив левой рукой запястье противника с ножом, кулаком правой обрушил удар сверху на голову, но не напавшему, а его напарнику. Да так сильно, что тот, хрюкнув, повалился на женщину, что сидела на узлах. Та с испугу закричала, привлекая внимание пассажиров и военных. Между тем Федор, не выпуская руки с ножом оторопевшего от подобной ситуации хрипуна, ударом ноги, обутой в подшитый толстой резиной валенок, отбросил стоявшего напротив волосатого и только после этого вывернул руку нападавшему. Тот, взвывая от боли, согнулся и выпустил нож. Удар кулака по загривку оборвал утробный рев. Все произошло настолько быстро, что женщина, от неожиданности охнув, прикрыла ладонью рот.

– Что здесь происходит? – требовательно спросил подбежавший на крик женщины начальник патруля, выхватывая из кобуры пистолет. С автоматами наизготовку за ним следовали двое сержантов-патрульных.

– Да вот, – повел рукой Федор в сторону поверженных мужиков, – хотели тулуп с меня снять.

– Да грабители это, товарищи военные, – подскочила женщина. – Они на него с ножом... Я все видела и слышала. Ограбить они его хотели.

– Так, разберемся. Вы кто? – Обратился начальник патруля к Федору. – Ваши документы!

Привлеченный шумом, подошел военный комендант. Увидев валяющийся нож, поднял его и, кивнув на еще не пришедших в себя грабителей, спросил у начальника патруля:

– Обыскали?

– Нет еще, товарищ капитан. Сигин, обыщи этого, – приказал начальник патруля одному из сержантов, указывая на Федора.

– Да не этого. Этого я знаю. Этих, – показал комендант на лежавших налетчиков.

При обыске у одного из мужиков нашли пистолет.

– Вот это путейцы... – удивленно протянул Федор.

– Почему путейцы? – поинтересовался комендант.

– Так одеты как путейские рабочие.

– А чем это ты их так приложил, что до сих пор в отключке?

– Кулаком, – недоуменно пожал плечами Федор. – Просто у меня рука тяжелая. Иногда в драке в горячке стукнешь кого по башке, так того по полчаса потом водой отливают. А эти ничего, мужики крепкие, очухаются...

– Вот что, старлей, – обратился комендант к начальнику патруля. – Вызывай милицейский наряд и передавай этих им. Вооруженный разбой – это их дело. А парня я забираю, а то он еще кому-нибудь тут голову проломит, – и, обращаясь к Федору, предложил: – Пошли к дежурному по станции, чайку выпьем, пока есть полчаса до прихода машины из воинской части.

2

Как оказалось, офицерская школа находилась за городом в сосновом бору, и, если бы не оказия, найти ее Федору самостоятельно было бы непросто. На въездных воротах висела табличка «Пионерский лагерь имени Павлика Морозова», а над воротами дугой смыкал столбы транспарант «Добро пожаловать!».

На контрольно-пропускном пункте даже после предъявления предписания Федора не пропустили. Только известив командира части и получив его разрешение, дежурный по КПП пропустил Федора, дав ему сопровождающего.

«Строго тут у них...» – одобрил мысленно Федор и, не сдержавшись, спросил:

– А где же народ? Время-то уже около девяти...

– На занятиях, – коротко ответил сопровождавший его рядовой. – Тебя велено в штаб, к командиру части отвести.

– Командира-то как зовут?

– Будешь служить, узнаешь. А не будешь, так и знать не положено, – усмехнулся рядовой. – Пришли, – открывая двери одного из барачного типа деревянных зданий, признал рядовой. – Вторая дверь слева. Стучи смелее. Я тебя здесь подожду.

Командир части в военном френче без знаков отличия не без интереса разглядывал Федора. Ему уже позвонили из железнодорожной комендатуры и доложили об инциденте на вокзале, а за день до того он получил

коротенькое письмо от майора Фирсова с рассказом о желании парня служить и об охоте на медведя. И теперь Федор Прокопенко стоял перед ним: здоровенный в своем медвежьем тулупе, валенках, с вещмешком за спиной и шапкой-ушанкой из лисы в руке.

– Снимай свой тулуп и присаживайся. Я – начальник школы майор Сергеев. А ты, судя по предписанию, Федор Федорович Прокопенко, уроженец деревни Дуплинка. Отец?

– Федор Федорович – погиб.

– На фронте?

– Нет, товарищ майор. Пошел на охоту и не вернулся – медведь задрал, – пояснил Федор.

– А матушка?

– Умерла при родах. Так что я был первым в семье... и последним. Потому и зовусь Федором Федоровичем. В роду Прокопенко все старшие сыновья Федоры.

– А ты что, из хохлов? Фамилия у тебя украинская...

– Да нет. Из донских казаков. Дед сказывал, что когда в екатерининские времена пошло гонение на Дон, мои родичи ушли в Сибирь, в Дуплинке и осели.

– Оно как! Так ты жил один?

– Почему один, – удивленно протянул Федор. – С дедом. Ему хотя и девяносто семь, но два года тому еще на медведя с ножом ходил.

– Как и ты?

– И я тож, – кивнул Федор. – У нас так: пока медведя не завалишь, не охотник! Я неделю тому своего взял...

– Наслышан, до самого Новосибирска весть о твоей охоте докатилась, – рассмеялся Сергеев, глядя на вытянувшееся от удивления лицо Федора. – И о твоей схватке на вокзале тоже известно. Ты как же умудрился с тремя совладать? Мужики непростые, тёртые... На одном из них крови немало, давно этого рецидивиста милиция ищет... А вот другого так и не откачали... мелкого. Ты ему ребра сломал.

– Неужто убил?! – дрогнул голосом Федор. – Я же его только легонько ногой поддел... И что же теперь будет?

– Успокойся. Ничего не будет. Ты же защищался от трех вооруженных преступников. Тут проблема в другом: что мне с тобой делать? Учебный курс уже идет второй месяц.

– Так что с того... В школе я был одним из лучших, наверстаю упущенное, – заверил Федор, на что майор Сергеев заметил:

– Ты хотя бы знаешь, в какую школу получил направление?

– В школу младших командиров.

– А кого готовят?

– Как кого? Командиров... – недоумевая, пожал плечами Федор.

– Все так. Только готовим мы офицеров – командиров разведывательных взводов. Разведчиков, – и, вида, как у парня загорелись глаза, решительно произнес: – Сделаем так: инструкторы тебя проверят. Коли пройдешь по здоровью, знаниям, умению стрелять, бегать, ориентироваться в лесу... приму в школу. Курсанты-то у нас понюхали пороху, опытные, попали к нам по направлениям разведотделов дивизий. Ты же, как говорится, с улицы. Не пройдешь проверку – не обессудь: отправлю в войска.

Начальник школы стремительно встал из-за стола и, приоткрыв дверь, подозвал пришедшего с Федором рядового:

– Отведешь новичка в строевую, потом в баню, на вещевого склад, затем в столовую. А я пока решу, в какой учебный взвод его определить. Да

передай дежурному по КПП, что по моему приказу ты до обеда выполнишь спецзадание.

Федора постригли, помыли, переодели, с трудом найдя нужный размер, а вот шинели его размера так и не нашлось, потому на первое время ему оставили медвежий тулуп. Из-за этого тулупа к нему тут же прилипла кличка «Медведь». Кличка не обидная, даже, по мнению Федора, уважительная.

Определили его во второй взвод. Ближе к вечеру вызвали к начальнику штаба капитану Самсонову, который привел Федора к воинской присяге тут же, в своем кабинете.

Взвод принял Федора настороженно. Такого еще не было, чтобы с гражданки, необстрелянного, опоздавшего к началу курса обучения на полтора месяца, зачисляли в курсанты. С вопросами не надоедали, решив, что Федор чей-нибудь сынок или внучок.

Первые дни новичок занимался один на один с инструкторами, которые передавали его с рук на руки. Держался Федор достойно, даже если и допускал промахи – не терялся, тут же исправлялся.

На исходе второго дня после последнего испытания – лыжной гонки на двадцать километров с полной выкладкой – майор Сергеев пригласил в кабинет инструкторов.

– Не буду скрывать: интерес у меня к этому парню большой, но, как бы то ни было, все зависит от того, насколько он изначально подготовлен. Начнем с вас, лейтенант Скобцов. Докладывать можно сидя, – разрешил начальник школы.

– Товарищ майор, парень – стрелок от бога. Что и говорить, охотник. Из карабина и винтовки пуля в пулю вгоняет. С пистолетом похуже. Просто никогда его в руках не держал. Из автомата короткой очередью из трех патронов мишень валит.

– Как с ориентированием?

– Карты ему неведомы, но в лесу не теряется, идет уверенно, ориентируясь по солнцу и еще по каким-то только ему ведомым приметам, – доложил преподаватель военной топографии капитан Немов.

– Что с иностранным языком?

– Получше, чем у многих курсантов, но все же не далее школьной программы, – со своего места доложила преподаватель немецкого Инна Фридриховна Зегель.

– Со здоровьем у него все в порядке... – улыбнулся начальник школы.

– Здоров что бык! – подал голос инструктор по рукопашному бою и физической подготовке. – Двадцатку шел так, что я за ним с трудом угнался. Двужильный парень! – не без восхищения заметил он.

– Да, парень хорош. Три дня тому трех бандюг на вокзале под орех разделал, – задумчиво проговорил начальник школы и, помолчав, добавил: – Ваше мнение – догонит Прокопенко учебную программу? Отставание приличное...

– Догонит, – уверенно произнес капитан Немов. – Парень смыслённый, упертый. Поможем, ежели чего.

– Что же... Начальник штаба, зачисляй во второй взвод. И последнее, курсантам этого знать не обязательно, вам же скажу: Федору Федоровичу Прокопенко только семнадцать. Так что нагружать нагружайте, но не переусердствуйте, – предупредил майор Сергеев.

Так решилась судьба Федора. Он стал курсантом разведшколы, готовящей по ускоренной программе, даже не за полгода, а за четыре месяца, командиров разведвзводов и разведрот полков и дивизий.

Когда курсанты увидели, с каким упорством овладевал новыми знаниями и навыками Медведь, лед отчуждения вокруг него потихоньку начал таять. Первым, с кем подружился Федор, был сосед сверху, со второго яруса двухъярусной кровати – Степан Репнин. Ему уже было двадцать шесть, на фронте с первых дней и даже получил легкое ранение. После госпиталя направили в разведшколу. Степан был женат и потому каждую свободную минуту писал жене письма. Доброжелательный по характеру, он быстро сошелся с Федором, подшучивал над ним, над его ростом, недюжинной силой, над его житейской мудростью. Как-то он прочитал ему одно из только что написанных писем и спросил, почему тот никому не пишет. На что Федор ответил:

– Деду своему отписал, а более некому.

– Что, и девушки нет?

– Есть, да не знаю, что ей написать. Через деда привет передал, чего еще?

– Эх ты, сказано – «Медведь»! Да разве привета она от тебя ждет? Слов ласковых, воспоминаний приятных, заверений в верности и любви...

– Да какая там любовь? – возмутился Федор. – Нацеловаться толком не успел...

– Ну-ну... – усмехнулся Степан. – Тогда сиди пень пнём, а лучше – Медведь Медведём!

Наконец, решившись, Федор написал: «Здравствуй, дорогая Анна. Привет твой через деда получил, за что большое спасибо. У меня все хорошо. Жив-здоров, чего и тебе желаю. Учусь воинским наукам. Кормят здесь хорошо, высыпаюсь. Вот и все новости. Передавай привет всем нашим ребятам-одноклассникам. Кланяюсь. Федор».

Перед тем как отправить, дал прочитать письмо Степану. Тот, ознакомившись, рассмеялся:

– Ты что, никогда писем девушкам не писал?

Федор мотнул головой.

– Оно и видно. Разве так пишут: «...кормят хорошо, высыпаюсь...» Ты бы еще написал, что регулярно водят в баню и меняют портянки.

– О чем же тогда писать? – недоумевая, протянул Федор.

– О том, чего она от тебя ждет. Что думаешь о ней постоянно, забыть не можешь горячие ее поцелуи, запах ромашки в ее волосах... Сушеной ромашкой, поди, голову-то моет? Что во время уроков с нее глаз не сводил...

– Так я сидел на последней парте, а с нее Анну не видно.

– Чудак человек. Придумай что-нибудь, – поучал Степан. – С тебя станется, а ей приятно. С подружками будет чем поделиться... У них же поохать да поахать – первое дело.

Задумался Федор. Распознать следы на снегу, описать повадки животных и птиц ему по плечу, а вот разобраться с чувствами к девушке да все это на бумагу положить – дело непосильное. Благо что думать об этом некогда. За занятиями не до писем.

К концу апреля курсанты все больше времени проводили в лесу, на полигоне, на стрельбище. Федор воспринял это с превеликой радостью. Занятия же в классах переносил с трудом: уж больно тяжело ему было изучать уставы, особенно заучивать целые страницы наставлений по стрельбе, запоминать фотографии образцов немецкой, итальянской и

румынской военной техники, но самым трудным для него оказался немецкий язык. Обладая цепкой памятью, Федор верно выстраивал предложения, но произношение... Не раз он слышал от Инны Фридриховны: «Поверь, Федор, знание языка не одному разведчику спасало жизнь и тебе поможет в трудную минуту! Учи!» И Федор учил. Даже сквозь сон он нередко выкрикивал фразы на немецком, будоража пребывающих в дреме дневальных.

Из всех занятий больше всего ему нравились занятия по рукопашному бою. Здесь он впервые услышал: «Стиль Кадочникова» и узнал, что такое джиу-джитсу. Несмотря на звание – лейтенант и возраст – двадцать семь лет, инструктор по рукопашке был фанатом восточных единоборств и даже два года перед войной успел пожить в Китае и потренироваться у именитых мастеров. Невысокого роста, худощавый, он безжалостно расправлялся с сильным и рослым Федором, всякий раз бросая его на землю. Федор поначалу удивлялся, потом злился, но через несколько занятий понял, что главное – не сила, а умение ее использовать, и начал упорно постигать науку рукопашного боя, жаля об одном, что дни учебы мчались неумолимо, приближая выпуск.

Из шестидесяти курсантов, начавших в феврале курс обучения, к концу мая остались сорок шесть, остальные, не выдержав нагрузки, были отправлены в те части, откуда прибыли. За неделю до выпуска курсантов вывезли за сорок километров в лес с задачей вернуться в школу, имея в руках лишь карту и компас. Каждый получил свой маршрут движения и время выполнения задачи. Вернулись не все. Курсант Леушин не пришел в указанный срок. Лишь через четыре часа забили тревогу: заблудился – позор для выпускника, дезертировал – позор на всю школу. К поискам Леушина курсантов не привлекали – дали отдохнуть, ведь каждый из них прошел по лесу сорок, а кто-то и более, километров. Для этой цели из Новосибирска вызвали комендантский взвод. Маршрут движения был известен, потому приняли решение: от места выхода двигаться плотной цепью.

Федору не отдыhalось. Да и как можно... если товарищу нужна помощь! У преподавателя по тактике и военной топографии он выпросил маршрутную карту Леушина и, наложив ориентиры на топографическую карту, изучил маршрут движения.

«С рассветом комендантский взвод приступит к поиску, надо его опередить», – решил Федор и направился в штаб.

Дверь в кабинет начальника школы была открыта, горел свет. Майор Сергеев с начальником штаба и командиром комендантского взвода склонились над столом, застеленным картой, и уже в который раз проходили по маршруту движения Леушина.

– Разрешите? – громыхнул голосом Федор. – Товарищ майор, разрешите обратиться? Курсант Прокопенко.

– Чего тебе? – хмуря брови, недовольно бросил Сергеев.

– Разрешите принять участие в поиске?

– Сказано же, курсантам отдыхать...

– Я отдохнул, – боднул головой Федор. – Товарищ майор, если Леушин сбился с маршрута, нипочем его коменданчи не найдут. Следы только затопчут, потом не отыскать... А я по следам... Только рассветет, найду! – заверил Федор.

– Самого-то искать не придется? – подал голос начальник штаба.

– Никак нет. Для меня лес как для вас устав...

– Но-но, не хами! Тоже мне шутник нашелся! – усмехнулся начштаба.

Сергеев, кивнув на карту, спросил:

– Маршрут ведом? Покажи!

Федор взял со стола карандаш и уверенно повел им по карте.

– Отклониться от маршрута Леушин мог здесь и вот здесь, – указал он. – Местность заболоченная... а маршрут прокладывался еще в марте, я узнавал.

– Хорошо, – согласился Сергеев. – Может, кого с собой возьмешь?

– Нет, товарищ майор, мне одному сподручнее.

– Хорошо, действуй! Получи штатное оружие, патроны. Это на всякий случай. И через полчаса прибыть к штабу. Наш грузовик тебя на место доставит. Ползти ему по лесной дороге часа два, к этому времени уже рассветет. Комендантский взвод выйдет с рассветом. Так что ты будешь идти с опережением комендатуры на три часа. Если найдешь Леушина, к части не иди, выходи к дороге. Вот сюда или сюда, – показал Сергеев точки на карте. – Там будут стоять наши патрули из охраны, с автомобилями. Это все. Иди, Федор Федорович. Я на тебя надеюсь!

На поляну, откуда курсанты начинали движение, приехали на рассвете. Федор не стал ждать, когда полностью развиднеется. Он заранее определил, где мог пройти и оставить следы Леушин, и направился к тому месту, согласуя путь с компасом.

Прокопенко не ошибся: на глиняном взгорке с едва пробивающейся травой отчетливо отпечатались следы сапог. Цепочка тянулась в сосновый бор.

«Что же, пока все идет хорошо!»

Распознать следы на хвое для Федора было несложно, но вот через пару километров следы привели к первому топкому месту и вильнули в сторону.

«Видимо, Леушин не рискнул идти через топь. Вот только какой он крюк заложил?»

Еще через километров восемь, местами с трудом различая следы, теряя их и находя вновь, Федор вышел к речушке, показанной на карте как ручей. И понятно... местами еще снег не сошел, вот ручей и превратился в речку.

«Вот здесь Леушин попытался перебраться, но не решился. Берег топкий. А в этом узком месте переправа состоялась. Молодец! Перекинул через поток две лесины, по ним и перешел», – мысленно одобрил действия товарища Федор. Перебрался на противоположный берег и сам. Сверился с картой.

«Да. Крюк приличный. Чтобы уложиться в отведенное время, Леушин пошел напрямую, минуя вот эти два ориентира. Что же, я поступил бы так же».

Еще более часа отслеживал следы Федор, пока не вышел на маршрут. И тут обнаружил следы еще троих людей. Поначалу они шли параллельно леушинским, медленно сближаясь. Вот здесь произошла встреча. Судя по разбросанному сушняку и вывороченным ошметкам прошлогодней листвы, встреча была нежелательной. Тщательнее изучив место схватки, Федор обнаружил сгустки крови. Чья кровь и кто эти трое, можно было только догадываться.

«Как они здесь появились? Ведь до ближайшей деревни километров шестьдесят... И что им было нужно от Леушина? Оружие? Так охотничьих карабинов в каждой деревне по десятку... И почему он пошел с ними?»

Следы указывали, что путь продолжили четыре человека.

«Вот оно что! – догадался Федор. – Следы свернули к дороге. Понятно. Нападавшим нужен был проводник».

Пройдя с километр, Прокопенко обнаружил следы стоянки и кострища.

«Останавливались на отдых и ночлег. Видно, издалека шли. Земля под костром остыла, но влагой не взялась. Пожалуй, прошло не более часа, как путь продолжили, – предположил Федор. – Если поднапрячься, то можно и догнать. До дороги еще идти и идти».

Передернув затвор карабина, Прокопенко устремился по протоптанной четырьмя людьми тропинке. Шел быстро, шаг накатом, чтобы ненароком не выдать себя треском случайно поломанных веток. До дороги оставалось совсем немного, когда тут же на тропе Федор наткнулся на тело Леушина. Товарищ лежал, согнувшись, сжимая левую сторону груди руками. Кровь уже не шла, но дымилась в холодном утреннем воздухе.

Как на медвежьей охоте, Федор почувствовал дрожь. Прильнув своим большим телом к земле, он словно заскользил по ней, не издавая ни звука. Так его учил дед, и эта наука не прошла даром.

Убийц Леушина он обнаружил метров за пятьдесят до дороги. Затаились. Прислушиваются, не идет ли какой транспорт. Одеты в рваные телогрейки и ватные с вырванными клоками штаны, вооружены автоматом ППШ и карабином, видимо, взятым у Леушина. Тихо переговариваются.

– Вон, пусть Леший переоденется в одежду вертухая и выйдет на дорогу.

– Ага, – возражает другой. – Ты глянь на его морду. Грязен и небрит. Спалится тут же.

– И что делать?

– Ждать!

Повинуясь первому порыву, Федор хотел было уничтожить бандитов. Не пострелять, а порвать, как зверь рвет свою добычу. И если бы не учеба в разведшколе, он так бы и поступил, но первейшая задача разведчика – взять языка, а лучше языков. Потому он осторожно приблизился к ничего не подозревающим бандитам. Лишь у одного из троих лицо было обращено в его сторону. «Хватит и двоих языков», – решил Федор и, выступив из-за дерева, метнул нож в одного из бандитов. Тот, выпучив глаза, поперхнулся на полуслове и начал заваливаться на сторону. Его попутчик, тот, что находился ближе к Федору, каким-то звериным чутьем определил, откуда исходит смертельная угроза, и, извернувшись, навскидку пальнул из карабина. И это было всё, что он успел предпринять. С трудом сдерживая себя, Федор нанес бандиту удар в челюсть, отшвырнув его в сторону, и броском вперед навалился на третьего, который так и не понял, что происходит. Заломив ему руки за спину, скрутил своим брючным ремнем. Затем не спеша отстегнул брезентовый ремень с ППШ и точно так же связал руки за спиной еще не пришедшего в себя третьего.

Склонившись над связанным бандитом, угрожающе прошипел:

– Шевельнешься – убью!

Отложив в сторону автомат и карабин, Федор обыскал бандитов. Только у одного из них оказался нож. В вещмешке, что лежал рядом с убитым, он обнаружил куски хлеба, немного сваренной в мундире картошки и два заряженных диска к ППШ. Оставив бандитов на месте, Федор вернулся за Леушиным. Перенес тело курсанта к дороге, затем туда же перетащил бандитов и только после этого дал в воздух три короткие очереди из автомата. Не прошло и получаса, как пришел автомобиль с патрулем, а еще через час Прокопенко уже был в части и докладывал майору Сергееву о случившемся.

Выслушав доклад, начальник школы крепко пожал руку Федору и сказал: – Я в тебе не ошибся. Жаль Леушина, но война есть война... Она и в тылу показывает свой оскал. Ты же действовал достойно. Отдыхай. Поговорим позже.

Только через два дня, после того как начальник штаба перед строем зачитал приказ об окончании курса обучения и о присвоении курсантам воинского звания «младший лейтенант», состоялся разговор Федора с майором Сергеевым. По случаю очередного выпуска начальник школы был в форме со знаками отличия на петлицах и наградами – двумя орденами Красной Звезды.

– Ты, Федор Федорович, человек прямой, потому скажу без предисловий: я предлагаю тебе продолжить обучение. Не у нас, конечно. Мы здесь только даем азы разведслужбы, а чтобы стать настоящим разведчиком, надо много учиться. Но сейчас идет война, и учеба в такое время непозволительная роскошь. Но именно сейчас армии нужны хорошие офицеры-разведчики... – помолчав, добавил: – Знаю, рвешься на фронт. Но фронт подождет. Война не завтра закончится. Твоего согласия не требуется. Ты – офицер. Так что получай документы у начальника штаба, переодевайся в офицерскую форму, и завтра утром машина отвезет тебя на вокзал. Путь тебе по нашим сибирским меркам недалёкий – в Омск.

III. Омск – Москва

1

Школа располагалась в самом городе, в некогда бывших колчаковских казармах. Несмотря на то что многие имели офицерские звания до капитана включительно, все назывались курсантами. Здесь не было учебных взводов, рот. Курсанты были сведены в отделения по семь человек в каждом, и занятия проводились также по отделениям. Прокопенко только в конце недели понял, по какому принципу создавались отделения – по уровню владения курсантами немецким языком. По его прикидкам, отделение, в которое он был зачислен, знаниями не блистало, потому находилось даже не в середине, а ближе к концу. Но это Федора особо не огорчало. Огорчали больше сводки с фронтов и неведение относительно того, сколько продлится обучение.

С первых дней появились новые направления обучения: подрывное дело, маскировка в городе, работа на радиопередатчике, владение радиотелеграфным ключом, работа с шифрами, прыжки с парашютом и приземление в лес, на воду, управление мотоциклом, автомобилем и, конечно же, владение немецким языком и дальнейшее обучение так полюбившемуся Федору рукопашному бою. День, а часто и ночь были настолько загружены, что не только подумать о чем-то ином, но, как шутили курсанты, и дышать было некогда.

Как-то на занятиях по рукопашному бою Федор заявил, что одолеет четверых. Услышав это, руководитель выбрал четверых курсантов поопытней и сказал, что действовать можно максимально приближенно к боевой обстановке. «Но без смертоубийства», – пошутил он. Противники были осторожны, не первый раз встречались в схватках один на один и уже знали сильные и слабые стороны друг друга. Но Федор решил впервые применить джиу-джитсу, которым с большим энтузиазмом за-

нимался в Новосибирске, не в полную силу, а так, вполсилы. И это было полной неожиданностью для курсантов-противников. Федор атаковал сам, нанеся серию ударов, после которой двое остались лежать на траве без сознания, у третьего оказался вывих плеча, а четвертого отвезли в госпиталь с переломом локтевого сустава. Федор же стоял в центре спортзала, среди поверженных противников, виновато опустив голову. Никто из зрителей этой схватки даже не успел рассмотреть, что же произошло... Руководитель, не ожидавший такого итога, лишь покачал головой.

– Где ты этого набрался? – только смог сказать он и, объявив перерыв, побежал докладывать начальнику школы о происшествии. Все закончилось выговором руководителю занятия, с Федором же начальник школы ограничился беседой.

После этого случая курсанты стали поглядывать на Федора не то чтобы с опаской, но с некоторой осторожностью и нескрываемым уважением: не дай бог попасться такому на узкой тропе...

Через месяц отделения расформировали и создали тройки. Кроме Федора в его тройку вошли Олег Самойлов, как позже выяснилось, по званию капитан, и Сергей Протасов – лейтенант, балагур и вечно не высыпавшийся. С немецким у них затруднений не было: Олег жил среди поволжских немцев, а Сергей перед войной окончил институт иностранных языков. Только для Федора язык врага оказался серьезной ношей, которую он стоически нес на своих могучих плечах.

Сдружились быстро. Одно затрудняло общение – разговаривали меж собой только на немецком, да и преподавание отдельных предметов велось на этом же, «проклятушем», по выражению Федора, языке.

«Непонятно, кого из нас готовят: дивизионных разведчиков или диверсантов для действий в глубоком тылу? – недоумевал Федор. – Не дай бог, еще и форму немецкую напялить прикажут».

И приказали. И надел. И честь научился отдавать, как отдают немцы, и орать «Zig heil!», и всеми видами немецкого стрелкового оружия овладел.

Шел сентябрь 1942 года. За эти семь месяцев, как надел военную форму Федор, он очень изменился: потерял в весе, в движениях появилась легкость, а из-за его регулярных занятий рукопашкой – какая-то кошачья грация и готовность к мгновенным действиям. Он многому научился: стрелять из двух пистолетов одновременно – «по-македонски», поражать цель в ночное время по шороху, гонять на мотоцикле и машине по пересеченной местности, быстро работать на телеграфном ключе и принимать на слух, прыгать с парашютом в любое время дня и ночи, и самое главное – ему покорился немецкий язык. Акцент остался, но разговаривал он свободно. И, когда вспоминал, каким самоуверенным он появился перед майором Сергеевым, становилось стыдно, как и за те два письма, отправленных им в Дуплинку Анне. Ответа от девушки так и не получил. «Вот добра-то! Еще не одну такую Анну встречу», – решил Федор, обидевшись на молчание. И только гораздо позже, случайно встретив в Москве на вокзале своего бывшего одноклассника, узнал от него, что сразу же после окончания школы Анна призвалась в армию и была направлена в какой-то учебный центр, где, по словам ее матери, училась на связистку.

Как-то накануне ноябрьских праздников тройку Самойлова, а именно его назначили командиром, ночью подняли по тревоге и, полностью

экипированных, привезли на аэродром. Там объявили: «Оружие сдать, оставить только пистолеты. Валенки снять и переобуться в сапоги. Ватники сдать и переодеться в шинели». На шинелях уже были прикреплены знаки отличия.

Прощаясь, начальник школы, крепко пожав руки уже бывшим курсантам, сказал:

– Прибудете на место – держитесь достойно, не подведите. Вас будут встречать, – предупредил он вопрос, застывший на губах у Самойлова. – И еще одно: это уже не из учебника, а из жизни, из собственного опыта – берегите друг друга, и тогда любая задача вам будет по плечу.

Только в самолете, остановив проходившего мимо штурмана, Протасов спросил:

– Куда летим?

– Что, не сказали? – засмеялся штурман. – В Москву, лейтенант. В столицу нашей Родины!

– Что, целый самолет для нас троих?

– Для вас! А надо будет, и тебя одного доставим куда прикажут. Привыкай, разведка!

Летели долго. Дважды садились неизвестно где, что-то грузили, перегружали, дозаправлялись. А вот само приземление на московский аэродром Федор проспал.

– Вставай, соня! – толкнул его в плечо Сергей. – Верную тебе кличку дали – Медведь. Тот спит всю зиму, а тебе еще рано – на дворе начало ноября, – балагурил Протасов. – Сейчас перекусим и пойдем Красную площадь смотреть. Ты еще не был на Красной площади?

– Да я дальше Новосибирска не выезжал, и то всего два раза... А что, дадут по Москве походить?

– Дадут... Догонят и еще дадут, – затягивая поясной ремень, ухмыльнулся Самойлов и уже серьезно добавил: – Раз мы оказались в Москве, значит, все не так просто. Думаю, служить нам предстоит в Главном разведывательном управлении. А что до первого задания, так и к бабке не ходи... не зря же мы последний месяц Львов и Ивано-Франковск изучали...

– Ты так думаешь? – удивленно протянул Федор.

– Уверен.

Встречал их невзрачного вида, в потертой шинели капитан-артиллерист. Представившись, кивнул в сторону сиротливо стоявшего автобуса.

– Грузимся, товарищи офицеры. Транспорт подан.

Ехали больше часа. Молча. Лишь Федор время от времени отодвигал шторку окна. Но за окном был виден лишь серый, угрюмый, почти оголившийся лес.

– А где же Москва? – не выдержав, разочарованно произнес он.

– Там... – неопределенно махнул рукой капитан-артиллерист. – До нее километров семьдесят.

«Вот и посмотрели Красную площадь!»

Федор не то чтобы расстроился... Он понимал, что не на экскурсию прибыл, а все-таки до последнего надеялся, что ему посчастливится воочию увидеть город, знакомый ему лишь по книгам и кинохронике.

Вечером в комнату, куда их поселили, вошел невысокий седоватый мужчина, на вид лет сорока, в офицерском френче без знаков отличия.

Троица встала, вытянулась по стойке «смирно».

Вошедший внимательно осмотрел каждого и, улыбнувшись, спросил:

– Почему вы встали? Вот вы, – кивнул он Федору, – ответьте мне, если вас не затруднит.

– Младший лейтенант Прокопенко, – представился Федор. – Судя по тому, как вы вошли...

– А как же, по-вашему, я вошел?

– Как хозяин. И еще... все, кого мы сегодня встречали, были обуты в сапоги обычные, хотя и хромовые. А у вас каблук на сапогах рюмочкой, неуставной, и начищены они до блеска.

– Оно как! – покачал головой неизвестный. – И когда же вы каблуки-то рассмотреть успели?

– Как вы вошли...

– Наблюдательный – это хорошо. Не охотник?

– Так точно. Охотник. Из-под Новосибирска.

– Сибиряк, значит... А вы? – кивнул он Самойлову.

Но тот стоял молча, выжидательно глядя на незнакомца.

– Ах да, я же не представился: полковник Воскресенский Игорь Николаевич. Ваш непосредственный начальник. А вы – капитан Самойлов, если я не ошибаюсь. Вы не охотник?

– Не охотник, но стреляю неплохо.

– Не сомневаюсь. Павел Николаевич плохих офицеров к нам не пришлет. Я видел ваши документы. А вы присаживайтесь, товарищи офицеры. У меня к вам еще несколько вопросов. – И, когда расселись, спросил у Федора: – А вам, товарищ младший лейтенант Прокопенко, украинский язык не введом? Фамилия-то соответствует...

– Никак нет. Я ведь не хохол, а челдон.

– Чалдон, может быть, – поправил Федора полковник.

– Не-ет. Именно челдон. Знаю, чалдон – это народность такая, – улыбнулся Федор. – А я челдон. Маленьким был, соседи говорили: «Челдон побежал», – и на меня указывали. Обижался. Думал, что «челдон» – это типа дурачок. А повзрослев, узнал, что «челдон» – это человек с Дона. Мои предки были донскими казаками.

– Понятно. Вы мне вот что скажите, что у вас за история с медведем приключилась? Павел Николаевич обмолвился, но я так и не понял... вы что, один на один с ножом против медведя вышли?

– По дурости, товарищ полковник. Сейчас бы ни за что не вышел...

– И что, завалил медведя? – не утерпел с вопросом Сергей Протасов.

– Да еще какого... На четыре центнера, – многозначительно поднял перст полковник Вознесенский. – А почему вы сказали, что сейчас бы не вышли?

– Один на один против медведя – большой риск. А риск должен быть оправданным...

– И это верно, – подхватил полковник. – Особенно в нашем деле, когда, выполняя задание, рисковать приходится каждую минуту, но, прежде чем рискнуть, надо трижды подумать, – сделав паузу, продолжил: – Что же, товарищи офицеры, судя по отзывам преподавателей и инструкторов, по итоговым оценкам, подготовлены вы неплохо. Можно бы и лучше, но время не терпит. Учиться будем во время боевых операций. С завтрашнего дня начнете подготовку. Протасов и Прокопенко сегодня могут отдыхать, а вам, товарищ капитан, задание: вы же жили в Саратове и Энгельсе. Насколько я знаю, у вас много знакомых среди поволжских немцев. Так вот, с точки зрения разведчика оцените все ваши знакомства и ваших знакомых, особенно имеющих родственников в Германии и Австрии, и... напишите обо всем подробно. Это можно сделать в соседней комнате, – добавил он, поднимаясь со своего стула. – Вопросы есть? Нет? Так я и думал.

Странная была эта подготовка. Капитан Самойлов в своих предположениях оказался прав: продолжили изучать Львов, но Львов оккупированный. То есть улицы и площади, переименованные немцами, а также где и какие размещены по городу и в пригороде военные части и объекты. Этим занимались до обеда, а после обеда и короткого отдыха – физическая и стрелковая подготовка, ближе к ночи увозили на аэродром – прыжки с парашютом, ориентирование в ночном лесу. Короткий сон, и все опять по кругу.

– Скорее бы уж на задание, – бурчал недовольный, вечно невыспавшийся Сергей, в очередной раз застегивая на комбинезоне ремни парашюта. – Сколько можно прыгать? Да ночью... А ну как ногу сломаю в темноте... тогда что?

– Не волнуйся, я тебя донесу, – с усмешкой произнес Федор. – Ты, главное, не ужинай в следующий раз...

– Это почему же? – удивленно протянул Сергей.

– Легче будешь...

Только в начале декабря полковник Воскресенский поставил перед группой боевую задачу:

– Еще осенью 1941 года во Львове немцы оборудовали лабораторию, в которой проводили испытания радиоизлучений, действующих на психику людей. Суть испытаний – подавление воли человека. Почему во Львове? Все очень просто: в конце тридцатых годов этой проблематикой занимался профессор Львовского университета Арсений Лесковский. Польское правительство под него дало деньги, людей, оборудовало лабораторию. В своих изысканиях он продвинулся далеко, но, как стало известно, дело до создания самой установки не дошло. Как только Львов был взят, немцы учинили расправу над профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений Львова, и прежде всего преподавателями Львовского университета. Большинство профессоров – поляков, евреев, украинцев – вместе с семьями и прислугой были расстреляны у Вулецких холмов и во внутреннем дворе Воспитательного дома имени Абрахамовичей. Лесковский же избежал подобной участи. Мало того, немцы Арсения Богдановича и сотрудников его лаборатории нашли, обласкали и привлекли к работе. Усилили штат лаборатории своими учеными. Работы продолжились. И, судя по донесениям нашего разведчика, работающего на объекте, немцы приступили к практическим испытаниям установки. Испытания проводятся на военнопленных. Вы представляете, что значит иметь такую установку... или установки. Поставил на передовой... и танков не надо! Исходя из этого, необходимо проникнуть на объект, по возможности добыть техническую документацию, образец установки и вывезти все это, включая и самого Лесковского, за линию фронта. Если что-то не получится – не беда, так как основная задача – уничтожить лабораторию со всеми ее сотрудниками.

– Вот это да! – удивился Сергей и, не скрывая этого, спросил: – А с самолета нельзя разбомбить это паучье гнездо?

Полковник Воскресенский встал из-за стола и, подойдя к повешенному на стене плану довоенного Львова, ткнул пальцем в один из кварталов.

– Лаборатория здесь... а может быть, здесь или там, – показал он на зеленый массив за городской чертой. – Нам это неизвестно.

– А как же наш человек? Вы говорили, что на объекте работает наш разведчик...

– Был. Погиб, передавая сведения. Так что вам предстоит найти эту лабораторию. Группа, которая была выслана месяц тому, эту часть города отработала, – показал полковник на плане, – но лабораторию не нашла. Вам предстоит отработать остальную территорию города и пригород.

– Так наша группа не первая? – спросил Самойлов.

– Третья. Первая погибла на подходе к Львову, как выяснилось позже – напоролась на засаду. Вторая отработала две недели... Во время передачи информации по радио связь была прервана, и до сих пор неизвестно, что с группой, – после длительной паузы полковник Воскресенский продолжил: – Уничтожению этой лаборатории придаётся большое значение, приказ пришел с самого верха... Потому готовятся еще две группы. Почему вы, а не другие? Хотя вы такого вопроса не задали, но ответу: у вас больше шансов. Помните, Олег Валентинович, – обратился он к капитану Самойлову, – в нашу первую встречу вы получили задание написать о своих знакомых в Саратове, имеющих родственников в Германии и Австрии. Мы проверили, и оказалось, что ваш друг детства Артур Берг после окончания политехнического института работал на заводе металлоконструкций, с продукцией завода выезжал в 1937 году в Германию на выставку и там по семейным обстоятельствам остался. В том же год был призван в вермахт. Ныне капитан Артур Берг служит во Львове в комендатуре. И еще одно стечение обстоятельств, повлиявшее на то, чтобы именно вашу группу отправить раньше, чем те две, которые подготовлены лучше вас, да и опыта у которых побольше вашего. Вы помните, Федор, как во время одной из бесед обмолвились, что ваша родная тетя, выйдя замуж, уехала куда-то на Украину. Оказалось, что она проживает в Сумах, а вот ее дочь, ваша двоюродная сестра Настя, живет сейчас во Львове в семье мужа. Но нас больше интересует не ваша сестра, а её свёкор – Антон Васильевич Прохоров, до недавнего времени возглавлявший хирургическое отделение немецкого военного госпиталя. Замечу, даже очень хорошим врачам немцы жизни своих офицеров не очень-то и доверяют... А тут русский врач возглавляет отделение, в котором на излечении находятся лишь старшие офицеры вермахта. Его тоже необходимо взять в оперативную разработку. А подход к нему лежит на вас, Федор. Теперь же, товарищи офицеры, поэтапно, шаг за шагом, я познакомлю вас с планом решения этой непростой задачи.

IV. Львов

1

Группу капитана Самойлова выбросили с самолета ночью, но не в заданном квадрате, а почти за восемьдесят километров от города. Приземлились в заболоченной части леса. Лес-то так себе, мелколесье, а вот болото оказалось приличным. Несмотря на декабрь и низкую температуру, ледяная корка веса человека не держала, и Федор принял единственно правильное в этом случае решение: ждать рассвета. Видимо, не он один такой умный. Лишь когда начало светать, Федор отыскал относительно твердый участок, на который перетащил найденный им груз, поделенный на три равные доли. Найдя открытую воду, утопил парашюты – и свой, и грузовой – и только после этого двинулся на поиски членов группы.

Олега и Сергея отыскал быстро. Судя по грязным и мокрым комбинезонам, им повезло меньше.

– Необходимо найти грузовой парашют и уходить отсюда, пока не засветились, – довел свое решение до подчиненных Самойлов, на что Федор возразил:

– Груз я нашел и припрятал, а вот вам необходимо срочно обсохнуть. Я видел недалеко кучу валунов. На них и одежду разложить можно, и костерок между ними разжечь...

– Во-во, по костерку нас и отыщут, – осуждающе покачал головой Сергей.

– Не дрейфь, не отыщут. Ветерок слабый, в глубину болотца дым понесет. Сейчас раннее утро, а значит, холодный воздух дым придавит. Минут сорок у нас на сушку одежды есть. Костерок я организую, – засутился Федор.

Не прошло и десяти минут, как по сушняку заплясали огоньки пламени, а одежда запарила. Собрав комбинезоны, Федор отнес их подальше и притопил. Пока товарищи сушились, он перетащил груз, проверил радиостанцию и батареи – не намокли ли. Но упаковали на совесть. Можно было работать. Дождавшись шести часов утра, Самойлов распорядился:

– Федор, передавай: все идет по плану. Старый.

Пока Федор сматывал антенну, Самойлов изучал карту.

– Вот оно, болотце-то. Нашел, – воскликнул он, но, как показалось Федору, как-то безрадостно. – Ну, летуны! Ну, шалопуты... Смотрите, парни, где они нас выкинули. Мы же под Дрогобычем. До Львова почти восемьдесят километров. Да здесь деревня на деревне, хутор на хуторе... Как дойти, не обнаружив себя? Немцев, поди, как собак нерезанных...

– Дойдем, – уверенно произнес Федор. – Проведу. Что мы, деревень да хуторов не видели? Обойдем.

– А коли на фашистов нарвемся? Нет. Вслепую не пойдем. Поначалу осмотреться надо: в каких деревнях комендатуры, где на дорогах стоят патрули... Нужна информация и... проводник. Поэтому идем на ближайший хутор, – принял решение капитан Самойлов. – И еще: с этого момента обращаться друг к другу только по кличкам.

Через два часа вышли на хутор. Изба просторная, покрытая соломой, рядом еще одна – чуть поменьше, подобротнее, под тесовой крышей. Двор. Судя по постройкам и четырем большим стогам сена, в хозяйстве несколько коров и лошадей. Хутор обнесен изгородью, в нескольких местах закрыт плетнем. Перед домом мальчишка лет пяти возится со щенком.

– Чего мальцу не спится? – прошептал Сергей.

– Ты не на мальчика смотри, а пса высматривай, – недовольно пробурчал Самойлов. – Собака учует...

– Не учует, – уверенно произнес Федор. – Нет собаки на хуторе.

– Почему так уверен?

– Если бы была, уже подала бы голос. Мы залегли по ветру, а надо бы с подветренной стороны...

– Тихо, Медведь. На хуторе шевеление. Никак мужик... – остановил Федора Самойлов, – и не один.

Из избы вышли двое: бородатый, в возрасте, и молодой. О чем-то поговорили и тот, что помладше, направился в сторону другой избы. Вскоре он вышел, а за ним еще один бородатый, по виду лет сорока.

– Вот тебе и дела... трое, а может, еще есть. Что будем делать, Старый? – повернув голову в сторону Самойлова, спросил Сергей.

– Ждать. Ждать и наблюдать. А ты не отвлекайся. Бери пример с Медведя.

Федор, не поворачивая головы, тихо произнес:

– Готовятся ехать. Вон, молодой лошадей ведет.

Сноровисто запрягли пару в телегу, которую чуть погода загрузили бидонами, несколькими кошелками, и старый мужик, взяв одну из лошадей под уздцы, вывел со двора. Следом за ним, обогнав, на велосипедах покатали бородатый и молодой. Оба с оружием за спиной и белыми повязками на левом рукаве, в центре которых красовалась черная буква Р.

– Полицаи, – резюмировал Самойлов. – Вот что, парни. Судя по карте, старый едет к дороге. Она единственная, других нет. Встретим его там.

– А полицаи? – спросил Федор.

– Они вряд ли поедут рядом. Видите, мужик не торопится. Лошадак бережет. Хозя-а-ин, – многозначительно протянул Сергей.

– Все, хватит болтать, – оборвал Сергея Самойлов. – Медведь замыкает! Потопали!

На дорогу вышли раньше хуторянина с телегой. Пришлось ждать. Он все так же неспешно следовал по дороге, покуривая и что-то напевая себе под нос.

Самойлов вышел на дорогу.

– Эй, земляк, папироской не угостишь?

Мужик, приостановив лошадак, потянулся под сидушку и не спеша вытянул из-под нее обрез.

– Якой я тоби земляк, москаль? Сам чёрт тоби земляк...

Сергей, подкравшись с противоположной от Самойлова стороны, ткнул дуло автомата мужику под бок.

– Тихо, дядя. Не балуй! Ствол-то отдай, – проговорил он вкрадчиво.

– Не то ненароком дырок в твоей башке неразумной наделаю, что делать будешь?

Хуторянин мгновенно преобразился, отдал обрез и с превеликой радостью, словно встретил лучших друзей, заголосил:

– Ой, хлопцы! Так я ж свий. А ружо у меня старо, еще с Первой мировой, от дида осталось. А ноне без ньёго никак, вороги, та и тати шатучи...

– Может, и патронов нет?

– Та яки ж патроны?

– А ты у сыновей попроси, они тебе отсыпят, – напустив строгости в голосе, произнес Самойлов.

– Та что вы такэ балакаетэ, во то як спите? – всплеснул руками мужик.

– Ну хватит, дядя, нам зубы заговаривать. Куда сыновья на велосипедах поехали? – еще раз ткнул ему под бок ствол автомата Сергей, да так, чтобы до ребер достало.

Мужик замолчал и, стянув шапку с головы, произнес уже на русском:

– Да здесь неподалеку, в деревню Сливянку. Там комендатура немецкая.

– А чего же ты, старый, сыновей-то к фашистам на службу определил? – не унимался Протасов.

– Да чего там! – махнул рукой бородатый. – Старшего Петра призвали, а младшего Фрола сам записал, чтобы в Германию на работы не услали. Из деревни-то всех мальчишек и девчонок старше пятнадцати собрали, на машины погрузили и увезли. Куда? Никто не знает. Беда!

– Да ты, как я посмотрю, не бедствуешь на своем хуторе. Лошади, коровы...

– Не мой! Вот те крест, не мой! – торопливо перекрестился мужик. – Перед самой войной тут жил богачей один, Богдан Коваль, раскулачили, а самого выслали в Сибирь. Да он вскоре вернулся. Сам-то ноне во Львове,

какой-то начальник по заготовкам, а меня сюда посадил с семьей, на хозяйство. Молоко от пяти коровок каждое утро вожу в Дрогобыч в немецкий госпиталь. Так распорядился хозяин.

– Тебя как зовут-то? – спросил Самойлов.

– Мирон. Мирон Студенец. Родом-то я из-под Винницы, да жёнка из этих мест...

– Скажи-ка мне, Мирон, немцы в округе есть?

– Только в Дрогобыче...

– А в Сливянке?

– Не-ет, – боднул бородатый. – Там только комендатура, и в Ключах тоже только полиция...

– На дорогах есть патрули?

– Перед городом. Там речушка небольшая. У моста немецкий патруль.

– А за Дрогобычем?

– Не знаю. Говорили мужики, что и посты есть, и на автомобилях патрули разъезжают... Да и воинских частей немало до самого Львова. Вам, поди, во Львов надо?

– Не твоего ума дело! – рыкнул Сергей.

– погоди, Серый, – и, обращаясь к Мирону, Самойлов спросил: – Как я погляжу, ты догадливый. Скажи, как можно попасть во Львов, не привлекая особого внимания?

Мужик задумался, затеребил бороду.

– По железке... – сказал он решительно.

– Как это?

– По железной дороге. Через Дрогобыч время от времени проходят эшелоны с побитой немецкой техникой. То ли в ремонт ее везут, то ли на переплавку. Охраны почти никакой: на паровозе и на площадке последнего вагона по человеку, ну и теплушка с караулом где-то в составе. Точно, сам не раз видел.

– Ты, случаем, в армии не служил? Уж больно на лету все схватываешь... – удивился Самойлов.

– Не пришлось. Всю жизнь в деревне...

– Спасибо тебе, Мирон Студенец. Ну, а о нашей встрече, как ты и сам понимаешь, никому, – предупредил Самойлов, – и даже сыновьям. Сыновьям особо!

– И вам спасибо, – приложил руку к сердцу бородатый.

– За что? – удивился Сергей.

– За жизнь...

С тем и расстались: мужик продолжил свой путь, а Самойлов и Протасов углубились в лес.

– Ну что, Медведь, не заскучал? – вопросом встретил присоединившегося к ним товарища Сергей. – До Львова в купейном вагоне поедем... – сообщил он восторженным тоном.

– Не трудись, – усмехнулся Федор. – Я все слышал. А железная дорога там, – указал он рукой, – километрах в шести. В утреннем воздухе проходящий поезд далеко слышно. И не только поезд: вас тоже... Так что потише...

– Рано еще к железке двигаться. Надо груз забрать: рацию, боеприпасы, взрывчатку. Веди, Федор. У тебя это лучше получится, – распорядился капитан Самойлов.

Только через четыре часа появился нужный состав. И правда, вагоны были загружены подбитыми танками, покорёженными орудиями, останками самолетов. Видимо, железо шло на переплавку.

Место было выбрано таким образом, что ни паровоза, ни последнего вагона не было видно. Наметив открытую платформу, лишь наполовину прикрытую брезентом, разведчики устремились к железнодорожному полотну. Посадка была обговорена заранее, потому прошла без осложнений. Укрывшись под брезентом, группа Самойлова продолжила путь, приближаясь к намеченной цели – городу Львову.

Под вечер поезд, сделав очередную остановку, замер на несколько часов. Лишь разговор проходивших мимо немцев, видимо, из караула этого состава, прояснил ситуацию: поезд во Львов не пойдет, по какому-то окружному пути проследует в Польшу, а оттуда в Германию.

Разведчикам пришлось покинуть нагретые за день места.

Чтобы напрасно не рисковать, группа Самойлова покинула станцию и, найдя брошенный полуразрушенный дом, расположилась в нем на отдых. Необходимо было узнать, что за место, где они оказались, и сколько до Львова. С рассветом все выяснилось: на здании маленького вокзальчика большими буквами было написано – Протопоповка. А это уже пригород Львова. Решили рацию и питание к ней, взрывчатку оставить в этом заброшенном полусгоревшем доме, так как Протопоповка находилась всего в шести километрах от города, а дом стоял на окраине пристанционного поселка в полтора десятка домов.

Во Львов пробирались налегке, оставив лишь пистолеты и ножи. Вошли в город со стороны еврейского кладбища, судя по виду, старого, захламленного, брошенного. Под одной из плит прикопали оружие и нашли место, куда можно было бы в будущем перетащить и укрыть имущество, оставленное в Протопоповке.

Вышли на одну из улиц. Федор знал их все, и довоенные названия, и нынешние, но одно дело знать, а другое – видеть. Дома добротные, ухоженные, каменные, под красной черепицей поразили своим видом дуплинского паренька, хотя до того видевшего Новосибирск и Омск. Удивил его своими формами и костёл – вытянувшийся вверх, черный, с узкими, словно крепостными бойницами, окнами. Здесь все было чужим. И даже редко попадавшиеся навстречу люди казались Федору чужими.

Патруля разведчики не боялись. Документы, выданные на базе, были сделаны добротно. По ним все трое числились поездной бригадой львовского железнодорожного узла, и даже отметки на спецпропусках в депо и сортировку были настоящими и могли выдержать любую проверку. Одно смущало разведчиков – ни один из них ни разу не был в кабине паровоза...

Дойдя до Grundstrasse, то есть улицы Зеленой, остановились.

– Дом пять. Это вон тот, с синими ставнями. Пойду один, – категорично заявил Самойлов. – Серый и ты, Медведь, меня прикрываете. Если засада, безоружными в дом не лезьте. Действуйте по обстановке. Помните, главное – выполнение задания!

Самойлов ушел, но вскоре вернулся.

– Все нормально. Нас ждут. Василий и его жена Дарья осели во Львове еще в сороковом. Я получил эту явку перед самым вылетом. Полковник Воскресенский заверил, что, несмотря на молодость, ребята опытные и им можно доверять на все сто.

– А почему он нам о них не сказал?! Не доверяет? – возмутился Сергей.

– Нет. Дело не в доверии. Чем меньше людей знает, тем больше шансов явку не спалить... Пошли, – и сам направился к дому, чуть погодя за ним последовали Прокопенко и Протасов.

Хозяева и правда были молоды, на первый взгляд около тридцати. Дарья тут же засуетилась, накрывая на стол, помощником ей вызвался

Сергей, Федор поглядывал через окно на улицу, а Василий и Олег уединились в небольшой спальне.

– Темнить не буду, дело у нас сложновыполнимое и рискованное, – начал Самойлов без предисловий. – Нужен нам Арсений Лесковский, преподаватель университета и руководитель лаборатории. Очень нужен, – и, наклонившись чуть ближе к собеседнику, доверительно спросил: – У тебя случайно среди преподавателей знакомых нет?

– Нет. Но с некоторыми профессорами и докторами наук из Львовского университета знакома Даша. Перед войной она поддруживала с дочерью профессора Слуцкого, бывала в его доме и там, не раз мне рассказывала, знакомилась с другими преподавателями. Если дело спешное, то она сейчас могла бы навестить подругу.

Через какое-то время Даша поспешно ушла, оставив мужчин одних.

– Может, проводить Дарью? – предложил Сергей, на что Василий лишь покачал головой. Поведя широко рукой над накрытым столом, он пригласил:

– Прошу садиться, кто где пожелает. Увы, ни водки, ни самогонки нет, но зато картошка отменная и соленые огурчики только сегодня с рынка Даша принесла. Угощайтесь.

Дарья вернулась быстро, не прошло и часа. Встревоженная, даже несколько испуганная. Вопросительно посмотрела на мужа и, получив от него добро, прямо с порога доложила:

– Подруга выехала из Львова, а Богдан Самуилович...

– Слуцкий, – пояснил Василий.

– Богдан Самуилович Слуцкий остался. И он Лесковского знает, даже недавно видел его в оперном театре. Но предупредил, чтобы я ни у кого больше им не интересовалась. «Это страшный человек, – так он сказал и даже повторил: – Страшный». После чего выпроводил меня за порог.

– Спасибо тебе, Даша, – встал со своего места Самойлов. – Главное ты узнала: Арсений Лесковский жив, свободно передвигается по городу, раз посещал театр, а значит, мы его найдем. Теперь о вещах более прозаических: где нам приткнуться на время и как в городе с продуктами? Рейхсмарки есть.

– На соседней улице я знаю несколько свободных квартир. Хозяева выехали в Польшу еще в сороковом, так что неожиданностей быть не должно. На рынке можно купить самые необходимые продукты, там же можно разжиться керосином и керосинкой. Комендантский час с шести часов вечера. В остальное время передвижение по городу свободное, если, конечно, с документами все в порядке. Сюда больше приходиться не надо. Даша работает на почте... да-да, не удивляйтесь, на оккупированной территории почта действует исправно. Так вот, Даша работает на почте на улице Леси Украинки. Если что нужно, передавайте через нее. Вас трое, не примелькаетесь. Я же работаю на железной дороге, на сортировке, сцепщиком. Без спецпропуска на сортировку не пройти.

– У нас есть пропуск.

– Дай взглянуть.

Сравнив свой пропуск и тот, что подал Олег, Василий лишь покачал головой.

– Научились делать липу, не отличить.

– Это не липа, – улыбнулся Самойлов. – Пропуск подлинный. Уж как его раздобыли, не знаю, но...

– По нему вы можете пройти на территорию узла только в течение одиннадцати дней, – перебил Самойлова Василий. – На первое число очередного месяца пропуска сдаются и выдаются новые.

– Ничего. Там видно будет. А теперь вот что, молодые люди, – оглядев Василия и присмирившую Дарью, Самойлов виновато улыбнулся, – вся надежда на вас. Мы, конечно, сами могли бы эту задачу решить, но у нас это займет больше времени. Дело в том, что нам позарез нужны сведения о враче Антоне Васильевиче Прохорове, до недавнего времени возглавлявшем хирургическое отделение немецкого госпиталя. И еще один человек нас интересует – капитан Артур Берг, офицер львовской комендатуры. Нужно выяснить только место его проживания. Посильная задача?

– Сделаем, – уверенно произнес Василий и посмотрел на жену. Та кивком подтвердила.

– Когда наведаться на почту?

– Завтра после двух пополудни.

– Ну что ж, как говорили на Руси – незваный гость хуже татарина. Пора и нам. Спасибо, хозяйюшка, за хлеб-соль, – и, обращаясь к Василию, Самойлов добавил: – Веди. Надо устраиваться. До комендантского часа еще больше двух часов, осмотреться бы надо.

Квартирка в две небольшие комнаты в трехэтажном кирпичном здании была словно специально подобрана для таких, как группа Самойлова: окна выходили на улицу и во двор. Из окна кухни можно было дотянуться до пожарной лестницы, а дом имел еще и черный ход, выходящий в небольшой дворик, через который можно было выйти на соседнюю улицу. Главное же, как пояснил Василий, выбор пал именно на эту квартиру из-за того, что во всем подъезде из девяти квартир заселены были только две – в одной проживала еврейская пожилая семейная пара, как пояснил Василий, чудом оставшаяся в живых после еврейских погромов 1941 года, а во второй – бойкая торговка с рынка.

Когда Василий ушел, Самойлов обратился к Федору:

– Ты что, Медведь, погрустнел? Молчишь. За весь день не произнес ни слова...

– Знаешь, как-то все складно получается: и приземлились мы вроде бы не туда, но в более тихое и нужное место – на болото, и добрались до Львова любо-дорого, и на связного вышли, и про Лесковского... и квартира отвечает всем требованиям. Подозрительно. Я не удивлюсь, если завтра уже будут известны адреса и Прохорова, и немецкого капитана.

– Ты что, подозреваешь Василия с Дашей? – возмутился Сергей. – Ты же их видел – наши ребята!

– Наши-то они наши, да предыдущая группа спалилась...

– Но связные-то здесь при чём? У той группы свои пути-дороги...

– Грешить на ребят не буду, но насторожиться следует: уж больно все гладко, – стоял на своем Федор. – И как они будут искать адреса: один – работая на сортировке, вторая – на почте...

– Во, на почте как раз и проще всего адрес найти, – потягиваясь, вмешался в разговор Сергей.

– А адрес капитана тоже на почте? – огрызнулся Федор. – Зря ты, Старый, обе зацепки им дал. Это же наши козыри. Еще мой дед говорил, что в одну корзину все яйца не кладут.

– Как это? – удивился Сергей.

– Все просто: в одной побьются, так в другой останутся, – пояснил Федор.

– Ладно, философы, хватит болтать! Давайте устраиваться, пока светло. Утро вечера мудренее. Завтра узнаем, кто прав. Но ночью подежурим. Ты, Серый, первым вахту несешь. В час поднимешь Медведя, а я с четырех – собачью смену отстою.

– Слушай, Старый, надо бы за оружием наведаться, – предложил Сергей. – А то я словно голый.

– Хорошо, – согласился Самойлов. – Утром сходишь на кладбище... Я и сам себя без оружия как-то неуютно чувствую.

По улице Леси Украинки Олег и Федор прошли еще утром. Чуть в стороне от дома, на первом этаже которого находилась почта, высмотрели полуразрушенный дом.

– Отсюда будешь меня прикрывать. Место выбери сам. Если что не так, дашь знать. Ну хотя бы в этом оконном проёме положи пару кирпичей. Я увижу и пройду мимо. После чего и ты уходи. Встречаемся на еврейском кладбище. Учти, Медведь, оружие применять в самом крайнем случае, – предупредил Самойлов. – А Серый подождет нас на квартире. Если через час мы не появимся, он тоже сваливает.

Федор на точку ушел за два часа до намеченного срока, а в два часа дня на почту отправился Самойлов. Ничего подозрительного Федор не заметил. Желаящих отправить почтовое сообщение было немного, и он отследил каждого. Никто больше десяти минут в помещении не находился.

Самойлова Федор увидел еще издалека. Тот шел не спеша, не оглядываясь. И вдруг, как назло, из-за поворота вывернулся немецкий патруль. «Только этого не хватало», – забеспокоился Федор. Вытащив пистолет, он изготовился для стрельбы. Но патруль прошел мимо, даже не потребовав у Самойлова документы.

Все прошло на редкость обыденно: Олег вошел в помещение почты, через несколько минут вышел и продолжил путь. Слежки за ним не было, Федор бы это почувствовал. Понаблюдав еще минут пятнадцать-двадцать, он отработанным маршрутом вернулся на квартиру. Где-то через час появился и Самойлов.

– Как все прошло? Не томи! – встретил командира вопросом Серый.

– Расслабьтесь. Все нормально. В помещении были две работницы. Одна из них – Дарья. Через окошко я подал ей бланк телеграммы и незаметно забрал листок. Расплатился и вышел. Все. Оба адреса здесь, – показал Самойлов перстом себе на лоб. – Что у тебя? – спросил он Федора.

– Ничего.

– Вот, а я что говорил: ребята наши, советские. Сказали – сделали! – сияя, восторженно произнес Сергей. – Особенно Дарья, так оперативно сработала.

– То-то и оно, что оперативно. Понаблюдать бы за ними...

– Ты что, предлагаешь слежку устроить? – возмутился Сергей.

– Не помешало бы!

– Отставить! – остановил разгорающийся спор Самойлов. – Для слежки нет ни причин, ни времени. Давайте делом займемся. Первый адрес – Прохорова – отрабатывать тебе, Медведь. Дом я отыскал, располагается неподалеку. Дом одноэтажный, небольшой, видимо, частный. Тебя прикрывает Серый. До комендантского часа еще есть время: пройдитеесь, присмотритесь, определите место, с которого завтра будете вести наблюдение за домом. Да что я вас учу, не маленькие, разберетесь.

– А что со вторым адресом? – спросил Федор.

– Со вторым хуже. Артур Берг живет в офицерском общежитии. Я проходил мимо него: вход только офицерам. Рядом с комендатурой располагается офицерская столовая. Видимо, там Берг и питается. То есть надо добывать форму немецкого офицера и идти в общежитие и опять же в офицерской форме идти в столовую.

– А может, он еще куда-нибудь ходит... в ресторан, например, в театр. Театр-то работает, а Берг – человек...

– Да, но это моя забота. Вам же – наладить контакт с Прохоровым. Он здесь давно и может знать о Лесковском. Все, парни, не теряйте времени. Дом Прохорова на Yung strasse, 17.

Наблюдение за домом ничего не дало. За весь день только хозяин дома Антон Васильевич Прохоров около девяти часов утра его покинул и к пяти вечера вернулся. Вернулся, правда, в легковом автомобиле, за рулем которого сидел немецкий офицер в черной гестаповской форме, звания Федор не разглядел.

– Надо возвращаться, – предложил Сергей. – До комендантского часа почти не осталось времени. Завтра продолжим. Надо же выяснить, кто еще проживает в доме.

– Если Настя нет, пиши пропало, – огорченно произнес Федор. – С Настей можно повспоминать родственников, и она примет меня за своего. А вот без нее Антона Васильевича не достать.

– Постой, а это не она? – толкнул в бок Федора Сергей. – Лет двадцать, не более...

– Похоже, что Настя. Но никто же из дома не выходил...

– Не выходил, – согласился Сергей. – А это значит, что в доме есть еще один вход, который отсюда не виден. Завтра проверим. Все, охотник, уходим. Не хватало нам на патруль нарваться.

Когда разведчики вошли в квартиру, Олег гремел посудой. На вопрос, откуда она появилась в их скромном жилище, Самойлов снисходительно ответил:

– Вы что, совсем отупели от игры в гляделки? Весь дом почти пустой. Обошел несколько квартир... Да, в наш подъезд сегодня немцы наведались, – не отвлекаясь от мытья посуды, поведал Олег. – Поначалу думал, облава, но, оказалось, они пришли за соседями с первого этажа.

– Что, забрали?

– И не их одних. Грузовик был забит народом. Видимо, евреев подгрести, кто не переселился в гетто.

– Вот сволочи! – невольно вырвалось у Сергея. – Соседи ведь уже совсем старики. Я вчера их видел из окна – божьи одуванчики.

– А фашистам все равно: что старый, что малый... Еврей – к стенке! Ну, будет об этом. Вы-то как день провели?

Сергей как старший по званию доложил:

– Наблюдение почти ничего не дало. Видели доктора. Под вечер в дом вошла девушка лет двадцати, возможно, Настя. Завтра продолжим. Может, повезет больше.

– Что же, время терпит, – кивнул Самойлов. – А я с утра был на местном рынке. Ну и дела... Будто и нет войны. При наличии денег можно купить все. Я немного продуктов прикупил, на первое время хватит. Познакомился с одним деловым малым. Тот обещал немецкую офицерскую форму достать. Говорит, полгода тому с дружкойм вещевого склад грабанул. За форму запросил дорого, но, поторговавшись, цену сбросил. Заказал капитанскую. Завтра встречаемся в сквере на Fridrich strasse.

– Прикроем, – предложил Федор.

– Нет. У вас свое дело. Продолжайте наблюдение, – категорично заявил Самойлов. – А теперь, товарищи офицеры, прошу к столу. На ужин – картошка в мундире и соленые огурчики.

В восемь утра Федор и Сергей уже были на месте. Как и вчера, около девяти из дома вышел Антон Васильевич Прохоров. Через какое-то

время вслед за ним из двери выскочил высокий молодой человек и устремился за доктором. Вот он догнал его, и они пошли рядом, о чем-то оживленно беседуя.

– Серый, ты смотри за парадным, а я поищу другой вход. Ведь девушка вчера как-то покинула дом...

Как ни тарашил глаза Сергей, он так и не увидел, когда и где пересёк улицу Федор. «Охотник! Привык у себя в лесу скрытно передвигаться! – тепло подумал он о товарище. – Как ему, такому здоровяку, это удастся?»

А между тем Федор оглядел дом с тыльной стороны. Вторая дверь выходила в небольшой палисадник, и дорожка от нее вела в сторону противоположной улицы, проглядывавшей между домами. Федор собрался было возвращаться к Сергею, чтобы поделиться новостью и, разделившись, продолжить наблюдение, как дверь отворилась, и вчерашняя незнакомка вышла из дома. Настю он видел только на фотографии, где она была с тетей и было ей лет семь, а сейчас двоюродной сестре должно быть около двадцати. Девушка закрыла дверь на внутренний замок и не спеша направилась к домам параллельной улицы. «Лучшего случая для выяснения отношений может и не представиться», – подумал Федор и вышел из-за дерева, чем напугал девушку.

– Вы Настя? – осторожно спросил он.

– А кто вы? И что вам от меня нужно? – забеспокоилась девушка.

– Ты Настя, – утвердительно произнес Федор, – а я твой брат дуплинский, Федора Федоровича сын.

– Федор? Из Дуплинки... – удивленно протянула девушка. – А фамилия...

– Да Прокопенко я, как и твоя матушка – тетя Валя.

– А как ты здесь оказался? Ты же в Сибири...

Федор рассмеялся.

– Был в Сибири, а сегодня здесь, во Львове. Вот тебя отыскал... свою старшую сестру.

– Ах да, тебе же семнадцать, – смерив взглядом его рослую фигуру, Настя покачала головой. – Во вымахал, весь в отца и деда. Жив еще Федор Федорович?

– А что ему станется. Девяносто семь годков дедушке, а все на охоту ходит, не сидится ему на печи. А ты в материнскую породу пошла – маленькая, худенькая... но симпатичная, – улыбнулся Федор.

– Нашел симпятыгу, – застеснялась девушка. – Да что мы на ходу-то разговариваем? Пойдем в дом. Я тебя накормлю, чаем напою. Вон какой большой! Такому много еды надо, – засмеялась Настя.

– А дома кто есть?

– Я одна. Мужчины мои на работу ушли, а я в сапожную мастерскую направлялась. Вчера отнесла ботинки мужа в ремонт. Я же замужем...

– Да я знаю, – отмахнулся Федор. – Тетя Валя деду писала из Сум и адрес твой львовский дала. Пригодился. Легко запоминается: Советская, 17.

– Сейчас, правда, не Советская, а Молодежная... Немцы, как пришли, улицы и площади на свой лад переименовали.

– Настя, а можно мы зайдем с улицы, а не со двора? Видишь ли, я не один. И человек, что со мной, будет волноваться, если меня долго не увидит. А так все ясно – я в гостях!

– Так ты не случайно во Львове оказался? – встревожилась Настя.

– Не буду врать, не случайно. Пойдем в дом, расскажу, что могу.

Говорили больше часа: Федор рассказывал о Дуплинке, о чудачествах деда, Настя – о жизни в Сумах, о своем муже Алексее, немного о свекре. Узнав о цели прихода двоюродного брата, предложила:

– Антон Васильевич сегодня обедает дома. Оставайся, подождешь. Поговоришь. Вам никто мешать не будет. У Алексея сегодня сложная операция, он весь день будет занят.

– Нет. Лучше я подойду к часу дня. – Федор встал из-за стола. – Тебя проводить до сапожника, сестричка? – улыбнулся он.

– Нет. Я уж как-нибудь сама, – и улыбнувшись в ответ, заметила: – А ты кавалер, как я посмотрю! Девчонки, поди, табуном за тобой бегают?

– Неа. Боятся, что обнимать начну и ненароком придавлю, – рассмеялся Федор.

Антон Васильевич Прохоров к появлению дальнего родственника отнесся настороженно.

– А это точно твой двоюродный брат? Не сочти за недоверие, время такое: сама понимаешь, война.

– Конечно же, брат! – вспыхнув до корней волос, воскликнула Настя. – Мы проговорили больше часа. Только родственник мог знать подробности о нашей семье. Да к тому же Федор во всем похож на деда. Федор Федорович приезжал к нам в гости в начале 37-го года. Копия. Только дед пошире в плечах будет да борода по пояс, а у Федора волос еще еле пробивается. Ему ведь восемнадцать нет.

– Так, говоришь, на обед придет? Что же, познакомимся. За обедом и выясним, что за дела у него такие... – и Антон Васильевич углубился в чтение бумаги, что принес с собой.

Ровно в час раздался стук в дверь.

– Встречай гостя, – усмехнулся Антон Васильевич. – Точен, как немец.

Когда Федор вошел в комнату, Антону Васильевичу показалось, что гость заполнил собой все пространство. Осмотрев с ног до головы вошедшего, одобрительно произнес:

– Так вот каких мужиков земля сибирская рождает! Хорош! Хорош твой родственник, Анастасия! Ничего не скажешь, порода! Давай знакомиться, – протягивая руку, добродушно произнес он. – Антон Васильевич.

– Федор, – легонько пожимая докторскую руку, представился гость.

Ничего особенного в облике знаменитого львовского хирурга он не увидел: среднего роста, худощавый, седоволосый, одет в выдавший виды пиджак.

– Присядем, – предложил Антон Васильевич, показывая на диван. – Пока Настя с обедом старается, поговорим. Она мне сказала, что у вас есть дело ко мне?

– Да, Антон Васильевич. Дело непростое...

– Погодите, – остановил Федора хозяин. – Ответьте мне, вы как оказались во Львове?

– Самолетом, – неожиданно для себя, открылся Федор. – Из Москвы...

– Дела-а, – удивленно протянул Антон Васильевич. – И что, в Москве меня знают? И Москву не смущает, что я работаю на немцев?

– Знают... и не смущает. Скрывать не буду, нам нужна ваша помощь, – несколько помявшись, Федор продолжил: – Пока я не назвал причину, вы можете отказаться. Я уйду, и вы больше меня никогда не увидите.

– Нет уж, дорогой мой родственничек, назвался груздем – полезай в кузовок. Так что у вас за дело?

– До войны в университете читал лекции некто Арсений Лесковский. Преподавал немного и недолго. Он занялся научной работой, ему дали

лабораторию, помощников... С приходом немцев его изыскания возобновились и активизировались. Мало того, его работа подходит к завершению. Знаете ли вы его? Или, может быть, слышали о нем?

– Увы, Федор, не имел чести знать этого человека... А чем он занимался?

– Лучше вам, Антон Васильевич, этого не знать. Дело секретное...

– Понимаю, понимаю... – доктор встал с дивана, нервно заходил по комнате. – Вам очень нужен этот человек?

– Очень!

– Хорошо, заранее ничего не обещаю, но в ближайшее время постараюсь выяснить. Мне бы его фото... У вас случайно нет?

– Нет. До войны его работе не уделяли должного внимания, а сейчас немцы Лесковского тщательно охраняют.

– Да, ну ничего, – остановившись, неожиданно спросил: – А вам, Федор, правда нет восемнадцати?

– В марте будущего года исполнится. А что?

– Говорите вы хорошо, правильно, я бы даже сказал – зрело, не как десятиклассник.

– Так окончил десятый, – улыбнулся Федор. – Экстерном, – поправился он.

– Ну, раз школа позади, можно и по маленькой за знакомство. Ты как? – хитро прищурился, предложил Антон Васильевич. – Перед обедом я как врач рекомендую. Анастасия, как с обедом?

Из дверного проёма кухни выглянула Настя.

– Все готово! Прошу к столу!

2

Новый знакомый Олега не обманул. Принес полный комплект обмундирования и офицерскую шинель в придачу.

– За шинель надо доплатить, – безапелляционно заявил он и назвал сумму.

Не торгуясь, Самойлов отсчитал купюры.

– Нужда будет, ты знаешь, где меня найти.

– Слушай, – остановил торговца Олег, – а ты побрякушки немецкие достать можешь? Железный крест, например.

– Завтра ближе к вечеру, ближе к пяти вечера принесу. Может, еще что надо? Могу вальтер достать... Кобура-то есть, а что в кобуру засунешь?

– Неси. Разоришь ты меня вконец, – сокрушенно произнес Самойлов.

– Не разорю, – довольно гыкнул торговец. – А коли есть золотишко, так и пулемет принесу. Нужен?

– Нет, – мотнул головой Олег. – Пока пистолетом обойдусь.

– Как знаешь.

Осторожно поглядывая по сторонам, торговец не спеша удалился по аллее.

И немецкая форма – три комплекта, и оружие – все немецкое, и даже документы были, но они находились в тайнике в полуразрушенном здании поселка при станции Протопоповка, и идти за ними сейчас, рискуя жизнями товарищей, полагаясь на случай, Самойлов не мог, так как операция находилась еще в самом начале. Прежде всего необходимо выяснить расположение лаборатории и найти Лесковского. Вернее, найти Лесковского, а через него выйти на лабораторию. Потому-то Олег и пошел на эти непредвиденные расходы, связанные с покупкой офицерской формы и оружия.

На квартире Самойлова ждали Сергей и Федор. По их лицам Олег понял, что встреча удалась.

– Докладывай, контакт установлен?

– Установлен, – выпалил Федор.

– А теперь не спеша, подробно, дословно передай разговор с доктором.

Выслушав Федора, спросил:

– Как твое мнение, не выдаст?

– Нет, – уверенно ответил Федор. – Предать нас – значит подставить невестку, а Настю Антон Васильевич любит, это точно.

– А поможет?

– Обещал. Через два дня приглашал на обед...

– Через два дня я наметил встречу с другом детства, – в раздумье произнес Самойлов. – Думаю, буду готов.

– Слушай, Старый, а может, не нужно торопиться? Если Прохоров выяснит про Лесковского, зачем нам Артур Берг? Обойдемся без него, – резюмировал Сергей.

– Решим позже. Все равно я намеревался с Артуром встретиться вечером.

– А как же комендантский час? Патрулей будет немало. Ведь после шести часов останавливают всех, в том числе и офицеров, – возразил Федор.

– По вечерам Артур ходит ужинать в ресторан. Во всяком случае, вчера он там был. Прослежу еще и сегодня. А в ресторане документы не проверяют. Видимо, патрулю запрещено заходить в ресторан...

– А вдруг есть особый, офицерский патруль? Специально для таких случаев? – не унимался Федор.

– Да я как-то об этом не подумал...

– Слушай, Старый, чего ты торопишься? Через два дня какой будет день недели? – поинтересовался Сергей. – Правильно. Воскресенье. Ты думаешь у немецких офицеров не бывает выходных или хотя бы немного свободного времени? Бывает. Они тоже люди, хотя и фашисты.

– Погоди, как же я забыл! – воскликнул Самойлов. – Ведь в воскресенье никто работать не будет. У католиков великий праздник – Рождество Христово. С раннего утра народ в костёл потянется... и Артур тоже. Он же католик. Вот где с ним надо встречаться: или по пути, или в самом костёле.

– А что тебе даст эта встреча? Ведь он немецкий офицер... Друг другом... возьмет и пристрелит, а то и того хуже – сдаст гестапо, – Сергей, все больше распалаясь, продолжил: – Ведь как-то он дослужился до капитана. Просто так звания не присваивают, тем более выходцам из Советского Союза, и на тёплое место не назначают.

– Наверное, ты прав, – согласился Олег. – Я тоже думал об этом. Конечно же, время могло Артура изменить. Но полковник Воскресенский не зря указал на друга детства. Его возможности намного больше, чем Прохорова, и это надо использовать. Рискую только я один!

Два дня прошли незаметно. Сергей с Федором подключились к слежке за Артуром Бергом, но капитан почти не выходил из комендатуры: офицерское общежитие, комендатура, столовая, вечером ресторан и опять общежитие.

«Пожар устроить, что ли? Вот тогда бы все разбежались из здания, словно тараканы», – не раз возникала горячая мысль у Сергея, но, оценив расположение охраны и свои возможности, он остывал.

Утром группа Самойлова была в костёле. Несмотря на войну, верующих было много. Отдельной группой расположились немецкие офицеры. Они сидели на мраморных лавках, склонив головы, время от времени крестясь.

Разведчики расположились так, чтобы видеть друг друга. Федор и Сергей, не забывая прикладывать пальцы ко лбу, отслеживали Олега, который должен был подать сигнал, когда появится Берг. Но служба уже заканчивалась, а капитан не приходил.

«Неужели прождали напрасно? – терзался мыслями Самойлов. – Ведь Артур верующий и не мог пропустить в такой праздник службу!»

Но вот пастор в окончание благословил молящихся, и народ потянулся на выход. Олег тоже хотел было показать товарищам, чтобы уходили, как в костёл вошел капитан Артур Берг – небольшого роста, крепко сбитый, светловолосый и сероглазый. Со дня расставания Артур изменился, но не настолько, чтобы остаться неузнанным. Сев на скамью, он углубился в молитву. Рядом с ним тут же пристроился Олег. Положив ладонь на колено капитану, он тихо по-немецки произнес:

– Привет, Артур! Не забыл друга детства?

Капитан Берг вздрогнул от неожиданности и, повернувшись вполоборота, внимательно посмотрел на говорившего. Олег видел, как у Артура округляются от удивления глаза.

– Как? Откуда? Как ты здесь оказался? – почему-то по-русски прошептал он. – Ты, и в немецкой форме... ничего не понимаю...

– Выйдем, – предложил Олег. – Не в костёле же нам объясняться.

Он не спеша поднялся, перекрестился и пошел к выходу. Артур последовал за ним, а следом за немецкими офицерами костёл покинули Сергей с Федором. На выходе они оказались за спиной капитана Берга. Почувствовав угрозу, он обернулся.

– Не волнуйся. Это мои люди, – поспешил успокоить друга детства Самойлов. – Если ты не против, пройдемся.

– Не думал, что наша встреча будет такой, – с явным огорчением произнес Артур. – Сколько лет прошло, как нас развела судьба? Одиннадцать?

– Одиннадцать, – подтвердил Олег. – Нам было по шестнадцать, когда дядюшка увез тебя в Германию.

– В дружественную по отношению к Союзу Германию, – уточнил Берг.

– Да. Но сегодня, через одиннадцать лет, Германия напала на Советский Союз, и ты в форме капитана вермахта.

– Но и ты тоже в немецкой форме...

– Только в форме, – многозначительно произнес Олег. – А ты, как я посмотрю, быстро вырос до капитана. Карьере не помешало твое рождение в Союзе?

– Только в самом начале службы, – неопределенно пожал плечами Артур. – После смерти отца...

– Как! Герхард Фридрихович умер?

– А ты не знал? – удивился Артур.

– Да я через год после тебя уехал в Москву и больше не приезжал в Саратов. Так что извини, не знал.

– Так вот, – после паузы продолжил Артур, – после смерти отца дядя меня усыновил. А так как он второй раз женился на вдове, оказавшейся баронессой, я тоже стал важной персоной. Побывал во Франции, в Польше, сейчас Россия... А ты? Что с тобой? Как там тетя Маша, дядя Коля? У тебя еще сестра была, Сашенька, если мне не изменяет память.

– Да все нормально: живы-здоровы, живут в Москве, работают. Александра уже совсем взрослая, красавица, перед войной вышла замуж...

– А ты?

– Я замуж не выходил. Холост, – пошутил Олег и, чуть снизив голос, добавил: – Тоже капитан, и этим все сказано. Во Львове по делам.

– А не боишься, что я позову патруль? Вон стоят. Совсем близко...

– Не боюсь, – решительно произнес Олег. – Не успеешь и рта раскрыть, как тебе его тут же закروют мои ребята, и уже навсегда. Я не угрожаю тебе, Артур. Нет. Констатирую факт, который может свершиться.

– Верю, – сказал Артур и уже осуждающе произнес: – Тоже мне, друг называется, – помолчав, продолжил: – У тебя ко мне какое-то дело... Иначе бы ты не появился во Львове и не отыскал меня. Так?

– Все так. Не буду скрывать, очень надеюсь на твою помощь.

– Надеюсь, никого убивать не надо? – усмехнулся Артур.

– Нет, конечно. Нас интересует Арсений Лесковский...

– Поляк?

– Да, поляк. Преподавал в университете, занимался наукой. Теперь работает на вас в какой-то лаборатории. Мне нужно знать, где его найти и, по возможности, где располагается эта лаборатория.

– Чем он занимается?

– Физикой магнитных полей и, насколько мне известно, нейрофизиологией головного мозга.

– Вот как? – удивился Артур. – Не слышал про такого поляка. Я ведь офицер связи. Почти почтальон. Доставляю документы в Берлин и Варшаву. Два раза в месяц. Узнать о польском ученом, не привлекая к себе внимания, будет непросто, но я постараюсь.

– Знаю, что Лесковский любитель театра, бывает в оперном... Не часто, но бывает, – уточнил Самойлов.

– Если что узнаю, как сообщить?

– Я тебя сам найду. Ты только когда в столовую обедать пойдешь, возьми в левую руку газету. Я буду знать, что ты что-то накопал...

Артур остановился и, внимательно глядя Олегу в глаза, предложил:

– Может, за встречу, за Рождество по маленькой... можно у меня в общепитии, можно в ресторане, он сегодня с утра работает...

– Рад бы, но поверь, не могу. В другой раз.

– Верю, – и, помолчав, Артур добавил: – А все-таки ты изменился, Олег. Стал холодным и чужим...

– Что делать... Годы! Да и ты, Артур, уже далеко не тот наивный мальчишка, мечтающий подняться в небо. Землю вот топчешь, и землю-то чужую. Сказал не в упрек тебе, а как есть. До встречи.

Пожав друг другу руки, офицеры разошлись в разные стороны. Федор пошел за Самойловым, а Сергей – за Бергом, так, на всякий случай.

Федор с нетерпением ждал обеда. Ровно в час пополудни он постучал в дверь. Дверь открыла Настя, нарядная, пахнущая пирогами.

– С Рождеством! – вместо приветствия, поздравила она Федора с праздником. – А я пироги затеяла... с капустой... ты проходи в гостиную. Антон Васильевич тебя ждет.

Прохоров был не один. Навстречу Федору из-за стола поднялся высокий, несколько сутуловатый молодой человек.

– Алексей, – представился он, – а ты – Федор. Настя все уши протарахтела про тебя. Брат-охотник, брат-сибиряк!

Поздоровавшись с Антоном Васильевичем, Федор сел на предложенный стул.

– Хотя сегодня и праздник, а в праздники делами заниматься грешно, но мы без того грешники, – улыбнулся Антон Васильевич. – Одним грехом больше, одним меньше – какая разница. – Усевшись поудобнее в кресло, продолжил: – Мне самому ничего узнать не удалось, но вот Алексей кое-что припомнил. Извините, Федор, мне от сына скрывать нечего. Я ему передал наш прошлый разговор. Говори, – кивнул он Алексею.

– Дело вот какое... – начал тот неуверенно. – Может, это и не то, что тебе нужно, но послушай. Полгода назад за мной приехали в госпиталь два офицера в черной форме и, приказав взять с собой инструменты и лекарства, увезли с собой. Ехали больше часа. В лесу на речке Львовке до войны была усадьба какого-то польского богатея. Вот туда и привезли. На охоте случайно подрали офицера. Рана так, пушечная, в мякоть бедра. Пуля навывлет. Вот там-то я и услышал эту фамилию – Лесковский. Говорили, естественно, по-немецки, понял я мало что из их разговора, но раненый офицер в раздражении сказал немецкому полковнику, что если бы Лесковский не был так нужен, то он сам бы его пристрелил за эту охоту. И еще вот на что я обратил внимание: помимо двухэтажного особняка, огороженного добротной каменной оградой, за несколькими рядами колючей проволоки я увидел вытянутые метров на тридцать два кирпичных здания, почти без окон и, что особенно удивительно, вновь построенных. Это я к тому, что лбы у крыш этих зданий защиты досками, а они еще не успели потемнеть. Я тогда подумал: с чего бы это немцам в лесу дома возводить? И еще вот что: перед особняком на растяжках высилась антенна, и вся усадьба хорошо охранялась. В общем-то, и все.

– Ну ты молодец! Тебе бы не хирургом быть, а... – Федор чуть не проговорился: «а разведчиком». – Ты дорогу-то помнишь?

– Конечно. Я тебе опишу. Только, когда мы ехали, нас несколько раз останавливали патрули. Проверяли документы. Даже у немецких офицеров в черной гестаповской форме.

Настя заскочила в гостиную, покрасневшая, с горящими глазами.

– Вы уже закончили свои разговоры? У меня все готово.

– Ты чего такая счастливая? – с улыбкой спросил Антон Васильевич сноху.

– Пирогі удалісь, – был ответ.

– Пирогі удалісь! Чего еще нужно женщине для полного счастья?! – рассмеялся Антон Васильевич. – Что ж, хозяйка приглашает, поторопимся.

3

Вечером, проанализировав прожитые во Львове дни, Самойлов принял решение идти к тайнику. Тем более что подошло время выхода на связь.

– Завтра идем в Протопоповку. Выйдем на связь и быстренько уйдем.

– Быстренько не получится, – возразил Федор. – Я наметил путь возвращения с грузом. Придется поплетаться изрядно, чтобы не засветиться.

До Протопоповки разведчики добрались без осложнений. Груз был на месте. Оставалось только дожидаться выхода в эфир.

– Я вот что думаю, парни, – нарушил молчание Самойлов, – а не пора ли нам базу сменить? Неделю мы уже во Львове. Вроде бы и улица тихая, и дом почти пустой, а на душе тревожно. Я тут один домик присмотрел на

бывшей Шорной. Даже с хозяйкой переговорил. Она нам его на два месяца сдаст, сама уезжает в деревню к сестре. Так что будем жить без посторонних глаз. На два месяца он нам не нужен, но хозяйке знать об этом не надо.

– Что, и у тебя сомнение возникло насчет Василия с Дашей? – спросил Федор Самойлова.

– Нет. Но неделя на одном месте – это много.

Передав информацию в Москву об установленных контактах и получив ответ: «Проведение операции ускорить. Отец», группа свернула радиопередатчик и быстрым шагом углубилась в перелесок. Федор вел группу уверенно, будто не раз ходил этим путем, хотя шел впервые. Навыки, приобретённые на охоте,годились и в этот раз. Обладая особым, чуть ли не звериным чутьём, он обходил хутора, отдельные постройки, где могли быть люди, дороги... Федор не снизил темпа движения даже тогда, когда сумерки совсем сгустились, но Олегу и Сергею стало трудно поспевать за проводником, и Самойлов приказал сделать привал.

– Ты, парень, нас совсем загнал, – недовольно пробурчал Сергей, устраиваясь на ночлег. – Что, дня завтра не будет? Дойдем.

– Дойдем, конечно, – отозвался из темноты Федор. – Только спешил я не потому, что хотел тебе досадить, а потому, что уходить из той местности надо было как можно скорее. Помните, дорогу переходили, я еще тогда отстал немного. Так вот, посмотреть хотел, что за техника по столь глухой дороге ходит. Ведь дорога-то вела только в Протопоповку.

– И что? – подал голос Самойлов.

– Мимо прошла машина с антенной на кузове...

– Пеленгатор!

– Он, – подтвердил Федор.

– Однако быстро немцы нас засекли, – задумчиво произнес Самойлов. – А почему сразу не сказал?

– Не хотел, чтобы вы заторопились, занервничали...

– Тоже мне психолог! – тем же недовольным голосом пробурчал Сергей. – Напугал ежа голый задницей!

– И тем не менее работают немцы оперативно. Это надо учесть при следующем выходе в эфир, – помолчав, Олег продолжил: – А ведь предыдущая группа могла погореть именно на этом – не учли немецкой расторопности. Связь с ними прервалась внезапно, могли и накрыть...

– Могли, – согласился Федор. – Но это только наше предположение. Вот если бы твой друг Артур помог получить информацию...

– Нет, – осадил Федора Самойлов, – главное для нас – лаборатория, и другими просьбами я его не намерен обременять. Все, парни. Отбой! Сергей сторожит первым. Меня разбудишь в два часа ночи.

– А мне во сколько на дежурство заступать? – поинтересовался Федор.

– Ты же, Медведь, будешь спать, пока не рассветет. Тебе нас вести, – распорядился Самойлов, на что услышал очередное бурчание:

– Медведям всегда везет – зимой спят, весной спят и даже сегодня ночью спят. А кто-то не спит...

Уже под Львовом нарвались на немецкий секрет. Видимо, разведчиков заметили издалека и затаились, чтобы не спугнуть. Как только группа оказалась на открытом месте, прямо по ходу их движения выросли две фигуры с автоматами наперевес.

– Shtilgeschanden! Hende hoch!*

– Спокойно, – тихо произнес Самойлов. – Медленно опускаем груз, автоматы. Быть готовыми действовать ножами.

– Я заметил еще одного, левее тех двоих, с пулеметом, – уточнил Федор. – Он не один. Рядом с ним еще. Видимо, второй номер.

– Где-то еще должны быть. Смотреть в оба!

– Comm zu mir!** – прозвучала новая команда.

– Идем медленно. Те, что за пулеметом, твои, Серый. Федор, эти два мои, а твой за кустом справа, должно, офицер. Действуем по команде «И-и-и, раз!».

Видя перед собой троих безоружных и, казалось бы, растерянных внезапностью мужиков, немцы вышли из-за укрытий и приблизились к замершим разведчикам. Только пулеметчик остался на месте.

– Ты партизанен? – наставив на стоявшего чуть впереди Самойлова ствол автомата, выкрикнул офицер. Это было последнее, что он произнес. Послышалось «И-и-и, раз». По этой команде Сергей метнул нож в пулеметчика, причем выхватил его из-за спины сверху. Это был его излюбленный прием, повторенный тысячи раз. Федор, памятуя, что офицер его, хотя тот находился ближе к Самойлову, сделал шаг вперед с приседанием, тем самым ушел с линии огня, и подсёк ноги противника. Офицер еще даже не коснулся земли, а смертоносный удар ножа обрушился на его грудь, оборвав жизнь. Федор одним движением сорвал с поверженного офицера автомат и, привстав на колено, приготовился к стрельбе. Но стрелять было не по кому. Олег и Сергей уложили по два противника каждый.

– Осмотреться! – поступила команда, по которой Федор и Сергей метнулись каждый в свою сторону. Олег остался осматривать место засады. Когда через десять минут разведчики сошлись, им стало ясно, что ждали не их и ждали давно.

– Думаю, что таких секретов несколько. Только вот где и как расположены – неизвестно. Неизвестно и как общаются друг с другом. Радиостанции я не обнаружил, а значит, кто-то обходит секреты. Надо быстрее убираться. Куда идем? – кивнул Самойлов Федору.

– В той стороне я видел тропинку. Идет оттуда, – показал Федор рукой. – Видимо, ведет к другому секрету. Потому мы проследуем вон по той ложбинке. Я ее пересекал. По дну бежит небольшой ручей. Вот по ручью и пойдем, сколько можно.

– Зачем по ручью-то? – недовольно буркнул Сергей.

– Чтобы собак сбить со следа, – коротко пояснил Федор.

– А где собаки-то?

– Будут, как пить дать будут! – уверенно произнес Самойлов и направился к месту, где оставили груз. Разведчики последовали за своим командиром.

Была ли погоня, неизвестно, но попетляли изрядно и даже не заметили, как оказались на еврейском кладбище. Укрыв радиопередатчик, батареи к нему, взрывчатку и немецкие автоматы с боеприпасами, группа Самойлова вернулась на квартиру. В тот же день они перебрались в небольшой уютный домик на бывшей Шорной, а теперь со звучным названием Фридрихштрассе. Забрав документы из тайника, каждый из группы чувствовал себя в городе более уверенно. Самойлов заполучил

* Стоять смирно! Руки вверх! (нем.)

** Подойди ко мне! (нем.)

документы капитана-фронтовика Рихарда Базеля, следующего в краткосрочный отпуск по ранению на родину – в небольшой городок в Восточной Пруссии. И Федор, и Сергей также получили на руки документы немецких офицеров-интендантов, но, распаковав форму и тщательно ее расправив от складок, поняли, что без утюга здесь не обойтись.

– Ничего, завтра купим на рынке, – утешил было расстроившихся товарищей Самойлов. – Раз предлагали пулемет, неужто на базаре не найдем утюг.

Только через четыре дня объявился Артур Берг с газетой в руке. Сергей тут же сообщил об этом Самойлову, и Олег, переодевшись в офицерскую военную форму, поспешил в столовую. Сев позади капитана, Олег тихо спросил:

– Тебя не было видно несколько дней, что-то случилось?

– Был в Берлине, – не оборачиваясь, так же тихо сообщил Артур. – Кое-что выяснил по твоему вопросу. Надо поговорить.

– Приходи к четверем в сквер перед памятником Адаму Мицкевичу.

– Буду, – коротко сообщил капитан Берг и не спеша принялся за второе блюдо.

Олег, ничего не заказав у подошедшей к нему официантки, покинул офицерскую столовую.

В назначенное время друзья детства встретились. Пожав другу руку, Артур спросил:

– Это не твои ребята пятерых с комендантской роты вырезали? Ножками работали, тихо, грамотно. Офицеры штаба корпуса и комендатуры вот уже несколько дней только об этом и говорят.

– Нет, – боднул головой Олег, – не мои. А что, кого-то искали или так, случайно?

– Заслоны выставили против радиста, что за несколько часов до того работал в эфире, а нарвались на группу профессионалов высокого класса. Пустили собак по следу, да те довели лишь до ручья. Oberst Эрих Энгельс, начальник львовского гестапо, рвет и мечет. За месяц уже второй случай выхода в эфир. Первого радиста засекли, да живым тот не дался, и еще с ним были двое. Те тоже дрались до последнего. А тут... пять трупов... и безрезультатно. Так, говоришь, не твои? Ну да бог с ними, – Артур огляделся и, увидев лавочку, предложил: – Присядем?

Олег решил брать быка за рога и потому, как только сели, спросил:

– Не томи, что узнал?

– Кое-что узнал, но не здесь, в Берлине. Прежде чем поделюсь с тобой информацией, ты вот что мне скажи – во что ты меня втянул? Чем занимается этот поляк, если гриф секретности – «Совершенно секретно», а к информации по работе лаборатории имеет доступ ограниченный круг лиц?

– Не хотел говорить, чтобы не подвергать тебя риску: меньше знаешь – крепче спишь...

– А ты не подумал, что сам интерес к Лесковскому и к его работе смертельно опасен? Я мог не вернуться во Львов, а остаться в Берлине в застенках гестапо!

– Прости, Артур. Не думал, что все так круто замешено. – Помолчав, Самойлов продолжил: – Лесковский занимается созданием установки, способной излучать электромагнитные волны, подавляющие волю человека и делающие его послушным. Насколько известно, есть опытный образец. Установка проходит испытания. Но это пока предположения.

А если все верно и установка функционирует, а дальность действия приличная... Представляешь, что будет, если такую технику будет иметь Германия или еще какая-либо страна. Можно без особых усилий весь мир покорить! Но это все, что мне пока известно, – развел руками Олег.

– Да-а, – озадаченно покачал головой Артур. – Тут не группу надо посылать, а войсковую операцию проводить с высадкой десанта, всего, что есть в Красной армии. Эта установка – угроза не только Советскому Союзу... Неужто в Кремле этого не понимают?!

– Я думаю, что на самый верх доклад не прошел из-за боязни последствий, – высказал предположение Самойлов. – Из-за этого и хотят решить проблему малыми силами, чтобы не привлекать внимания. Мы уже третья группа, посланная для выполнения этого задания. Так что ты выяснил?

Снизив голос до шепота, Артур рассказал:

– В мае Лесковский был на приеме у рейхсканцлера Гиммлера, после чего по лагерям, где содержат военнопленных и гражданских лиц, прошел приказ: срочно найти польских евреев Бжезинского и Углича, как оказалось, ранее работавших с Лесковским в лаборатории, и доставить в Берлин. Нашли одного, Углича, второй к тому времени был уже ликвидирован. По приказу Гиммлера в срочном порядке была собрана группа немецких физиков и направлена во Львов в распоряжение оберста Энгельса. Туда же с большими полномочиями был направлен майор Шредер, присутствовавший на приеме Лесковского у Гиммлера. Вот такие дела, Олег. Поверь, информация точна, мои друзья постарались, – после затянувшейся паузы спросил: – И что ты теперь намерен делать?

– Выполнять поставленную задачу, – в раздумье произнес Самойлов. – Где находится лаборатория, я уже знаю. Только вот как в нее проникнуть...

– Ты что, умом тронулся? Какая лаборатория? Ты представляешь, как ее охраняют? И зачем проникать, рисковать? У тебя есть связь с твоим начальством? Сообщи координаты, пришлют бомбардировщики, и всё!

– Да всё дело в том, что нужен сам Лесковский – живой и здоровый...

– Ты шутишь! Похитить ученого, столь ценного, что его охраняет гестапо... Ты в здравом уме? Это невозможно! Поверь!

– Координаты я, конечно же, в ближайшее время передам, но буду искать подходы к Лесковскому, – твердо сказал Олег, – а тебе, брат, спасибо! Спасибо за информацию, за верность и дружбу! Рад, что в тебе не ошибся, – Олег сделал попытку встать, но Артур его удержал.

– Во Львов сегодня железной дорогой пришло девять автомобилей с локаторами. Шеф гестапо всерьез взялся за поимку радиостанции. Так что ты поостерегись. Если сам оберст Эрих Энгельс берется за дело, результата добивается всегда. Учти это. Как мне тебя найти, если будет необходимость?

– В почтовом отделении на Лесе Украинке работает девушка. Зовут ее Даша. Лет до тридцати, черноволосая, кареглазая, красивая... На бланке телеграммы поставь время встречи и скажи – для Старого. Я приду. Если буду занят, придет кто-то из моих ребят. Ты их видел.

– Так вас всего трое...

– Чем меньше, тем лучше. Забот меньше, – попробовал пошутить Олег.

– Значит, это ты со своими ребятами положил тех пятерых из комендантской роты, что были в засаде, и в эфир выходил тоже ты. И это тебя ищут... – догадался Артур.

– Не найдут. Ты же знаешь, я удачливый, – улыбнулся Олег, пожимая руку другу детства. – Прощай. Увидимся ли еще – один бог знает.

5

Задача не из простых: передать информацию в центр и не попасться. Каждый предложил уже по несколько вариантов, но все имели изъяны и были отклонены.

– Я знаю, как отработать и оставить шефа гестапо с носом, – уверенно произнес Федор. – Сяду в вагон, в такой же, как тот, в котором мы добирались до Львова. Отъеду километров на двадцать. Во время движения передам радиограмму. Соскочу с поезда, припрячу передатчик и вернусь. Если на прослушке сидят грамотные слухачи, то поймут, что передача ведется в движении. Пока то да се, я уже буду во Львове. А при необходимости позже вернусь за рацией.

– А это вариант! – обрадованно воскликнул Сергей. – Рацию они, конечно, засекут, не сразу, но запеленгуют. А вот что это за движущийся объект, поймут нескоро, и тем более так уж быстро не определить, что это за поезд и на каком перегоне или станции радист сошел.

– Еще предложения? Нет. Тогда остановимся на этом, – утвердил план Самойлов. – Выход в эфир в среду вечером в четыре часа. У тебя, Медведь, два дня на подготовку. А мы пока прощупаем подходы к лаборатории. Чем черт не шутит! Может, и найдем лазейку...

Ночью выпал снег, но к обеду растаял.

– Это что, вот такая зима? – недоумевал Федор. – Декабрь заканчивается, а я только сегодня увидел снег.

– Мог и вовсе не увидеть, – рассмеялся Сергей. – У вас-то снег рано ложится?

– Первый как раз на день рождения деда – десятого сентября, а на октябрьские праздники уже морозы трещат. Стоп! – остановил товарища Федор возле тумбы с афишами. – Смотри. С завтрашнего дня в театре опера Вагнера, главные партии исполняют певцы Берлинской оперы. Уж такую-то премьеру Арсений Лесковский не пропустит.

– Возможно. Но как мы его узнаем? И Олега, как нарочно, нет. Он бы что-нибудь придумал.

– Старый планировал ближе к ночи вернуться. Зря он к лаборатории один пошел. Алексей же говорил, что к усадьбе три колочки путь преграждают. Это он увидел три, потому что их по пути трижды останавливал патруль. А минные полосы, а сигналки... Мало ли что еще установлено... – сокрушался Федор. – И усадьба в лесу, а лес – мой дом родной. Мне надо было идти. Пусть не сегодня... завтра...

– Слушай, я вот что вспомнил, – оживился Сергей. – Дарья рассказывала, что Лесковского в театре видел Слуцкий, если мне память не изменяет, Богдан Самуилович. Может, сходим к Даше, узнаем, где этого Слуцкого найти? Поспросаем, как выглядит Лесковский.

– Старый не одобрит нашу самодеятельность, – с сомнением произнес Федор. – Хотя... вдруг у Слуцкого есть фото или он подробно опишет, как выглядит этот выродок... Идем, – согласился он.

До почтового отделения дошли за десять минут. Дарья за барьером была одна. На просьбу назвать адрес Слуцкого поначалу не соглашалась, но, взяв с парней слово, что они не причинят Богдану Самуиловичу ничего плохого, сообщила, предупредив, чтобы на нее не ссылались.

Профессор жил неподалеку. Дверь открыл сам. Недоверчиво оглядев непрошенных гостей, требовательно спросил:

– С чем пожаловали, молодые люди?

– У нас к вам дело, Богдан Самуилович. Но дело особое, и не хотелось бы о нем разговаривать перед дверью, – вкрадчиво произнес Сергей.

– Ах да, простите! Проходите! – широким жестом пригласил профессор. – Живу один, на беспорядок не обращайтесь внимания. Присаживайтесь. Я вас слушаю.

Сев на старый, скрипучий, обшитый кожей, уже местами потёртой, диван, Сергей начал:

– Уж извините, Богдан Самуилович, я без предисловий, с вашего позволения...

– Валяйте. И попроще, не люблю я этого... «с вашего позволения». С чем пришли, молодые люди?

– Нам нужен Лесковский!

– Вот как? – удивился профессор. – Но у меня его нет!

– Да, конечно, – стушевался Сергей. – Нам известно, что вы с ним знакомы. Как он выглядит?

– Зачем вам этот подонок понадобился?

– Сказать не могу, но, поверьте, не чай с ним распивать.

– Верю, потому что говор у вас, молодой человек, московский. Я-то знаю... – усмехнулся профессор. – А ты чего молчишь? – обернулся он к все так же стоявшему у двери Федору.

– А что говорить? Товарищ все сказал. Нам бы описание его... Каков он из себя?

– О! – поднял победно перст Богдан Самуилович. – А вы, мой молчаливый друг, из-за Урала, откуда-нибудь из Кемерово или Новосибирска. Так?

– Точно. Сибиряк я... из-под Новосибирска...

– Меня, брат, не проведешь. По говору любого определю, откуда он, – повеселел профессор. – А просьбу я вашу не забыл. Ну-ка, сибиряк, подай вон тот альбом, на шкафу.

Пролистнув несколько страниц, вытащил фотографию.

– Мы здесь после конференции. Год 1940-й. Лесковский – вот он, слева пятый. Жучара еще тот был. А сейчас... С точностью утверждать не берусь, но поговаривают, что он приложил руку к расстрелу преподавателей университета в 1941 году, вернее, к составлению списков. Такой, как он, мог.

Внимательно взглядевшись в лицо, запоминая, Федор спросил:

– Вы не могли бы нам ее дать? Очень нужно.

– Дам, коли нужно.

Профессор подошел к окну, взял с подоконника ножницы и осторожно разрезал ими фотографию. Подал только то, что от нее осталось.

– Вот Лесковский. Остальные же вам не нужны? Так? Вы парни хорошие, но осторожность не помешает, – произнес Богдан Самуилович многозначительно. – А теперь предлагаю чайку за знакомство. Спиртного нет, а чай хороший, травяной, сам летом собирал и сушил.

Вечером Олег, как и обещал, вернулся. Рассказал, как он добирался до бывшей усадьбы пана Збыховца – генерала от кавалерии польской армии, ныне приспособленной под сверхсекретный объект.

– Дошел только до первой линии охранения. Два ряда колючки, между ними несколько линий проволоки, видимо, сигнализация. За колючкой дорога. Патруль на автомобиле, причем, судя по наезженным колеям, контроль осуществляется часто. С какой периодичностью, выяснять не стал. Но линию преодолеть можно...

– По воздуху! – встрял в рассказ Сергей.

– Почти, – неожиданно согласился Самойлов. – Деревья там не вырубили, и некоторые стоят очень близко к защитной полосе. Это еще не все: за дорогой я видел таблички: «Осторожно! Мины!» Или пугают, или на самом деле минное поле, издалека этого не увидеть. Проверить можно только на месте. И это только первая защитная полоса, а что на второй, на третьей... один бог знает. Короче: идти к лаборатории через систему охраны – значит обречь порученное дело на провал!

– Так что же делать?

– Думать! Искать новые варианты проникновения в усадьбу.

– А мы тут без тебя кое-что предприняли, – начал издалека Сергей.

– Что именно? – насторожился Олег.

– Ну, например, достали фотографию Лесковского и теперь знаем, как он выглядит.

– Что достали? – не поверил Самойлов. – Фотографию? Каким образом?

Помявшись, Сергей рассказал об опере и об их посещении профессора Слуцкого. На удивление, Олег на самостоятельность товарищей никак не отреагировал. Лишь в конце спросил:

– Во сколько начало спектакля?

– В семь вечера. Но есть затруднения, – поддержал разговор Федор. – Во-первых, это уже после объявления комендантского часа, а во-вторых, билетов на премьеру в кассах театра нет, мы узнавали. Кассирша сказала, что посещение премьеры по приглашительным.

– Ясно. Придется подключать Прохорова или, в крайнем случае, поднапрячь Артура, но два билета – для меня и для Серого – надо добыть во что бы то ни стало!

– Почему два? А как же я?! – возмутился Федор.

– А тебе завтра цыганка нагадала дальнюю дорогу... Ты что, забыл? – усмехнулся Сергей. – Выход в эфир в четыре часа.

– К семи я вернусь, – заверил Федор, на что Самойлов безапелляционно заявил:

– В театр идем вдвоем! Ты же, Медведь, обеспечь мне передачу информации по лаборатории и Арсению Лесковскому. Напоминаю: в радиogramме координаты объекта! Понял?

– Да понял я, – обиженно произнес Федор и отвернулся.

– Видно, не понял, – в раздражении повысил голос Самойлов. – Две группы ребят за эти координаты головы свои сложили! Да важнее дела для нас на данный момент нет! Лесковский – это дело десятое! Ты вот о чем подумай – как передавать будешь. Информации много... Текст утром напишешь, зашифруешь. Продумал, где садиться на поезд будешь?

Федор кивнул.

– И учти, – продолжал Самойлов, – это придется тебе делать днем. Увидит кто случайно – беда!

– Я все продумал, – заверил Федор.

V. Сюрприз для Эриха Энгельса

1

Ближе к рассвету Федор перенёс рацию к железной дороге и спрятал в полуразрушенной будке обходчика. Сам же укрылся от пронизывающего ледяного ветра неподалеку, в зияющем дырами пустом полувагоне.

Отсюда было хорошо видно и будку, и основной путь, по которому выводили сформированный состав из сортировки на магистраль. Именно здесь наметил Федор посадку в вагон. Путь делал изгиб, и машинисты всегда притормаживали на этом участке дороги. В каком направлении пойдет состав, Федору было не важно. Главное, быстро передать зашифрованный текст и получить ответ до того, как немцы запеленгуют и начнут принимать меры по его поимке.

В том, что все получится, как задумал, у Федора сомнений не было. Одно смущало: а ну как ответа из центра придется долго ждать... Что тогда?

День показался Федору вечностью. Минуты тянулись, испытывая его терпение. Он часто поглядывал на часы: уж не стоят ли? Но нет. Время текло своим чередом, медленно приближаясь к трем часам дня. Уже два вновь сформированных состава вышли из сортировки. Наконец, оказался и его.

Федор перебежал к будке, затянул ремни на ранце, в котором помещалась рация, и приготовился. Прошел паровоз, в окне которого он увидел мелькнувшую каску немецкого солдата, видимо, сопровождавшего машиниста поезда. Теперь его уже не из паровоза, не из последнего вагона не могли видеть из-за изгиба железнодорожных путей. Он пропустил несколько вагонов, гружённых лесом, промелькнула теплушка караула, еще два вагона с лесом, а вот и открытая платформа, на которой закреплен растяжками автокран. Федор метнулся к вагону, зацепился руками за бортик и перекинул тело на платформу. Оглядевшись, не нашел ничего лучшего, как залезть в кабину автокрана. Из четырех только одно стекло было целым, остальные проемы закрыты кусками фанеры.

«Не у деда на печи, а все-таки лучше, чем на холоде!»

Федор вытянул из-за спины ранец с радиостанцией, прикинул, где можно понадежнее закрепить антенну, и стал ждать времени выхода в эфир.

Между тем состав прошел последнюю выпускную стрелку и вышел на магистральный путь. На пригородной станции состав на несколько минут остановился и пошел, отклоняясь влево. «На Варшаву! – определил направление Федор. – Это даже лучше: по пути меньше станций и больше леса...»

Когда Федор начал передачу, поезд отошел от Львова на пятнадцать километров, а когда окончил – промелькнул указательный столбик с числом «24». Но это бы и ничего, не столь далеко от города, но спрыгивать с состава нельзя, хотя железнодорожное полотно проложено через лес, но деревья вырублены справа и слева метров на сто – сто пятьдесят. Только через шесть километров, проходя небольшую станцию, поезд замедлил движение. Выбрав момент, Федор спрыгнул с платформы и тут же юркнул, насколько позволила его массивная фигура, под вагон рядом стоявшего поезда. Затаился. Огляделся. Тихо. Хотя нет. Справа, а через минуту и слева протопали немецкие сапоги. Федор прижался к колёсной паре. «Вот это влип! – лихорадочно забила мысль. – Военный состав и, судя по сжатым пружинам и выпрямившимся рессорам, с тяжелой техникой: пушками или танками! Как я смог незаметно закатиться под вагон? Видимо, часовые отвлеклись на проходящий состав. Что же делать? Ждать? Конечно, ждать! Часовых снимут перед отходом поезда... тогда можно будет попытаться выбраться из-под вагона, но на это у меня будет несколько секунд. А дальше что? Где укрыться?»

Минут через двадцать на параллельном пути остановился поезд, и тут же тронулся тот, под вагоном которого прятался Федор. Размышлять было некогда. Федор выкатился из-под вагона и шмыгнул под рядом стоящий. Его спасло лишь то, что в сгущающихся сумерках он слился с тенями, колеблющимися от раскачивающихся фонарей перрона, на котором стояли десятка два пассажиров, в том числе и в военной форме.

«Война! А тут как в мирное время: “Граждане пассажиры! Поезд Варшава – Львов прибывает на первый путь!” – с раздражением подумал Федор и от досады, что так влип, сплюнул. – А ведь явно ожидают пассажирского. Может, рискнуть? Рацию засекли и, конечно же, поняли, что передача велась в движении. Меня будут искать в тридцати-сорока километрах от Львова, а я наоборот – навстречу».

Осталось дожидаться поезда... и он не заставил себя ждать.

Федор незаметно приблизился к составу, подтянулся и встал на сцепку между вагонами, затем, упершись одной ногой в буфер, другую поставил на выступающую скобу и лямкой от ранца с рацией зацепился за выступающий крюк. Он проделал все это быстро, заученно, так как вагон был трофейным, а будучи пацаном, Федор не единожды совершал подобным образом поездки от станции к станции. Да и не он один: ведь дуплинские и чулымские мальчишки выросли на железной дороге, и детские игры прошли у них между штабелями шпал, укладками рельсов, на стоявшем в тупике снегоочистителе.

Через минуту поезд тронулся. Зябко! Ветер донимает, но душа поет. «Пусть теперь оберст Энгельс меня поищет! Уж во Львове-то я не попадусь!»

2

Антон Васильевич Прохоров пригласительные на премьеру достал. Ему, известному хирургу, начальник госпиталя майор Хорст отказать не мог. Но вместо Алексея с Дарьей по пригласительным прошли два немецких офицера: капитан Рихард Базель и обер-лейтенант Иохим Шток. Места оказались не ахти какие, но больше половины зала им было хорошо видно.

– Может, пройдемся по фойе, посмотрим на публику? – предложил Сергей, но Олег был против.

– В антракте прогуляемся, а сейчас внимательно смотри на ложи. В одной из них он будет.

Зал заполнялся быстро. Последними заняли ложи хозяева города: губернатор Львова Владимир Кубийович, губернатор Галиции Отто Вахер, старшие офицеры корпуса во главе с генерал-лейтенантом Зегелем, в одиночестве сидел полковник гестапо Эрих Энгельс, хотя ложа была рассчитана на четырех зрителей, еще какие-то чины, и в ложе, находившейся почти у самой сцены, среди группы военных Сергей увидел Лесковского. Тот разговаривал с рядом сидевшим майором гестапо, видимо, Шредером. Как отметил для себя Сергей, Арсений Лесковский с 1940 года несколько не изменился, разве что лицо чуть заплыло: то ли от попок, то ли от чрезмерного труда... Он хотел было обратить внимание Олега на Лесковского, но тот кивнул: мол, сам вижу.

Ровно в семь в зале притушили свет. За пюпитром появился дирижёр, раскланялся под аплодисменты и взмахнул дирижёрской палочкой. Спектакль начался. Как показалось Игорю, увертюра по времени была затянутой, музыка сумбурной, скрипки не пели, а выли. Наконец занавес

открылся, и показались солисты, одетые в причудливые средневековые костюмы викингов-завоевателей. Но Самойлов оперу не слушал, все его внимание было приковано к ложе Энгельса, в которую вошел офицер. Что-то сказал. После чего полковник, буквально подскочив с кресла, выскочил из ложи. Следом, уже из зала, поднялись несколько офицеров и тоже спешно вышли.

– Никак что-то случилось... – послышался шепот сидящих сзади. – Просто так Эрих спектакль не покинет. Что-то серьезное.

Олег и Сергей переглянулись.

«Уж не по душу ли Федора такой переполох?»

Олег посмотрел на светящиеся стрелки часов. «Без двадцати восемь! Если эта суматоха из-за передатчика, то поздно хватились! Прошло больше трех часов. За это время можно было далеко уйти».

Но все равно на душе стало как-то беспокойно.

С трудом Олег просидел до антракта. С последним тактом музыки он поднялся, чтобы выйти. Но следом за ним стали подниматься остальные зрители и аплодировать артистам.

«Засветился! – с досадой на себя, на свой опрометчивый поступок, скривил лицо Самойлов. – Теперь, поди, не один зритель из зала обратил внимание на любителя оперы!»

Зрители не спеша выходили из зала, обсуждая первый акт. Олег с Сергеем тоже обменялись несколькими фразами по поводу сюжета, задуманного автором, а сами выискивали взглядами Лесковского. Очень скоро нашли его. Он стоял под развесистой пальмой в деревянной кадучке и о чем-то громко разговаривал с пожилой парой, притом отчаянно жестикулируя.

– Я в Венской опере уже слышал это произведение Вагнера. О! Это было великолепно! Как пел Вайзер! Вы бы слышали!..

Увидев проходивших мимо немецких офицеров, в одном из которых признал первым поднявшегося в зале с аплодисментами, оставил собеседников и с улыбкой обратился на немецком:

– Прошу прощения, господа офицеры, за некоторую бесцеремонность, но я хотел бы позжать вашу руку, господин капитан! Вы чувствуете Вагнера, как и я, всем сердцем! Вагнер для меня – это всё!

Олегу ничего не оставалось, как позжать протянутую руку.

– Прошу прощения, не представился, – показал зубы Лесковский, – Отто Шнайдер, инженер.

– Капитан Рихард Базель, – в свою очередь, представился Олег. – Я краем уха услышал ваш рассказ про Венскую оперу. Вы бывали в Вене?

– Да, и бывал, и посчастливилось послушать великого тенора Иохима Вайзера. А вы бывали в Вене?

– Увы, не пришлось...

– Но вам исключительно повезло. Ровно через неделю Венская опера дает спектакль здесь, во Львове, и Вайзер тоже приедет. Но об этом еще никто не знает. Вы первый, – понизив голос до шепота, доверительно сообщил Лесковский.

– Я благодарен вам, господин Шнайдер. Обязательно буду!

– И я тоже, во что бы то ни стало, ведь его послушать... и можно умереть! – с пафосом закончил Лесковский и, извинившись, вернулся к пожилой паре.

Чуть отойдя, Сергей спросил Олега:

– Так это что, не Лесковский? Какой-то Отто Шнайдер!..

– Маскируется, – успокоил его Олег. – Пойдем в буфет, в туалет... может, удастся заглянуть в служебный проход, вон за ту дверь, – кивнул Самойлов. – Если его брать, то только в театре.

На удивление, когда Олег и Сергей вернулись в дом на Фридрихштрассе, Федор уже был на месте. После крепких рукопожатий Олег в нетерпении спросил:

– Как прошло? Рассказывай...

– Зря меня в театр не взяли... Я же сказал, что успею, – хитро завел глаза вверх Федор и, не выдержав, рассмеялся. – Парни, а ведь я фашистам свинью подложил! Они-то думают, что я на поезде еду от Львова, а я поездом вернулся во Львов! Да каким еще поездом, – поднял он указательный палец вверх, – пассажирским!

– Ну хватит, не томи! Рассказывай!

Федор подробно рассказал о своем «приключении», как он его назвал, а в конце рассказа сообщил:

– На выполнение задачи нам дали еще десять дней... Четвертого января по указанным координатам будет нанесён авиаудар. После чего с Лесковским ли или без него нам приказано возвращаться... самолетом. Площадку для посадки мы должны выбрать сами... Разработать систему сигнальных огней, ну и все как учили: направление ветра, время... Вот такие дела...

– В лабораторию нам не проникнуть, документов тоже не добыть, а вот Лесковского взять можно. Над этим отведенные нам дни и будем работать.

3

Утром Олег у почтового отделения встретил Дашу, которая сообщила ему, что какой-то немецкий офицер просил передать привет Старому и назначил ему встречу завтра в обеденный перерыв.

– Сказал, что место встречи он, то есть Старый, знает. А вы чего с квартиры съехали? Случилось чего? Я пришла вчера вечером, а вас нет...

– Ничего не случилось, – поспешил успокоить ее Олег. – Знаешь такую поговорку: «Подальше положишь, поближе возьмёшь»? Батка Махно никогда не проводил в одной избе две ночи, а избу выбирал самую плохонькую... Вот и мы: жили на одном месте – перебрались в другое. Не говорю куда, потому что скоро съедем и оттуда. А ты всегда на одном месте, в почтовом отделении мы тебя и найдем, если нужно будет.

В назначенное время капитан Рихард Базель сидел в офицерской столовой и с аппетитом уплетал шницель с жареным картофелем. Рядом парил стакан с кофе. Таким его увидел Артур Берг и подивился выдержке своего друга детства.

Усевшись напротив, вместо приветствия сказал:

– Оберст Энгельс рвёт и мечет – второй выход в эфир, а поймали лишь воздух! Приходится только удивляться и восхищаться твоими ребятами! И как вам это удалось? Ведь вы были в театре. Я вас там видел, но не стал подходить...

– И правильно сделал. Ты бы заказал чего-нибудь... – предложил Олег. И когда подошедшей официантке заказ был сделан, тихонько спросил: – Ты чего меня позвал?

- Проститься...
- Как?!
- Меня переводят в Берлин. Дядя добился... – как бы оправдываясь, произнес Артур. – В абвер, в разведку, к адмиралу Канарису под крыло.
- Поздравляю...
- Особо не с чем меня поздравлять. Как намекнул дядя, служить я буду в главном управлении. Так что вряд ли еще увидимся. Ты побереги себя. Несмотря на то что мы по разные стороны, я рад был тебя видеть и рад, если чем-то помог. Поверь, я не в восторге от того, что творится вокруг...
- И ты береги себя, Артур. Жаль, так и не пришлось выпить за встречу...
- Прости, но я уйду по-английски, не прощаясь. А ты отмени заказ, – попросил Артур, встал и стремительно вышел из обеденного зала.

VI. Венская опера

1

За неделю надо было успеть сделать многое. Во-первых, добыть легковую машину и пропуск на нее, чтобы выехать из города. После выхода в эфир Федора службу на въездных контрольно-пропускных пунктах усилили, поэтому нужно было заполучить не только пропуск на машину, но и на четверых человек: троих офицеров и гражданского. Во-вторых, после похищения необходимо было обеспечить отход, переезд на место посадки самолета, а значит, не позднее чем за сутки дать координаты квадрата полевого аэродрома и размещение сигнальных посадочных огней: найти место, а самое главное, дело вроде бы и простое, и прозаическое, но в данных условиях и необходимое, и опасное – найти дров для сигнальных костров, бензин или керосин для их розжига и понять, кто их зажжет в нужное время. Где взять помощников? А как выйти в эфир еще раз? Вопросы... Вопросы... Вопросы...

«Если бы был Артур, он мог бы помочь с пропусками, но его нет, – ломал голову Олег над проблемами. – Привлечь к операции Дашу и Василия? Но полковник Воскресенский приказал их использовать только в крайнем случае... А сейчас не крайний?!»

– Парни, а почему бы нам не задействовать в операции Мирона Студенца с сыновьями? – предложил Федор. – Он бы и с площадкой помог, и с топливом для костров.

– Рискованно, – покачал головой Сергей. – Полицаи, они и в Африке полицаи... Да и до Мирона, считай, километров семьдесят, а дороги? Нет! Не вариант!

– Другого я не вижу... Надо попробовать, – настаивал Федор. – Отыскать хутор для меня не проблема. А кроме того, по пути найду место выхода в эфир... Эту задачу тоже надо решать... Ну что, Старый, используем Мирона?

– Ничего другого не остается... Попробуем. Ты, Медведь, завтра же отправляешься на хутор, рацию берешь с собой. После того как определишься с посадочной площадкой и будешь уверен в Мироне и его сыновьях, ищи место и выходи в эфир. После передачи координат рацию можно уничтожить: найди место и утопи. С собой не бери, не рискуй! – строго предупредил Самойлов. – Учти, что тебя запеленгуют. Продумай пути отхода с места передачи. Оружие применяй в крайнем случае. Нам

шум не нужен. Время посадки самолета – четыре утра. К этому времени, я надеюсь, мы с Лесковским управимся. Во Львов не возвращайся. Останешься на хуторе: и за помощниками присмотришь, и обеспечишь посадочную полосу.

– Все хорошо, только не очень... Вы как хутор без меня найдете? – усмехнулся Федор. – Тем более ночью, с пленником... Если с машиной будет порядок, то вы до какого места поедете? Нет, парни, так дела не делаются. Решив все вопросы, я возвращаюсь во Львов! – заявил он категорично.

Поразмыслив, Олег согласился.

– Только так: не спеши, у тебя четыре дня. Ждем тебя ночью в пятницу. В субботу идем на Венскую оперу... и завершаем операцию.

– Я вот что думаю, – с бесенятами в глазах, вкрадчиво произнес Сергей. – Только на одной машине можно свободно передвигаться во все стороны без досмотра... Это на легковушке оберста Эриха Энгельса! Машину начальника львовского гестапо никто не остановит, тем более не проверит. Вот её и надо добывать.

– Это безумие! – воскликнул Федор.

После воцарившейся тишины и длительной паузы первым голос подал Олег:

– Я бы так не сказал. Авантюра! Согласен! Но не безумие. Думаю, что такой любитель оперы, как Энгельс, спектакль венских солистов не пропустит. Значит, надо брать автомобиль у оперного театра. Позже решим, как это сделать.

– Слишком много поставлено на случай, – покачал головой Федор. – Страховки нет ни по одной позиции: ни с отходом из театра, ни с автомобилем, ни с похищением Лесковского. Даже с самолетом мы действуем без подстраховки – а вдруг непогода и вылет отменят? Как мы это узнаем, если рацию я утоплю?

– Вот заладил... «если, если»! Да все будет нормально, – отмахнулся Сергей.

– Вообще-то Медведь прав, – кивнул Олег. – Быть уверенными на все сто мы не можем. До сих пор нам везло. Но все до поры до времени. Вот что: твоя, Медведь, поездка на хутор остается в силе, только ты рацию припрядь где-нибудь. Так, на всякий случай. А мы здесь с Серым, пока тебя не будет, покумекаем насчет других вариантов.

2

– Привет, земляк!

Федор вывернулся на дорогу из-под лошадиной морды, испугав кобылу. Та встала, задрала голову, заржала.

– Тю, оглашенный! Кого там нелегкая принесла! – донесся возмущенный голос возницы.

– Так то я, батька Мирон!

Федор, широко улыбаясь, протянул руку.

– Здорово. Не признал?

Пожимая руку Федору, Мирон Студенец тоже расплылся в улыбке.

– Как же не признать, признал. Ты один такой на всю округу. Медведь, да и только. Почто пожаловал? А где твои товарищи?

– Много будешь знать, скоро состаришься, – отшутился Федор. – Ты, никак, на хутор?

– Да, возвращаюсь. А тебе на что?

– Интересуюсь, батька Мирон. Хочу с тобой прокатиться. Не сгонишь с телеги?

– Садись.

Проехав с полкилометра, Федор скомандовал:

– Давай-ка, дядька Мирон, правь к тем березам, поговорим.

– А здесь чем не разговор? – насторожился возница.

– Ты правь, правь... – настоял на своем Федор и, когда Мирон остановился в указанном месте, продолжил: – Ты скажи мне, Мирон Студенец, тебе верить можно?

– Ты, парень, не темни. Я вам в прошлый раз помог, помогу и сейчас. Говори, что нужно.

– В прошлый раз ты сам за себя... а сегодня и твои хлопцы понадобятся... Не бойся за них, им стрелять не придется... Но ты можешь поручиться за них?

– Как за самого себя! Это же мои дети!

– Хорошо, верю. Но если что не так... ты сам понимаешь...

– Говори!

Помявшись и немного поразмыслив, Федор пояснил:

– Мы закончили свои дела здесь и должны вернуться к своим. За нами прилетит самолет. Но ему где-то нужно сесть. Вся надежда на тебя: ты же местный и можешь указать нужную площадку.

– Проще простого. Перед войной под Дрогобыч не раз залетали немецкие самолеты. Как бы ошибались и садились на одно и то же поле. Ровное, открытое, грунт твердый, ведь сейчас зима. Я покажу... Ты скажи, сыновья-то зачем?

– Самолет будет садиться ночью...

– Нужны посадочные костры, – догадался Мирон.

– Да. И зажечься они должны в определенное время и в определенном порядке... Кроме того, нужен керосин или бензин, чтобы без осечек...

– Керосин есть. Сухих дров для костров наготовим, на лошадке прямо с хутора привезем. Что еще?

– Все, батька Мирон. До твоего хутора еще километра два... Ты поезжай, а я тебя здесь подожду. Отведешь на взлетное поле.

– Может, на лошади? – предложил Мирон, – Километров пять-шесть до места...

– Нет. Пойдем пешком!

Поле и правда оказалось ровным, открытым с трех сторон, лишь с северной стороны его подпирал лес. В полукилометре, судя по линейке стройных пирамидальных тополей, проходила дорога.

– А это что за автострада? – пошутил Федор.

– Да какая там автострада... Так, дорога плохонькая... но не разбитая. До Процовки идет. Это деревенька в десяток домов... Там до войны сахарный завод стоял, вот по этой дороге сахарную свеклу и возили. А теперь от сахзавода одни развалины...

– А куда дорога выходит?

– Так к железнодорожному полотну... Там переезд заброшенный, но переехать рельсы можно, шпалы не сгнили, держат, а дальше немного лесом – и можно выехать на дорогу, что во Львов ведет. Как раз километров за пять до Дрогобыча.

– Ты вот что, Мирон, возвращайся. Сыновьям пока не говори. Сообщим в последнюю минуту. Я останусь здесь. Завтра появлюсь на хуторе. Женщинам скажешь, что я – посыльный от хозяина, пришел по делу.

В субботу ближе к вечеру с сыновьями поедешь на поле. Как разложить костры и во сколько поджечь, я скажу. Делать все будете без меня.

– У меня часов нет, – замялся Мирон.

– Свои оставлю. Ты только, батька Мирон, не подведи!

– Чего там, все сделаю, – заверил Студенец. – А что делать, коли самолет сядет, а вас нет?

– Пусть ждут час и улетают.

– А вы?

– Если мы не появимся в нужное время, значит, нас нет в живых. Все, батька, до завтра, – попрощался Федор и направился к нитке тополей. Дорога была не ахти какой, не накатанной, но без ям, а это было самым главным. Федор уже прикидывал, как он по ней поведет машину в ночное время. Вот и переезд. Не зная, его не найдешь. Федор огляделся, запоминая ориентиры, которые можно будет увидеть ночью. Лесной дорогой прошел до трассы. Приноровился к съезду: крутоват, но спуститься можно. Вот только как найти его? Все заросло кустарником.

«А может, кустарник и неплохо? Сдержит машину при спуске...» – прикинул Федор и, увидев бревно, приволок его к дороге и уложил комлем на обочину. Отошел. Оценил. Прикинул... и остался доволен. Теперь можно давать радиограмму. Вот только откуда?

Федор вернулся на дорогу, ведущую к хутору, и по еле заметной тропе пошел в сторону Дрогобыча. В потаенном месте его дожидался ранец с радиостанцией. Можно было бы выйти в эфир и отсюда, но этим маршрутом Федор наметил вернуться во Львов, и пробивать другой не хотелось, да и времени уже на это не оставалось.

«Что же, облегчим работу пеленгаторам... Прямо из Дрогобыча в эфир и выйду», – решил Федор и зашагал в сторону города.

Очень быстро нашел брошенный дом, растянул антенну и вышел на экстренной волне в эфир. Москва отозвалась тут же, словно только его и ждали. Федор передал информацию и остался на приеме. Ответ не замедлил прийти: «Встречайте птичку в указанное время. Отец».

Всего две или три минуты длился сеанс, а Федор был уверен, что его засекали, но с какой точностью: до улицы, до дома? Этого он не знал. Но надо было немедленно уходить.

Он заранее прошел маршрутом отхода и потому скоро оказался на грузовой станции. «Быстро работают! – чертыхнулся он, увидев на подходах немецкие патрули. – Учли мой выход в эфир из поезда. Вот и перекрыли железную дорогу! Жаль. Теперь придется пешим ходом добираться до Львова! Но сначала надо выбраться из города...»

Решение пришло неожиданно: неподалеку от парадного подъезда двухэтажного дома, где нашел укрытие Федор, остановился мотоциклист, судя по нагрудной бляхе – военно-полевая полиция. Каким ветром занесло его сюда – одному богу известно. Мотоциклист склонился над заглохшим двигателем, каска сползла ему на лоб, закрыв обзор... Нескольких секунд хватило Федору, чтобы приблизиться к мотоциклисту и нанести удар. Хрюкнув, полицейский начал заваливаться на сторону, увлекая за собой мотоцикл. Федор перехватил руль и, полуобняв обмякшее тело, покатил за дом. Вернулся в парадное, посмотрел, не увидел ли кто нападения, постоял для верности минут пять и не спеша прошел за дом. Мотоциклиста он перетащил под лестницу того же парадного подъезда, раздел и начал переодеваться сам. Вещи были ему малы. Федор поверх пальто натянул прорезиненную накидку, которую перехватил поясом, повесил на шею бляху, на плечо автомат, нацепил каску и очки.

«И так сойдет! – решил он. – Еще полчаса, и станет совсем темно...»

Внимательно изучив документы, как оказалось, фельдфебеля полевой жандармерии 31-й пехотной дивизии Франца Зегеля, Федор решил, что показывать их никому не будет. Осталось дело за мотоциклом. Проверив топливо, он прошелся по проводам, подходящим к свечам зажигания двигателя, проверил тросик газа и резко надавил на педаль запуска. Мотор, словно испугавшись, чихнул, выбросив клубок едкого дыма, и затарахтел...

Сев в седло, Федор примерился, как будет стрелять на ходу из автомата, и не спеша выехал на дорогу. Поддав газу, он рванул по центральной улице, обогнав несколько автомашин с солдатами. Видимо, немцы уже приступили к операции по перехвату радиста, так как несколько улиц, в том числе и та, где стоял дом, из которого он вел передачу, были окружены. На странную фигуру, горой возвышающуюся на мотоцикле, за плечами которой аляповато смотрелся большой плоский ранец, никто не обращал внимания. Слишком много озабоченных солдат и офицеров оказалось на улицах небольшого тихого городка. Только на самом выезде из города на контрольно-пропускном пункте его попытались остановить, но он лишь махнул рукой... Стрелять по нему не стали, посчитав, что полицейский выполняет какое-то срочное задание.

Через пару километров Федор включил фару и снизил скорость.

«Хорошо бы вот так, с ветерком, до самого Львова!»

Но осторожность прежде всего: свернув с дороги, он углубился в лес. Найдя вывороченное с корнем дерево, Федор закатил под него мотоцикл и там же припрятал рацию и автомат.

«Мотоциклиста так близко от города искать не будут», – решил он.

Поначалу двигался вдоль дороги, но как только увидел высаживающихся из автомобиля солдат, углубился в лес.

Оберст Эрих Энгельс был вне себя. За десять дней третий выход в эфир вражеской радиостанции. Всякий раз место выхода засекала служба контроля с точностью до пятидесяти-семидесяти метров, но облавы ничего не давали. Радист уходил безнаказанно от патрулей, облав, заслонов, потайных застав... Сегодня он вышел из центра города Дрогобыч. Оберст, позвонив в Берлин, задействовал в поисковых мероприятиях полк 31-й пехотной дивизии, оказавшийся на станции Дрогобыч. Из Львова в Дрогобыч срочно были направлены опытнишие агенты гестапо, комендантская рота, наконец, он приехал сам. Прочесывание квартала, откуда велась передача, ничего не дало. Вскоре последовал доклад: в подъезде одного из домов найдено тело фельдфебеля Франца Зегеля, отправленного командиром полка на станцию. Странно, но фельдфебель был раздет до нижнего белья.

– Немедленно выясните, кто покидал город в ближайшие два часа, без учета машин с патрулем! – распорядился оберст Энгельс. Каково же было негодование гестаповца, когда ему доложили, что контрольно-пропускной пункт проехал на большой скорости мотоциклист. На требование патруля не остановился.

– Это он! – взревел Энгельс. – Весь патруль отдать под суд. Связь мне со Львовом! – И когда испуганный радист застыл перед грозным полковником, тот прокричал в микрофон: – Это Энгельс! Всем искать мотоциклиста в форме жандарма, с документами на имя Франца Зегеля! Обо всех задержанных докладывать мне немедленно! Я возвращаюсь во Львов!

А Федор еще до рассвета был на старом еврейском кладбище, припрятал в укромном месте оружие, переоделся, сменил грязные сапоги на

ботинки и со всей осторожностью вернулся в дом на Фридрихштрассе. Доложив о проделанной работе, Федор завалился спать.

За окном уже серело, близился рассвет.

3

Долгожданная суббота. Близился вечер. Олег, Сергей и Федор, побритые, наглаженные, благоухающие одеколоном, вышли из дома, служившего им две недели надежным убежищем, в которое они уже не собирались возвращаться. Шли не спеша, минут двадцать. За это время у них, якобы фронтовиков, находящихся на излечении, дважды проверяли документы.

У проверяющего документы офицера в звании майора Олег спросил:

– Не приезжает ли кто из высших чинов? Уж больно много суеты...

– Отдыхайте, господа офицеры. Это вас не касается! – отдавая документы, майор посоветовал: – Лучше бы вам в гостинице посидеть сегодня вечером...

– Благодарю за совет, господин майор, но сегодня в театре Венская опера. Разве можно такое пропустить! В белорусских болотах такое не покажут, – улыбнулся Олег дружелюбно. Отдав честь, разведчики в немецкой офицерской форме проследовали к уже сияющему огнями оперному театру.

– Вот как! Иллюминация-то какая! – изумился в который раз Сергей. – И налетов авиации не боятся!

– Во Львове ни промышленности, ни особо важных объектов нет. Потому его и не бомбят, – пояснил Олег. – Все, парни, шутки в сторону, начинаем работать!

Федор остался на улице, зайдя за колонну, внимательно наблюдая за теми, кто приезжал на автомобилях. Лакированный черный «хорьх» полковника Эриха Энгельса неожиданно проехал парадный вход и завернул за угол театра. Федор устремился следом. Автомобиль остановился напротив служебного входа, водитель поспешил открыть дверь. До Федора донеслось:

– Через час... Не приду через час – жди!

Это водитель мог ждать, а Федор нет. Потому, как только за начальником львовского гестапо закрылась дверь служебного входа, Федор выступил из темноты.

– Стоять! – приказал он твердо. – Предъявите документы...

– Какие документы? – водитель от подобной наглости оторопел, судя по петлицам, не рядовой, но в гестаповских званиях Федор был не силен. – Ты, лейтенант, знаешь, чья это машина?

– Знаю, – спокойно ответил Федор и ребром ладони ударил по горлу водителя, как учил его тренер по джиу-джитсу. Подхватив захлебывающегося собственной кровью гестаповца, недовольно бросил: – Но-но! Ты мне так всю форму испачкаешь... – и для верности ударил кулаком сверху по голове. Водитель затих. – Так-то лучше...

Усадив гестаповца на заднее сиденье, поспешил в театр. Пройдя в раздевалку, нашел глазами товарищей и кивнул.

В вестибюле все было чинно и благородно: ни тебе шума, ни толкотни, ни суеты... Заядлые театралы, несмотря на войну, относились к посещению театра как к празднику и вели себя соответственно. Любителей оперы в военной форме было немного, во всяком случае, намного меньше,

чем на опере Вагнера неделю назад. Лесковский в сопровождении майора гестапо Шредера появился перед первым звонком. Увидев знакомое лицо, улыбаясь, подошел:

– Мечты сбываются, господин капитан!

– Благодаря вам, господин Шнайдер.

– Зачем так официально? Можно просто Отто, – рассмеялся Лесковский. – Господа офицеры, разрешите представить моего большого друга и мою тень... майор Шредер. Он хотя и не большой любитель оперы, но театральные буфеты обожает, – пошутил Арсений Лесковский. – Кстати, еще есть время, предлагаю посетить это богоугодное место.

По широкой мраморной лестнице спустились в полуподвал, где расположился театральные буфет. Заказали по коньяку и чашке кофе.

– Кофе паршивенький, – скривился Лесковский, – а вот коньяк хорош, французский.

За разговорами об опере и оперных певцах время пролетело незаметно. Прозвучал третий звонок.

Уже несколько разомлевший от выпитого, Лесковский предложил:

– У нас ложа на четверых, а мы вдвоем... Приглашаю, – и, обернувшись к майору Шредеру, спросил: – Ты же не против, Вилли?

Майор, молчавший все это время, лишь кивнул.

– Вот и хорошо!

Поднимаясь из полуподвала в фойе, Лесковский заметил табличку над дверью с надписью «Служебный вход. Только для работников театра». Остановился и, ткнув пальцем в дверь, сказал:

– В антракте обязательно зайдём, поприветствуем артистов...

– А зачем ждать антракта, – неожиданно подхватил Олег, – зайдём сейчас, а после окончания спектакля с коньячком заглянем, поблагодарим...

– Так времени мало, – возразил было Лесковский, но Олег, он же капитан Рихард Базель, смело толкнул дверь. – Успеём!

Взорам открылся узкий коридор с дверями с одной и другой стороны. Некоторые были закрыты, а из некоторых выбегали работники театра: костюмеры, гримеры... Суэта!

Сергей, шедший впереди, приоткрыл дверь одной из гримерок и, обернувшись, радостно воскликнул:

– Хозяин на месте, входим!

Вошел первым и встал справа от входа. Следом за ним в маленькую гримёрную прошли Олег и Лесковский. Последним был Шредер. И как только он переступил порог, Сергей нанес сокрушительный удар по бритому затылку гестаповского майора. Когда же Лесковский никого не увидел на стуле перед гримерным столиком, а в зеркале, перед которым актеры гримировались, отразились лишь два офицера, он насторожился и, мигом протрезвев, вытаращил глаза.

– Господа, что происходит? – завопил он, но тут же поперхнулся на полуслове. Стоявший рядом с ним Олег легонько ткнул его кулаком в живот.

– Тихо! Еще хоть слово скажешь – отправишься к Господу за своим майором! – на русском языке спокойно предупредил Самойлов и, когда Лесковский отдышался, продолжил: – Будешь делать все, что я скажу, – останешься жить, Отто Шнайдер, или как тебя звали раньше – Арсений Богданович Лесковский!

От этих слов поляк дернулся, но пистолет Сергея, ствол которого был приставлен к его ребрам, заставил выбросить из головы все мысли о сопротивлении.

– Что вы от меня хотите? – также на русском спросил Лесковский.
– Сейчас мы пройдем по коридору, выйдем через служебный вход из театра и сядем в машину. Напоминаю, что только от вас зависит – будете ли вы утром пить кофе или нет...

Сергей метнулся из гримерки и через несколько минут вернулся.

– Свободно. Машина у подъезда. Вахтера и охранника на выходе я обезвредил. Можно выходить.

Оказавшись в машине, Лесковский удивленно воскликнул:

– Это же «хорьх» оберста Энгельса, начальника львовского гестапо!

– Да, мы ее у него одолжили, – улыбнулся Сергей. – Не могли же мы такого большого человека, как Арсений Лесковский, везти на грузовике.

Когда автомобиль тронулся, поляк сник, а позже спросил:

– Куда вы меня везете?

– Узнаете, когда придет время, – ответил Самойлов. – А теперь слушайте внимательно: если вдруг машину остановит патруль, вы проглатываете язык и молчите.

– Да, но у меня с собой нет документов...

– Не волнуйтесь, они у нас. Сергей, покажи, – повернул голову Олег, сидевший на переднем сиденье рядом с Федором.

– Прошу прощения, господин капитан, или как вас там... – продолжал канючить Лесковский. – На дворе зима, а мы раздеты... Если ехать далеко, замерзнем...

– Придется потерпеть, – и, повернувшись к Федору, сказал: – Выйдем за город, отдашь этому гадёнышу шинель водителя Энгельса.

Машину полковника Энгельса знали, и потому никто из патрульных не осмелился остановить ехавший на небольшой скорости автомобиль, и даже на въездном КПП, осветив автомобиль прожектором и узнав его по номерам, патрульные поспешили открыть шлагбаум и вытянуться по стойке «смирно».

– А теперь гони, Медведь! – приказал Самойлов. – Еще минут десять до антракта... Пока найдут майора Шредера, пока доложат Энгельсу, пока отдадут команды, обзвонят КПП и снарядят погоню, пройдет с полчаса. Вот эти тридцать минут у нас есть. В Дрогобыч явно позвонят и поднимут всех на ноги. Так что в город нам путь заказан.

– А нам и не нужно в город, – подал голос Федор.

– Так куда вы меня везете? – снова всполошился Лесковский. – Меня будут искать, я очень ценен для Германии! Я известный ученый! Вы знаете, чем я занимаюсь?

– Знаем! А теперь заткнись! Надоел! – сказал, словно отрезал, Сергей. – Или тебе рот твоим галстуком заткнуть?

Еще издали Федор увидел выходящий на обочину из кустарника комель дерева. За десять метров до него остановился, вышел из машины, но скоро вернулся.

– Здесь! А теперь держитесь, кто за что может, – спокойно произнес он и резко повернул руль автомобиля. Подминая кустарник, «хорьх» пополз вниз по склону обочины. Еще мгновение... и автомобиль остановился, высветив поросшую мелким кустарником просеку. – Это заброшенная дорога, проехать можно, сам ею прошел до нужного нам места.

Выключив двигатель, Федор вернулся к дороге и как мог расправил смятый машиной кустарник.

«Сразу не увидят, а коли при дневном свете найдут место съезда, то это будет уже неважно...»

Осторожно проехав переезд, Федор прибавил скорость. Дальше дорога пошла ровнее. Через полчаса водитель остановил машину и заглушил двигатель.

– Дальше пойдем пешком. С километр, не более, – пояснил Федор. – Посидим пяток минут, чтобы глаза к темноте попривыкли. Интересно, сколько сейчас времени?

– К девяти стрелка подходит...

– Ничего себе, – присвистнул Сергей. – Всего-то! За два часа управились! Ай да мы!

– Чего разахался?! – осадил Сергея Олег. – Еще надо самолета дожидаться...

– Дождемся... Прилетит, – уверенно произнес Сергей и распахнул дверцу кабины. – Ну, веди куда надо, Сусанин!

– Старый, – обратился Федор к Самойлову. – Здесь идти с километр. Я на всякий случай один наведуясь, посмотрю, что да как, и приду за вами.

Федор не спеша вылез из-за руля и исчез в темноте. Через какое-то время вернулся в сопровождении Мирона Студенца. Тот, пожав руку Самойлову, молодцевато доложил:

– Все готово: костры разложены, сыны на месте, – и несколько обмякнув, попросил: – Прости своего товарища, что с собой меня привел. Не хотел я, чтобы мою просьбу сыновья услышали. Как дело повернется, неизвестно. Чую, война будет затяжной. У старшего-то сына жена, детишки, а младший – мальчишка совсем. Богом прошу, командир, возьми Никитку с собой. Я хотя бы за одного из сыновей буду спокоен...

– А в полиции его не хватятся?

– Это дело я утрясу, – заверил Мирон.

Поразмыслив немного, Олег твердо сказал:

– Возьму! Парня пристрою...

Ровно в два часа послышался рокот двигателя. Вспыхнули костры, и самолет с первого захода пошел на посадку. Сел. Не выключая двигателя, развернулся, и только после этого открылась дверь кабины. Пересиливая шум двигателя, кто-то из экипажа крикнул:

– Самойлов, подойди! Один!

И когда Олег приблизился, летчик ручным фонариком осветил ему лицо.

– Самойлов! – произнес он уверенно. – Твой нос ни с чьим не спутаешь. Быстро грузимся и улетаем. Нам бы до рассвета линию фронта перепрыгнуть...

Уже в самолете Лесковский, не утерпев, спросил:

– Так куда же мы летим?

– Домой летим! В Москву! – был ответ.

Стихи по кругу

Андрей ТРЕМАСОВ

Нижний Новгород

Кисет

Нашел в комодке дедушкин кисет,
На нем простую надпись кто-то вышил...
Быть может, потому боец и выжил,
Что табачок оберегал от бед...

С тех пор прошло уже не мало лет,
Кисет на удивленье не порвался...
С подарком всю войну не расставался
Мой дорогой и легендарный дед...

И пусть сегодня рядом деда нет,
Медаль «За Кенигсберг» хранит кисет...

Ночные ведьмы

Парашюты остались на поле,
Ведьм ночных обессмертило небо...
Им хватило и боя, и боли,
Фляги спирта и чёрствого хлеба...

Заходили попарно на цели,
На «картоночных» аэропланах...
Ярко жили и ярко горели,
Растворяясь в рассветных туманах...

Наши лётчицы, девочки наши,
Не успев даже толком влюбиться –
Даши, Маши, Катюши, Наташи... потом
Не успев... успевали разбиться...

Парашюты оставлены поле,
Ведь не ведьмы важнее, а бомбы...
...Дальним эхом экзамены в школе,
А потом – кубари, шпалы, ромбы...

Чуть позднее – погоны, медали,
Тишина на вечерних поверках...

Ах, как ведьмы ночные летали
На фанерных своих «этажерках»...

Одуванчики прячутся в травах –
Парашютах церковей златоглавых...

Серафим

Одинокую обитель
Я увидел в смутном сне...
Серафим – Руси спаситель
Там пророчествовал мне...

Приоткрыл завесу тайны
Тысяч Судеб и дорог...
...Знайте, все мы не случайны,
Знайте, всех нас любит Бог.

Всем воздастся по заслугам
За терпение и труд...
Передайте веру внукам,
И молитвы их спасут...

Но молитв для счастья мало,
Воля – Божья, выбор – наш...
Чтобы Русь Великой стала,
После слов и пенных чаш

Каждый путь пройти обязан,
Предначертанный Судьбой...
...Я теперь виденьем связан,
Хоть и не в ладах с собой...

Награжден или наказан?
Впереди – незримый бой!

Татьяна БОБЫШЕВА

Нижний Новгород

Рябина

Осколком ранило рябину,
Что на окраине села.
Навылет, через сердцевину,
Войны отметина легла.

Рябина кроной задрожала,
Кровавой россыпью – плоды!

Но не сломилась, устояла
Пред неизбежностью беды.

Держалась в лютые морозы,
Когда казалось – сил уж нет,
И мёрзлой ягодою слёзы
Роняла горькие на снег.

Окрепла, милая, весною.
Цветёт в родимой стороне.
И лишь отверстие сквозное
Напоминает о войне.

Андрей МАКАРОВ

Нижний Новгород

Блокада

Кольцо всё сжимается туже
Безжалостной, мёртвой петлёй.
Дышать тяжелее на стуже,
Но город стоит, как герой!

Враг замер у стен Ленинграда.
Ни день и ни два выжить надо.
Круг ада – блокада, блокада!

Нет сил вновь губам шевельнуться,
И сделать глоток нету сил,
Но хочется утром проснуться –
Так мало на свете пожил!

Враг замер у стен Ленинграда,
И здесь каждый вздох, как награда.
Блок ада – блокада, блокада!

Худые ручонки как плети,
По-взрослому смотрят глаза,
Шагают по улице дети
И каждый шаг может быть за...

Враг замер у стен Ленинграда.
Пустых слов на ветер не надо!
Круг ада, блок ада – блокада!

На хрупкие детские плечи
Ложатся блокадные дни,
В них силы сгорают, как свечи,
Но пусть не погаснут огни!

Юрий СИМОНОВ*Нижний Новгород***Имя**

Моё православное имя –
Оно триедино, друзья!
Георгии были святыми,
А Юрии – наши князья!

Егоры пахали и жали,
Трудились в полях до поры...
Но если враги набегали,
Хватали свои топоры!

Навстречу бушующей буре,
Вели их на праведный бой –
С дружиною княжеской Юрий,
И в небе – Георгий святой!

Была в той эпохе былинной
Меж ними священная связь –
И были всегда триедины:
Святой, землешапец и князь!

Владимир РЕШЕТНИКОВ*Семёнов, Нижегородская область***У поэта Зиновьева**

Я опасался, что заную,
Позеленею от тоски,
Когда начнёт читать Зиновьев
Свои негромкие стихи.

Как бы не так! – И Шемшученко
Зазря такое предрекал –
Стихи ударились об стенку,
И дрогнули лампочки накал.

Как ветром распахнуло дверцу,
И звук ушёл в ночную тьму,
А я почувал, что по сердцу
Прошли стихи, по моему...

Прощаясь с ним, из дома вышел
С особым чувством новизны:
Как будто стал и неба выше,
И шире – до краёв страны!

Такси растает в дымке тусклой,
Мне несказанно повезло –
В кармане книга жжёт «Я – Русский»,
Зиновьев – подпись и число.

Обыденность

Жила-была Обыденность,
Довольная собой,
И как-то раз обиделась
На некую Любовь.

Влетела та откуда-то
Пылающим огнём,
Зажгла! Но опаскудила
Всё нежное потом...

Склонила горько голову
Обыденность, и вот:
Узрела Правду голую –
Любви сбежавшей плод.

Истерик не устроила,
И не сдала в приют.
Такая вот история –
Вдвоём теперь живут...

Ломбард

В ломбарде пыльно и спокойно,
Серёжки в два ряда лежат.
И будто временные кони
Уносят в прошлое, назад,
Туда, где золото висело
На мочках интересных дам...
Увы, за прежнее веселье
Копейки ломаной не дам –
Нужда, предательство и зависть
Дорожкой стелются сюда.
И то, что золотом казалось, –
Лежит тоскою в два ряда...

Александр КЛИНДУХОВ

Киров

Закат

Под вечер краснеет округа:
Берёзы, наш дом, мезонин,
Трава на заброшенном луге
И всё, что чернело за ним:

Ручей в одинокой ложине,
 В колоде журчащий родник
 И тропка в засохшей малине,
 Что к речке ведёт напрямик...

Такое лишь может присниться.
 От счастья застыл у ворот.
 Зачем же так жалобно птица
 В лесу одиноко поёт.

Ксения КУЗНЕЦОВА

Арзамас

СТИШОК

Маме

Грущу какой-то странною грустинкой –
 Вся жизнь – черта неравных половинок,
 А на черте не ясно ни черта,
 Как и сейчас – тоска и немота!

И глубина не слёз горячих манит
 Забросить быт налаженный и к маме
 Усталой взрослой девочкой прийти,
 Найти приют. Средь вышивки картин,
 Вместиться снова в книжное блаженство.
 И разговор затеять – тихий женский.
 И озорно вдруг выпустить смешок
 Из глубины невзгод. Читать стишок.
 И кофе пить, забыв про всё на свете.
 И детский смех живой в глазах заметить
 В том зеркале, хранящем мой анфас.
 И наблюдать – счастливых близких нас!

Ольга ЧЕБЕРЕВА

Нижний Новгород

* * *

Тихие печали
 Небеса качали.
 Спали фавны,
 Пьяны.
 Нимфы русско окали...
 И венком из хмеля в этот день венчали
 Небо синеглазое,
 Землю кареокою.
 И верней, и проще
 Нас всему учили
 В этой тихой роще,
 В этот день пчелиный.

* * *

Взгляни в это небо:
Оно для слепых.
Оно начинается прямо у ног,
Дано в осязание прямо у ног
Твоих.
Дано для дыхания прямо у рта,
Вдохни, сколько смог,
Твой вдох – высота.
И если в кармане есть медный пятак
На прозябание да босоту,
Вдыхай ты почаще вот так
Высоту.
И зачем тебе деньги?
Зачем тебе власть?
Зачем возвышаться,
Чтоб ниже лишь пасть?
Когда, пока ты босяк
У ног, у твоих
Лежит неразменная
Вся вселенная
Просто так.
Вдохни это небо:
Оно для босых.

* * *

Осугробилась зима,
Помела, смела с ума,
Снегомуть, снеговерьть-
Нахлебаться- захмелеть,
Снеговерьть- снегомуть,
Захлебнуться-утонуть.
То ли вброд, то ли вплавь.
То ли сон, то ли явь.

Лариса МАЗУР*Дзержинск***Феодосия***Посвящается М. Цветаевой*

В Феодосии осень, Марина. Как тих городок!
И листва на ріано шуршит под ногами. Ей вторя,
Омывая подножия строк (дерзких строк!),
Плещет волнами ласково теплое Черное море.

В Феодосии осень, Марина. Не спешен наш шаг.
Впереди – целый Крым. Рядом – тот, с кем (навечно?) едины.

И в руке замирает рука. И душа
Из себя вытравляет последние колкие льдины.

В Феодосии осень, Марина. Идем средь аллея,
Как и ты в свое время гуляла здесь, сердце сжигая.
Впереди – черед ясных дней без штормов и дождей.
И не это ль, Марина, прообраз внезапного рая?

Виктор КОНОПЛЕВ

Нижний Новгород

* * *

Ангел не умел летать,
отмерял ногами вёрсты.
Ангел не умел считать
ни купюры и ни звёзды.
Бескорыстно раздавал
жизни дни, часы, минуты,
расширяя ареал,
для любви торил маршруты.

Его жизнь была полна
состраданьем и смиреньем,
тихо заходил в дома
предвещая Воскресенье.
Он остывшие сердца
согревал своей душою,
закрывал уста лжеца
не крылами, а рукою.

Ангел помогал найти
каждой жизни вдохновенье,
открывал глаза, пути,
дарил веру, примиренье.
И, конечно же, он знал,
где кончается дорога,
что для всех един финал –
стать опять частицей Бога.

Из будущих книг

Владимир АЛЕЙНИКОВ

Родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ.

Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. При советской власти на Родине не издавался. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В 1980-х был известен как переводчик поэзии народов СССР. Первые книги стихов вышли в 1987 году. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки.

Награждён медалью Кирилла и Мефодия – за выдающиеся достижения в отечественной словесности (1996), медалью Циолковского – за космический масштаб его поэзии (2006). Лауреат премии имени Андрея Белого (1980), Международной Отметины имени Давида Бурлюка (2011), Буинской премии (2012).

Живёт в Коктебеле.

ЗОВ И ЗНАК

1

– Вот и пришёл к нам Владимир Алейников! Живая легенда! – так встретил меня в редакции журнала «Знамя», года двадцать четыре назад, Сергей Чупринин, главный редактор этого всем известного, толстого, ежемесячного журнала, поднимаясь в просторном своём кабинете из-за большого, массивного, поблёскивающего тёмным, отражающим заоконный свет, благородно-сдержанным лаком, загруженного сверху, но не очень, так, чтобы места достаточно оставалось, рукописями и всякими, наверняка важными и среди них – деловыми, бумагами, поражающими плотностью и белизной, отчасти гостеприимного, но очень с виду солидного, начальственного стола, решительным движением отодвигая назад удобное мягкое кресло, откидывая, как-то наискось по отношению к туловищу, свою крупную, сгустком дум взлетающую голову, закидывая, опять же – назад, наискось и за плечи, густые, довольно длинные и уже седоватые волосы, улыбаясь по-детски, радостно, поправляя очки – и устремляясь ко мне навстречу.

Пришлось отшучиваться. Хотя, если чуть призадуматься, правду ведь человек сказал. От души говорил. Ну, и на том спасибо. Такая

правда – глаза не колет. Она их – просветляет. Увлажняет скупой и достаточно горькой слезой. Проясняет – воспоминаниями о молодости, как известно, у нас – крылатой. О молодости, о свежести, о недюжинной силе. И округляет их, конечно, – если, пускай и с запозданием, но узнаёт наконец вот такой, безусловно, хороший, да и почти ровесник мой, – ну, на годок помладше, такой вот приветливый, явно настроенный на доверительный, искренний тон, да и чуть ли, вот именно, чуть ли не на дружеский, нашенский лад, солидный, приятный во всех отношениях, интересный в общении, образованный, умный, отзывчивый, очень правильный человек, – что же вот этой, пришедшей к нему, уцелевшей, – нет, выжившей чудом, и всё ещё, вот уж загадка-то, как и прежде, живой, – да, представьте, живой легенде! – пришлось испытать в минувшем.

Нам не понадобилось даже долго присматриваться друг к другу. Взаимопонимание – было. Хотя и, по старинке, с непривычки, всё ещё – удивляло.

– Если бы я был тогда, в шестьдесят пятом году, в Москве, – я был бы вместе с вами! – твёрдо сказал мне Чупринин.

Имелся в виду наш СМОГ.

– Верю. Конечно, верю! – так я ответил ему.

А почему бы и нет? Запросто мог бы он быть с нами тогда.

Всё могло быть. Вообще всё могло быть. И сейчас – всё может быть. На то она и жизнь, со всеми её поворотами и парадоксами, чтобы чему-то, ну хоть чему-то, но обязательно – быть. Потому-то и человеку – желательно быть. Нет, необходимо – быть. Сбыться. Состояться. Сказать своё слово. Сделать своё дело. Здесь, в этой жизни. А по возможности – и в той, что будет, непременно будет – потом.

Так мы сидели вдвоём – человек, основавший СМОГ, и человек который мог бы в нём быть, – и говорили. О неофициальном, не так уж давно – подпольном, запретном, гонимом – искусстве.

Чупринин сказал:

– Это я предложил термин – «другое искусство».

– Хороший термин. Пожалуй, на сегодня – лучший. Куда уж лучше других! – ответил я. – Хоть по-человечески, по-русски сказано. А то – какой-то там «андеграунд»! Одно словцо чего стоит. Не приживётся оно в нашей речи. А «другое искусство» – это нормально. Потом, глядишь, и ещё точнее определение найдётся.

Чупринин был доволен.

В его кабинете, помимо его собственного стола, был и другой, длинный, – наверное, для заседаний редакции. По обе стороны от него рядами стояли слегка отодвинутые стулья. Этот стол, длинный, упирался в более короткий, чупрининский стол, как раз посередине. И оба стола, так уж получалось, образовывали подобие большой буквы Т. Начальной буквы названия одного моего сочинения.

Мы говорили – и мне было интересно слушать возможного моего товарища, потенциального соратника – там, в далёком былом.

Здесь, в нынешнем нашем, окружающем нас обоих со всех сторон, вплотную глядящем на нас и опять-таки беспокойном, напряжённом, таком непростом настоящем, был он главой серьёзного журнала, был вообще весь, целыми днями, в делах, то есть занят был выше всякой приемлемой, допустимой для выносливого, конечно и все-таки устающего от подобных нагрузок, добросовестного человека, но, как нарочно, всё разбухающей, гипертрофированной какой-то нормы, занят,

занят и занят, выше головы занят, но, уставая, конечно же, очень, ещё и выдерживал это, с трудом, с напряжением – но выдерживал, – ещё и умудряясь при этом выкраивать время и работать дома – писать свои статьи и книги.

Речь, шла о том, что хорошо бы, да и давно уж пора, мне, ветерану богемы, известному в своей среде и далеко за её пределами поэту, живой легенде былого и настоящего, написать для «Знамени» воспоминания о СМОГе.

Мы говорили – и курили, курили – и говорили. Я всё-таки приглядывался к Чупринину, он – ко мне.

Заодно привыкал я к новой для себя обстановке, не очень-то ещё знакомой. К атмосфере существенно изменившихся, с советских-то времён, можно сказать – разительно упростившихся, новых отношений редакции с автором. С некоторым усилием над собой вроде бы и привыкал, но внутри себя понимал, что вряд ли, наверное, да и не наверное, а скорее всего, привыкну я к этому окончательно, так, чтобы чувствовать себя здесь действительно свободно. Слишком велика ещё была память о тех, давешних временах, с их отношением к поэтам. И незыблемой оставалась внутренняя моя, столь развитая, оправданная, закалённая, выстраданная этика – тех ещё, памятных мне, времён: никуда, ни к кому на поклон не ходить, никого никогда ни о чем не просить, выдерживать марку, помнить о собственных достоинстве и чести, никому не продаваться, не служить властям, быть по возможности независимым от всего, что мешает жить и работать, всегда, везде и во всём оставаться самим собою, в любых условиях делать своё, к которому призван, дело. Насколько нынче изменились обстоятельства, насколько редакции и вся вообще московская литературная жизнь стали другими – это надо было ещё осмыслить.

У себя в Коктебеле я находился годами вдали, в стороне от всего этого. А в Москве бывал нечасто – и подолгу в ней не засиживался, как и в этот раз, – ведь я уже всё чаще, находясь в столице и по укоренившейся привычке почти никуда не выбираясь из дому, подумывал о том, что пора мне, пора возвращаться обратно: в Киммерии – весна.

Тут я вспомнил, что принёс в подарок Чупринину, – поскольку он, помимо того что главный редактор журнала, ещё и очень известный литературный критик, а ещё и просто очень любящий поэзию человек, – мои книги.

В какой-то газете, не помню уж, какой именно, видел я фотографию: идут рядышком Сергей Чупринин и Вольфганг Казак.

С Казаком, крупнейшим славистом, высоко ценившим постоянно изумлявшую его поистине баховским, как совершенно верно догадался он, звучанием и многообразием, поэзию мою, я изредка переписывался, а познакомился лично несколько позже, в те дни, когда вышел его «Лексикон», и в Доме литераторов состоялся вечер, посвящённый этому событию, и профессор Казак был так счастлив, что завершил свой труд, и мы с ним познакомились наконец вживую, а не заочно, как было раньше, и он надписал мне свой «Лексикон», вручил мне его – и, с нескрываемым интересом разглядывая меня, громко и, как и вообще всё у него получалось, непосредственно, несколько растягивая фразу, продлевая ее звучание, сказал:

– Так вот вы какой!

На что я, пожимая его руку, ответил:

– Да такой вот, какой есть.

И подарил ему некоторые свои книги, которых ещё не было у него, поскольку, из-за коктебельского отшельничества, не представлялся случай их ему передать.

И Казак расслаился в улыбке.

Я напомнил Чупринину об этой фотографии. Я сказал ему, что, глядя там, в Коктебеле, еще несколько лет назад, на эту фотографию, непрозвольно как-то подумал о том, что он, снятый в движении, подавшийся вперёд, какой-то открытый весь, улыбающийся, с разлетающимися волосами, живой, симпатичен мне и по-человечески интересен.

Чупринин оживился. Поведал мне об истории этой фотографии. Всё было тогда – впервые. И Казак, ранее запрещённый у нас, тоже приехал в Москву – впервые. И такой вот материал в газете – был впервые. Всё было внове. Всё обещало впереди что-то хорошее, такое, чего давно уже ждали. Неужели придёт оно?

Покуда он рассказывал, я достал из сумки мои книги. Надписал их по очереди – и вручил Сергею Ивановичу. Все.

– Ого! – сказал Чупринин.

И потянулся навстречу книгам. Начал их рассматривать, листать. Сразу видно – по повадкам – любит книгу человек.

– Потом читаете, дома! – сказал я ему. – Книги сложные. Такое чтение, сами понимаете, – дело непростое.

Чупринин согласился. Оторвался от книг. Положил их на стол, рядом с собой. И, всё-таки поглядывая на них с явным, хищным, профессиональным интересом, опять сказал мне:

– Владимир Дмитриевич! Напишите для нас воспоминания. Мы – напечатаем.

Не скрою – приятно мне было такое слышать. Первый случай в жизни со мною такой, когда мне сами, официальные журнальные издатели, печататься предлагают. Да ещё и в известном журнале. Да ещё и сам главный его редактор.

Я сказал:

– Напишу, конечно! Я уже их пишу, сейчас.

Тут – как будто подул ветерок, приятный, весенний, – и в раскрытую настежь дверь чупрининского кабинета свободной и лёгкой походкой, посверкивая на обоих нас ещё издали своими карими, озорными, девчоночьими глазами, одетая в модный, конечно, с виду мятый, но так полагается, ладненький, серенький пиджачок и такую же, с виду невзрачную, но, конечно же, модную юбку, вскидывая на ходу свои худенькие, лёгкие руки с узкими ладонями и тонкими пальцами, глядя на которые, в былые годы, в период нашей с ней дружбы, я всегда вспоминал некоторые песенки Вертинского, вошла заместительница Чупринина, одна из главных фигур в современной российской литературной критике и публицистике, в отдалённом прошлом – большая любительница и ценительница прежних моих стихов, да и сейчас, вроде бы, не забывающая об этом прошлом, современница моя славная и даже бывшая соратница моя, с которой был я знаком уже около тридцати лет, прелестная женщина, милая Наташа Иванова, тоже радостно и широко улыбаясь и немедленно, вся подавшись вперёд, похожая на птицу в полёте, устремляясь ко мне.

Вот и ещё одна встреча! И всё – прямо здесь, не сходя с места. Чудеса! Всем нам троим тем более было о чём словечком перемолвиться.

Наташа тоже призвала меня:

– Приноси свою прозу нам!

Ну вот, и она – всё о том же.

– Напишу! – говорю ей. – Работаю.

Хорошо – общаться с людьми. Если люди – хорошие.

Но пора было мне возвращаться домой.

Попрощался я с ними, тепло попрощался, – и с Чуприниным, и с Наташей, – и ушёл восвояси.

На Никольской, весёлой, торгующей всем и всегда, всякой всячиной, от горячих пирожков до нательных серебряных крестиков, деловой, бестолковой, то беспечной, то ушлой улице, в тесноте, в толчее людской, взглянул я исподволь, искоса на Кремль, на кирпичные башни, на Красную площадь, вернее – предгумовский малый кусочек её, – да и нырнул вместе с толпой в метро, чтобы вынырнуть из него там, у себя уже, в Новогирееве. И – от метро, уже нашего, местного, с безобразным базаром вокруг, с апофеозом всеобщей какой-то, всеядной, глобальной торговли, с нехорошим, противным душком распада и тлена, с тем развалом, в котором легко задохнуться и даже пропасть, – поскорее домой: к работе своей! К работе.

Вот нужны всем – воспоминания. Подавай их – и всё тут. Нужны.

Напишу. Всему своё время. И уже их пишу – давно, и пишу их прямо сейчас – для «Знамени» ли, для пламени ли духа, могучего, вечного, для времени ли спасительного, золотого, целебного света. Но – пишу. И они вкраплениями, пластами, живыми, звучащими, всей сокровенной музыкой отшумевшей былой эпохи входят и в эту книгу. И в другие книги мои – войдут. Непременно войдут. Обязательно, я это знаю, будет именно так, войдут. Это – кровное. Становление духа. Речи движение чуткое – сквозь любые преграды и сложности. Тот, когда-то в юности вспыхнувший и доселе меня хранящий в мире нынешнем, грозном и сложном, неизменно ведущий в грядущее, прочно связанный с творчеством свет.

2

Стоит сказать об осени шестьдесят четвёртого. То есть – осени всех начинаний, и надежд на всё, что свершиться непременно должно, возможно, и не сразу, пусть постепенно, как уж выйдет, потом, в грядущем, том, в котором нам жить да жить, как наивно и окрылённо представляли мы, понимая далеко не всё, но стараясь, в меру сил своих, прозревать в яви, несколько романтической, знаки горести непривычной, звуки музыки горемычной приучаясь вдруг различать.

Стоит, право, сказать об осени – той, в которой уже содержалось всё, что позже, неслыханно скоро, получило, как только в сказках, с волшебством их и чудесами, полагаю теперь, и бывает, но и в жизни порой случается, в чём давно уж я убедился, на своём, не на чьём-нибудь, незаёмном, немалом опыте, на своём, тернистом пути, продолжение и развитие.

Стоит сказать об осени откровений и озарений.

Пусть и вкратце. Под настроение.

С ностальгией, вполне для меня, поседевшего, разумеемой.

С грустью, слишком понятной нынче.

Это грусть по радости, бывшей очевидной такой когда-то, что никак невозможно хотя бы на минуту какую-нибудь, или так сегодня скажу я,

на ничтожную долю секунды, минимальную кроху мгновенья, попытаться забыть её, –

нет, вовсе не для того была она мне дарована, вовсе не для того переполняла меня, чтобы в мыслях моих, порою смутных, или сумбурных, или ясных, любых, могло подобное промелькнуть, –

какое там! – наоборот, с каждым годом всё приближается ко мне эта дальняя осень, всё отчётливей укрупняются дорогие черты её, чародейским алмазом оттачиваются все, даже самые малые, детали её и грани, –

и она подходит вплотную, приближает лицо своё, чистое, молодое, белое, свежее, золотым озарённое светом, и взгляд её ясный встречается с усталым взглядом моим, и силы в душу вливает, и легче тогда мне дышать,

и слышу я голос её, молодой и прекрасный, и зов её, неустанный, негромкий, но властный, в ночи различаю вновь, и рвусь к ней – сквозь время с пространством, сквозь век, с его самозванством, сквозь боль, с её постоянством, сквозь жизнь и сквозь речь свою, –

и я возвращаюсь к ней, возвращаюсь я, – ко всему несбывшемуся и сбывшемуся, с утратами не смирившимся, с прозрениями сдружившемуся, к началу самому чаяний, к истоку прозрачному веры, к далёкой заре любви,

ко всему, что было моим, и доселе, свидетелем Бог в небесах, никуда не ушло, никому в минувшем не отдано, никогда в скитаньях не предано, что сберёт я свято в душе, что пронёс через годы трудные, под звездой высокой моей,

что со мною осталось, да так, что давно уже, так получилось по судьбе, стало мною самим, стало всем, что меня составляет, что возможность дышать оставляет, естеством, волшебством, одиночеством, ясновидчеством, празднеством, творчеством, всем с людьми и с природой родством,

всем, чем жив я, чем в мире поддержан, что само без меня не может, как и я не могу без него, что сумело меня спасти, как и я его спас от забвенья, взяв из памяти нити и звенья, – пеньё, счастье, страданье, горенье, – навсегда, – обретенье пути.

Когда ты ещё так молод, и рад, что живёшь в Москве, о которой мечтал так истово там, у себя, в провинции, а теперь ты житель столицы, студент университета, и, несмотря на учёбу, ты совершенно свободен, сам предоставлен себе, независим, насколько возможно,

волен сам, без чьих-то подсказок, распоряжаться временем, не чьим-нибудь, а своим, собственным, личным, точным, вполне возможно, бессрочным, да ещё и пишешь стихи, больше того, твёрдо знаешь, что ты поэт, и тебя уже знают здесь именно как поэта, –

жизнь таинственным свитком, охотно, как будто играючи, быстро, легко, разворачивает именно перед тобою, пришельцем издалека, не-офитом, гостем восторженным, самые невероятные возможности, и остаётся лишь выбирать из них наиболее интересные,

и ты, человек по натуре домашний, довольно замкнутый, с детства сосредоточенный на думах вечных своих, жить начинаешь вдруг в совершенно ином ритме, а может, в другом измерении, сам толком не понимая, что с тобой происходит, почему же так получается,

ты превращаешься, надо же, ну и ну, в человека богемного, и знакомства твои всё больше не светские, а богемные, ты почти в Париже,

не так ли, карнавалы, пирушки, миракли, довольно воображения, ты вольная птица, ты вправе, стремясь к победе и славе, сам принимать решения,

ты дышишь свободой, при всей несвободе советской, которую ты, как и дружеский круг твой, да и все вокруг, не желаешь принять во внимание, так она для тебя несущественна, благо младость всегда естественна, да и радость, возможно, вещественна, то-то смотрит на мир торжественно и гуляет честная компания,

ты всегда устремлён в грядущее, новизны и отваги ждущее от людей, далеко ведущее, чтоб воочию видеть сущее там, где примут и где согреют, и в пути своём ты намаешься, но идёшь и ввысь поднимаешься, чтоб в годах, где казнят, не жалуя, слышать музыку небывалую – в ней, и только, речь твоя зреет.

А Москва хороша! Сентябрь, и небо то ласково-синее, то лиловое, то седое, смутно-мглистое, с ветерком, и листва желтеет, алеет, и срывается вдруг с ветвей, и летит, кружась над землёй, в даль куда-то, сквозь время, в пространство, и город – кругами, кольцами, звеньями, клиньями, сферами, светлый, просторный, новый в древности, в тайне своей, и всё это – для тебя, и ты для этого – здесь, чтобы помнить об этом повсюду, где бы ни был в грядущем ты, и выются в воздухе звонком тончайшие нити духовные, и вселенские связи незримые, столь щедро сущим даримые, ощущаются, в общем единстве, в цельности восприятий, наитий и вероятий, в достоверности бытия.

Жил я тогда, в период молодости крылатой, на милой мне Автозаводской, весьма из себя оживлённой, достаточно многолюдной в определённые, утренние и вечерние, с их толкотнёй, ненавязчивой и привычной почему-то, часы дня, как-то в меру, без перебора, заполненной легковушками, автобусами, троллейбусами, фырчащими грузовиками, кое в чём типично столичной, но, впрочем, и это существенно, порядком-таки отдалённой от форсистога, яркого центра, не подчёркнуто во все окраинной, нет, конечно, это не так, но уж точно, так выходило, так мне виделось, так получалось, несколько провинциальной, благодаря своим на удивление тихим, не по-московски просторным, с закоулками, с заковырками, с подворотнями и деревьями, разросшимися широко и свободно, как на приволье, миролюбивым, спокойным, добродушным, уютным дворам, ну а также, казалось мне, по причине присутствия сквера, пусть и узкого, но зато растянувшегося во всю свою, не измеренную никем из приезжих и горожан, удивительную, наподобие долговязой косы приморской, с неизменным шелестом лиственным вдоль ограды сквозной, длину, островную, с пространством, выделенным для прогулок и медитаций, посреди двух дорог, ведущих в неизвестность сплошную, улице, всего-то, представьте, в нескольких, пустяковых, коротких минутах неторопливой ходьбы от одноимённой станции спасительного метро, в непосредственной, ближе некуда, близости от знаменитого когда-то гиганта отечественного автомобилестроения, завода серьёзного ЗИЛ.

Возможность пожить в пустующей годами целыми комнате небольшой, обжитой, с минимальными соседней числом, коммуналки предоставили мне знакомые. Месяца три-четыре, а может быть, и подольше мог я здесь обитать.

Потом придётся, наверное, смиренно мне перебраться в общежитие МГУ, но ведь это будет – потом.

А сейчас я себя ощущал хозяином положения.

Было, было ведь у меня московское, вот что здорово, не какое-нибудь, на птичьих, никудышных правах, шаг туда, шаг сюда, не шуметь, не мешать, не сорить, не ходить, не звонить, нет, хорошее, полноценное, замечательное жильё.

Пусть и временное, да зато, согласитесь, почти своё.

Восемнадцать, всего-то, лет, восемнадцать, уже так много, мне казалось, целая грудка привезённых с собою стихов, стопка книг, любимых настолько, что расстаться, хотя бы на время, ни за что бы я с ними не смог, и возил их повсюду с собою, и привёз их сюда, в Москву, что, представ предо мной наяву, приняла меня и приютила, словно так вот и надо было, словно так вот и полагалось, чтобы всё к ней само прилагалось, одежда – какая была, стол, и на нём приёмник, из которого тихо лилась, растворяясь в пространстве, музыка, огромное, старомодное, многостворчатое окно, из которого плавно струился прямо в комнату, заполняя всю её, целиком, широкий, пульсирующий, осенний, предвестьем всех воскресений и всех грядущих спасений мерещившийся недаром, божественно ясный свет, – какое счастье, какое блаженство, и всё под рукою, присутствие воли, покоя, и равного этому нет!

Вставало солнце, и я просыпался, тут же вставал, щурясь от ярких, радостных, бивших в окно лучей, умывался, заваривал чай, пил его за своим столом, поставив чайник и чашку посреди разбросанных рукописей, включал по привычке приёмник, слушал мажорные, звонкие, с огоньком, с неизменным задором, утренние мелодии, потом собирался неспешно, выходил вразвалочку из дому, ехал в университет, в старое, милое здание на Моховой, на занятия, или же, пропуская их, отправлялся бродить по Москве, и так вот изо дня в день, всегда и везде на подъёме, с оптимизмом, вовсе тогда, в годы прежние, не удивительным, с хорошим, всегда, настроением, с постоянным, на редкость острым, замечательным ощущением вхождения, даже вrastания в неизменную новизну постигаемой мною ныне, лишь меня одного дожидавшейся и дождавшейся наконец, состоявшей, это я знал, со всеми своими градациями и бесчисленными подробностями, из безгранного слова: быть! – созидательной, творческой яви.

Я возвращался домой, переполненный впечатлениями.

Я писал стихи. Разумеется. Как же было их не писать!

Сохранились не все они. Так уж вышло. Так получилось.

Изрядную часть, в сердцах, в состоянии мрачном, тяжёлом, в наваждении, что ли, нахлынувшем, я однажды вдруг уничтожил.

(Многое, слишком уж многое, потом уже, позже, в период нашумевшего нашего СМОГа, в начале гонений, в апреле, тоже я уничтожил, сознательно, собственноручно.

С воспалённой головой. Почти обречённый. Измученный бессонницами, безнадёжностью положения своего, подвешенностью состояния – между славой тогдашней и явным крушением всех надежд молодых. Возможной тюрьмой.

Уничтожил. Битком набитый моими стихами ранними да ещё и прозой тогдашней, вместительный саквояж.

Зачем? Не знаю – зачем. Отчаяние охватило.

Находились приятели рядом. Ну и что? Молчали. Смотрели.

Никто из них, очевидцев, не удержал меня.

И жгучее, самое первое, ранящее сомнение в истинности отношений, которые, по наивности всегдашней, считал я дружбами, шевельнулось тогда во мне).

Но всё это было ещё впереди, в отдаленье неясном, и казалось оно мне прекрасным, – и об этом, пока что, конечно, вдохновенный, подвижный, беспечный, молодой, ничего я не ведал.

Тогда, удивительной осенью шестьдесят четвёртого, жил я Москвой, поразившей меня красотой своей, жил стихами.

Некоторые из них уцелели, даже, частично, вошли в мои ранние книги.

Звук их, протяжный, чистый, живой, возникал то и дело, приходили новые строки, свободно, сами собою.

Я порою записывал их.

Иногда, поначалу, так, вдруг, зачем-то, по странной потребности, по причине какой-то загадочной, чтобы выплеснуть некие образы на бумагу, от случая к случаю, как-то исподволь, под настроение, но потом всё чаще и чаще, увлечённо, всерьёз, рисовал.

Очень много, нередко запоем, одержимо, пожалуй, читал.

Покупал, бывало, настроившись на волну благодушную некую, в нашем скромном, с виду окраинном, небольшом, но зато под боком находившемся гастрономе бутылку, зелёную, длинную, российского полусладкого, недорогого, приятного, лёгонького вина, граммов двести, не больше, грудинки, в соседней уютной булочной – белый хлеб за двадцать копеек, большой батон, аппетитный, с подрумяненной корочкой, свежий и пахучий, быстро вбегал по ступеням широким лестничным к себе на этаж, заходил в квартиру, потом в свою комнату, за столом поудобней устраивался, в одиночестве пировал.

По ночам в соседнюю булочную, нашу булочную, привозили горячий, только что выпеченный в районной хлебопекарне, с пылу, с жару, свежайший хлеб, и, когда я домой возвращался поздно, за полночь, то всегда покупал его здесь и ел, с удовольствием неизменным и доселе мне памятным, прямо на ходу, во дворе, на лестнице, на пороге спящей квартиры.

Некоторые, не все, разумеется, только считанные, обитатели ближних домов, и особенно пенсионеры, старики и старушки с авоськами, приготовленными заранее, специально сюда приходили ночью, чтобы купить этот хлеб.

Он был вкусен, и чёрный, и белый, любой, всенародный хлеб, вкусны были и горячие, румяные, пухлые булочки.

Во дворе, вплотную почти к распахнутой двери булочной, возле чёрного хода, хозяйственного, подъехав умело так, что ни дальше, ни ближе нельзя приблизиться, тихо стояла грузовая машина-фургон с привезёнными для продажи ранней, утренней, бойкой, свежими, нарасхват обычно идущими, для людей важнейшими, хлебными, то есть главными впрямь изделиями.

Её разгружали хмурые, молчаливые, сильные грузчики.

Сноровистыми, отработанными движениями они вытаскивали деревянные поддоны со свежим хлебом и до невозможности просто аппетитными, нежными булочками, от которых облаком белым поднимался

горячий пар, и, один за другим, привычно для себя, как-то слишком быстро, взад-вперёд косолапо шагая, относили их в магазин.

Вокруг машины, кольцом, толпились пенсионеры.

Выходила весьма упитанная, закутанная платком, приёмщица свежего хлеба, продавала его старикам.

Никому никогда, ни разу, сколько помню я, не отказывала.

Старики, получившие хлеб, загружали его в авоськи, чтоб сподручней было нести, но потом, удержаться не в силах от соблазна, по-детски просто, по чуть-чуть, ну в точности так же, как и я, горбушку надламывали, надкусывали с удовольствием хлеб, хрустящий, свежайший, прямо на ходу, потому что стерпеть, не попробовав хоть кусочек, невозможно было, и, шаркая негнушимися ногами по выщербленному асфальту, с довольным, весёлым видом, по своим расходились домам.

Здесь же, на запах дразнящий вкусного свежего хлеба, собирались ещё и собаки. Они виляли хвостами и смотрели людям в глаза. Все охотно их угощали.

В черноте прохладной, осенней, государственной, общей для всех, участливой, миролюбивой, даже, вроде бы, гостеприимной, по-своему, разумеется, по-хорошему доброй ночи москвичи жили хлебом единым, да и не только им.

Где-нибудь, неведомо – где, всё едино и всё в разброде, всё и в сердце, брат, и в природе, всё кругами пойдёт по воде, то и дело да раздавался то возглас, то смех, то плач, то шальной, хмельной, забубённый, подгулявший обрывок музыки вылетал из окошка, распахнутого, по традиции, в никуда, благо дальше некуда просто вырваться из городов, то сирена вдруг милицейская, поперхнувшись, истошно выла, то – да мало ли что ещё где-то рядом происходило.

Но, в общем-то, вся, как есть, без прикрас и соплей, обстановка была достаточно тихой, вполне, полагаю, мирной, не опасной отнюдь, и во все не почти фронтовой, с горячими точками пресловутыми на любом шагу, как сейчас.

Машина-фургон, хлебовозка, разболтанная, скрипучая, пропитанная насквозь ароматным, устойчивым запахом различных изделий хлебных, разгужалась и уезжала.

Двор постепенно, как водится, необратимо пустел.

Дома, в уютной комнате, за столом с моими бумагами, с ветерком законным, я ел свежий хлеб, запивая его терпким холодным чаем.

И вполне был доволен и счастлив.

А когда покупал вино и, глоток за глотком, в тепле коммунальной уютной комнаты, пусть и временного пристанища, ненадолго, да моего, не какого-нибудь, столичного, по московским понятиям отличного, для меня-то, для одного, неторопливо пил его за своим столом, у окна, тогда, с умилением, накрепко со вздохом невольным, по радости ли, по молодости ли, связанным, вспоминаю, отшельник нынешний, набродившийся в годы прежние вдосталь, видимо, скиф седой, почему-то и состояние мыслей, сердца, души, всего естества моего тогдашнего, у меня бывало особенным.

Вино, пускай и хорошее, по тем временам, не халтурное, не убойное, как позднее, посреди всеобщего пьянства на просторах родной державы, небольшой, в меру самую, крепости, всё-таки, незаметно, давало себя знать.

Приятнейшее тепло разливалось нежданно по жилам.

Я чувствовал, с изумлением, забавным теперь, что хмелею.

Включал приёмник, среди множества голосов, звучащих в эфире, шумов, трескотни цикадной, разноязычных слов, новостей, обрывков мелодий, сообщений о достижениях на пути в наше светлое завтра, призывов, докладов, лозунгов, директив, обличений, песен о рабочих и космонавтах, находил хорошую музыку, с настроением, слушал её.

Вечерело, и широченное, в красных пятнах закатных, тускнеющих, исчезающих разом, окно постепенно синело, чернело.

На стекло налипали жёлтые, сорванные с деревьев окрестных, влажные листья, брошенные на него с размаху резким, как окрик, холодным порывом ветра.

Начинался вечерний дождь.

Поначалу он просто накрапывал.

Но вскоре уже упругие, тугие струи его, словно длинные стебли, срезанные под корень лезвием ветра, за окном проносились моим вкусом куда-то – и падали наземь.

На оконном стекле, рядом с ярким отражением лампы настольной, всей комнатной обстановки, стола, моего лица, сгущались крупные капли, превращались в бойкие струйки, в ручейки, полноводные, бурные, непрерывно стекали вниз.

Музыка заоконного дождя разрасталась и смешивалась с музыкой для настроения, раздающейся из приёмника.

Стекло, между тем, туманно, плотно запотевало, и отражения в нём теряли чёткость былую, становились размытыми, смутными, двоились, медленно таяли.

Меня клонило ко сну.

Я засыпал под шум дождя, идущего ночью, чтобы проснуться утром грядущим привычно рано, совершенно бодрым, здоровым, – и новый день начинался, и всё у меня начиналось, как и прежде, празднично, сызнова, хоть всякий раз и по-разному, и я был готов неизменно к продолжению новизны осенней, и осень всё длилась, не спешила меня покидать, и верность её всегдашняя всему, что в душе хранил я, была для меня дорога.

Лирика, скажете вы.

Лирика, так вы решите.

Да, лирика. Та, в которой уже назревал и эпос.

Тема и вариации.

Голос и свет. Из прошлого.

Память. Отзвуки праздников.

Музыка сентября.

Жизнь моя, поначалу размеренная, но потом, уже вскоре, поскольку иначе не получалось в столичных ритмах, порывистая, стремительно становилась чрезмерно бурной, насыщенной всевозможными, большей частью интересными для меня, иногда и действительно важными, для сердца и для души, для творчества моего, в условиях новых, событиями.

Собственно, всё абсолютно вокруг меня было событием.

Воспринималось мною в ту пору – именно так.

Встречи ли это были, знакомства ли, приключения ли какие-нибудь, путешествия, – всё принималось мною близко к сердцу, так выходило, заставляло над этим задумываться, запоминалось надолго, может быть – навсегда.

В самом конце нагрывавших с новшествами своими, «судьбоносных», как говорилось в то время, восьмидесятых Саша Величанский написал:

– В 1964 году на исторический факультет МГУ был принят никому не известный абитуриент по имени Владимир Алейников. Через год его знала вся «литературная» Москва в качестве одного из ведущих поэтов литературного направления СМОГ.

Это вроде и так, но всё-таки, всем скажу, не совсем верно.

В шестьдесят четвёртом году я как раз был уже известен в Москве, пусть и «литературной», но и это уже, согласитесь и поймите меня, господа и дамы, было немало, и эту известность, реальную, следовало заслужить.

Не так-то просто она, между прочим, к другим приходила.

Но ко мне такая известность пришла почему-то сама.

Причём, если точным быть, пришла она годом ранее, осенью шестьдесят третьего, в чудную пору, когда я впервые долго жил в столице и познакомился с людьми хорошими, ставшими, на все времена грядущие, моими друзьями, приятелями и просто знакомыми добрыми.

Среди них это, в первую очередь, Дима Борисов, Володя Брагинский, Аркадий Пахомов, Коля Мишин, Саша Морозов, Зина Новлянская, Слава Самошкин, Юра Кашкаров и прочие москвичи, все – участники многим памятного литобъединения, названного, в романтическом духе, в тон поветриям шестидесятых, «Бригантина», существовавшего, процветавшего на филфаке МГУ, поначалу, потом, без всякой официальщины, чуждой всем нам, – просто друзья, круг, достаточно тесный, с осени шестьдесят четвёртого ставший, постепенно, закономерно, так уж вышло, всё разрастаться.

Были они людьми образованными, в разной мере, больше, меньше ли, но способными, для меня – всегда интересными.

Они, столичные жители, золотая, сплошь, молодёжь, со своими свободными нравами, со своими на редкость широкими замашками, так естественно сочетающимися с трезвейшим, без восторженности малейшей, без наивности невразумительной, жёстким, цепким взглядом на жизнь, на историю, на политику, на действительность, на искусство, на любовь, на веру, на дружбу, меня, человека приезжего, провинциала, приняли – сразу же, безоговорочно, приняли – навсегда.

Оценили, признали своим.

Вот отсюда всё и началось.

Так что в том сентябре незабвенном, о котором я говорю, черед знакомств моих только стремительно увеличивалась.

Тьма-тьмущая как на дрожжах расплотившихся в одночасье литобъединений московских, на которые аккуратно приходили, как на работу, что-то пишущие москвичи, процветала тогда – и все они зазывали меня к себе.

Здесь уместно будет заметить, да к тому же это ещё и занятно, и показательно, в чём пришлось убедиться мне, вот что.

Когда я, в кои-то веки, минувшей зимой, в декабре, наконец-то выбрался на люди, в литературный клуб, находящийся в помещении бывшего, разумеется, группкома, так он, представьте, назывался встарь, литераторов, где состоял и я в первой, тяжелой, половине восьмидесятых, в стареньком флигельке, в Георгиевском переулке, поддавшись на уговоры клубного руководства почитать там хотя бы фрагменты неизданных книг моих, и, впервые в жизни моей читая прилюдно прозу,

для меня самого ещё свежую, а совсем не стихи, пусть и старые, пусть и новые, всё равно, что куда для меня привычнее, поведал собравшимся слушателям об Игоре Ворошилове, друге моём покойном, великом русском художнике, и это были куски прозы о Ворошилове, называющейся «Добрый пастырь», – я увидел в зале, с немалым, прямо надо сказать, изумлением, нескольких очень давно, с осеней шестьдесят третьего – шестьдесят четвёртого, с тех, ключевых, молодых, камертонных времён, знакомых мне персонажей, посетителей неизменных тех самых, давнишних, бесчисленных, московских литобъединений, кочевников по людским сборищам, по тусовкам, как теперь говорят, по традиции, полагаю, забредших сюда.

Постаревшие, сплошь седые, некоторые и вовсе настоящие старики, они точно так же, как некогда, встарь, в молодые их годы, живо, даже азартно, впитывая в себя каждое слово моё и потом непременно высказывая своё весомое мнение, бывшее, почему-то, всеобщим, сплошным одобрением, реагировали на моё первое клубное чтение.

Вот что значит сила привычки!

Удивительное постоянство!

Что за страсть такая великая неуклонно движет людьми?

Обязательно им, всеядным, всеведущим, надо присутствовать на всяких собраниях, чтениях, чувствовать и свою причастность к тому пресловутому, неведомо кем и когда, в муках, никак не иначе, в бессонные ночи, видать, однажды изобретённому, вместо кроссворда или шарады, «литературному процессу», подумать ведь только, процессу, ни больше ни меньше, который на деле является результатом трудной работы одиночек, веками, да что там, эпохами, тысячелетиями, одиночек, и только их, как всегда, но никак не толпы.

Выходит, почти сорок лет присутствовали они там, где что-нибудь из написанного кем-нибудь и когда-нибудь, недавно или давно кто знает, стихи ли, прозу ли, читают и обсуждают.

Пишут вроде и сами.

Но куда важнее для них – числиться, состоять, скопом, при литературе, вроде бы тоже участвовать в неудержимом, таинственном, вечном её движении.

Но это ещё не всё.

Куда больше меня, столь редко, на протяжении многих, с работой над книгами связанной, чередой прошедших лет, выбирающегося куда-то к людям, любящим пообщаться меж собою, потолковать, по старинке, о том о сём, о немногом и обо всём, изумила молва людская, её глобальные, прямо-таки фантастические возможности.

Уже через день буквально после чтения моего знали о нём все, не только в Москве, но и в Питере, и в провинции знали тоже, и даже в моём родном городе Кривом Роге, на Украине, а чуть позже – и в прочих странах зарубежных, поскольку сведения о моём единственном вечере попали незамедлительно, сразу же, в Интернет.

Мне звонили разные люди – и всех их, ну просто вынь да положь как можно скорее, очень интересовала моя мемуарная проза, и все они в один голос, как будто бы сговорившись, первым делом взволнованно спрашивали: скоро ли, да когда, и где, её издадут?

Вот что такое молва.

Такою же, как сейчас, в дни свободы, а то и похлеще, была она, припоминаю с улыбкой, и в шестидесятых.

Стоило мне появиться где-нибудь, почитать там стихи, как об этом событии сразу же узнавали решительно все.

Отсюда и всё растущая, год от года, известность моя.

Так что, любезный читатель, Величанский, выходит, ошибся.

Не в смогистские времена пришла она, эта известность, но раньше, значительно раньше.

Говорю я теперь об этом совершенно спокойно, без всякой гордости за былые достижения и удачи.

И не такое бывало.

Просто – в зрелых своих летах, по возможности, восстанавливаю историческую справедливость.

Это как раз Величанский был ещё неизвестен, когда мы, той же осенью шестьдесят четвёртого, с ним познакомились и вскорости подружились.

И это именно я охотно знакомил Сашу со своими друзьями тогдашними, с людьми своего круга, то есть, как и всегда у меня, сплошь и рядом, это бывает, из приязни к нему, да ещё и по доброте душевной, способствовал всячески, рьяно, сознательно, целенаправленно, росту его известности, в Москве и не только в ней.

Относится это, кстати, замечу, не только к Саше.

Творчество многих знакомых в самиздатовскую эпоху пропагандировал я настойчиво и упрямо, самолично перепечатывал, на машинке пишущей, в нескольких экземплярах, само собою, и передавал их тексты, стихи, переводы, прозу, своим друзьям, и в столице, и в провинции, разумеется, чтобы и там их узнали.

Известность в Москве в то время была у меня уже прочной.

Я вхож был в литературные дома и салоны различные, в том числе и такие, куда людям с улицы ходу не было.

Со мною стремились – как странно вспоминать о таком – познакомиться.

Искали – сами, без всякого принуждения, – дружбы моей.

Конечно, это приятно. Тем более, в пору, когда тебе всего восемнадцать лет.

Мне прочили, с основаниями серьёзными, полагаю, блестящее, да и только, и никак не иначе, будущее.

Собственно, всё это громкое, с похвалами и заверениями в чём-то радужном впереди, говорение началось ещё до московской жизни богемной, на Украине, поначалу в моём родном городе Кривом Роге, где я вырос и начал писать, вперемешку, стихи и прозу, где писания эти мои ранние были замечены вовремя, вот что существенно, местными литераторами, и вскоре уже одобрены и признаны ими, а также читателями и слушателями нашими, а потом в Днепропетровске, где, на совещании (действе официальном, с размахом, с широкой оглаской, с газетными публикациями в областной периодике, словом, всем, чем щедра советская власть была) молодых литераторов Приднепровья, в начале того же переполненного событиями до предела, до невозможности, каковая была возможной, по судьбе, шестьдесят четвёртого, я произвёл фурор своими стихами тогдашними, да такой, что лишь в сказке бывает, как меня уверяли потом, и на меня приходили целыми толпами всякие участники совещания и люди со стороны, ценители и любители поэзии, просто, как водится, поглазеть, пообщаться, послушать, как я

читаю свои опусы стихотворные, а литературные, в силе, при власти и при чинах, генералы и воротилы зазывали меня к себе в Киев, обещая поддержку всяческую, например, конкретную помощь с поступлением предполагаемым, скорым, в университет и широчайшие прямо-таки в будущем перспективы, только бы я откликнулся на их, воротил чиновных, заманивание усердное, на что я, уже учёный кое-чем и школу прошедший суровую, но полезную, разумеется, не пошёл.

Забавно, что происходило это уже после грозного хрущёвского, с громом и молниями, невиданного разгрома всяческих формалистов, неугодных властям, затронувшего и меня, со злыми, бичующими юные и наивные, но и свежие, непривычные для партийцев, мои писания, статейками в областной и республиканской, то есть родной украинской прессе.

Но этого почему-то вроде бы как и не было.

Столь велико желание было у киевлян – заполучить меня, талантливого, молодого парня, да поскорее, перетащить к себе.

Однако, давно принявший своё решение, личное, независимое, по чутью, как всегда, я уехал в Москву, поступил в МГУ, освоился в столице – и начал жить, сразу же, безоглядно, той жизнью свободной, которой ещё со школьных, с мечтаниями в романтическом духе, лет, я терпеливо, стойко, с надеждой на чудо, ждал.

Жизнь в столице на первых порах меня, человека приезжего, становившегося москвичом постепенно, хоть и в ускоренном темпе, как в музыке жизни случается иногда, не сплошь и рядом, поверьте, лишь изредка, только радовала.

Известность моя, вначале бывшая устной, с голоса, по причине чтений моих частых образовавшаяся, уже, пускай и не сразу, входила в стадию письменную, самиздатовскую, потому что появились в кругах богемных, а потом и среди любителей новейшей литературы списки, энтузиастами сделанные от руки, по горячим следам, как водится, и машинописные копии тогдашних моих стихов.

Это, новое, обстоятельство, эта, новая, ипостась – восприятие текстов моих читательскими глазами – было более важным, нежели привычное чтение вслух и восприятие этих звучащих стихов со слуха, пусть оно и бывало в те дни поразительным, слова точнее не найти сейчас, и не надо мне искать его, – для меня.

Это внутренне встряхивало, собирало, как-то подтягивало, ко многому, благо было на кого равняться, обязывало.

Да, все как один говорят, что читал я встарь замечательно.

И сам я прекрасно знаю, что было это – искусство.

Традиционное наше, певческое, орфическое.

Но читать непростые тексты с листа, сознательно быть наедине с конкретным, открывающимся не сразу и сознанию, и сердцу, текстом, – это ещё серьезнее, это всегда испытание для поэта – как и насколько верно, так ли, как надо, воспримет вещи его, существующие на бумаге, в записи чьей-то, или в машинописи, без всяких официально изданных книг, такого и в мыслях не было ни у кого, на это и не надеялись, об этом и не мечтали, ни пишущий, ни читающий, нам все издания, оптом, вполне заменял самиздат, – не слушатель, а читатель.

Остаюсь при своём, незыблемом, ни на йоту не изменившемся, по прошествии времени, мнению, скиф-отшельник, я и сейчас.

Хотя, скажу напрямик, некоторые из тех, уцелевших, чудом, возможно, выживших, прежних друзей и приятелей лет, ушедших навсегда,

могикане богемы, хорошо, до подробностей, помнящие, как я раньше читал, то и дело выражают желание общее, при нынешней-то развитой технике, сделать студийные записи чтения моего.

Желание это действительно ведь не просто так, не от печки, не с бухты-барахты высказано.

Это, если подумать, важно.

Не будет меня на свете – уйдёт со мной и моё искусство – личное, кровное, вне канонов, – искусство чтения.

А так, вполне вероятно, при наличии видеозаписей, глядишь и включит какой-нибудь грядущий любитель поэзии видеоманитофон, поставит кассету нужную, поудобнее расположится – да и станет, в домашних условиях, не выбираясь из дому ни на какие там вечера поэзии, где-нибудь идущие, и ни в какие литературные клубы, с комфортом, в тепле, в уюте, чтение слушать моё, а заодно и смотреть на меня – что за птица такая, залетевшая издалека прямо в завтра, к счастливым потомкам, что за зверь такой, из берлоги, не иначе, из ямы какой-то, из разверстой дымящейся бездны, из двадцатого странного века, где искать с фонарём человека днём занятие рядовое, для поэтов даже привычное, а сказать поточнее, типичное, коли ты существо не тепличное и рискуешь при том головою, что за тип такой перед ним, кем и чем был он в жизни храним, как успел написать столь много, что за дар у него от Бога, – или, может, в компьютер диск, на котором записей прорва, вставит как-нибудь под настроение кто-нибудь – и глядит на экран, где, сквозь давних времён туман, сквозь белёсые наслоения, сквозь пространство, преодолённое так легко, что везде мне дом, находясь в измеренье другом, я читаю стихи, – дело техники, современной и своевременной, зафиксировать чтение это, ну а техники песня не спета, и пределов ей, видимо, нет, – вот и голос мой выйдет на свет, голос прежний, чтение, звук, – ночь со снегом и век со СМОГОм, жизнь, скитания по дорогам, ключ и клич, магический круг, за которым – начало встреч, имя времени, путь и речь...

Годы идут, впрочем, а желание энтузиастов, по инерции существуя в их мечтах, в головах их седых, доселе, само собою, остаётся неосуществлённым, потому что никак не найдутся деловые ребята, толковые, современные, с аппаратурой соответствующей, которые пришли бы ко мне однажды да и сделали видеозаписи.

Странное, нет, не странное, закономерное, видимо, незаметно, исподволь как-то выработалось, оформилось и покойненько прижилось посреди междувременья нашего отношение так называемой общественности, категории весьма условной, ко мне – мол, существует Алейников где-то остороно от всего и от всех, очень много работает, всё в трудах своих праведных, вечных, ежедневных и ежечасных, год за годом, десятилетиями, стал затворником, говорят, он и раньше был таким, утверждают люди бывалые, а теперь-то совсем затворился у себя в Коктебеле, у моря, в киммерийском доме своём, никуда не ходит, не видит никого, только пишет и пишет, значит, жив ещё, ну и ладно.

Я, может быть, и ворчу, далеко не всегда, иногда, если что-нибудь или кто-нибудь, как теперь говорят, меня даже здесь, в укроме спасительном, в коктебельской глуши, достанет, на моих современников, что ж, это моё право.

И я ещё жив, представьте, это действительно так.

И, с Божьей помощью, я постараюсь пожить ещё, подольше, насколько возможно, чтобы сделать больше, поскольку велик мой потенциал,

как говорят, со значением, литературные критики, чтобы хотя бы часть своих, неизменно требующих работы и вновь работы, Водолеевских, то есть фирменных, максималистских замыслов, осуществить, воплотить в слове, как выражаются участники постоянные неведомо кем придуманного, неведомо где идущего зачем-то «литературного процесса», может быть – шествия, может – и карнавала, по Бахтину, возможно, а может быть – и процессии, но какой? – погребальной? праздничной? – нет ответа – и тройка мчится, неизвестно – куда, и Русь тоже движется – но куда? – в завтра, что ли? – неужто вправду в светозарное наше завтра, нам обещанное давно? – или, может быть, всё равно, всё едино в мире подлунном, и ударит опять по струнам некто с края, раз, ещё раз, ещё много, много, не раз, этих самых гитарных раз, напоказ или про запас, то с похмелья, то с пьяных глаз, – и в процессе, любом, культурном, даже в этом, «литературном», что-то, видимо, всё же есть, честь и совесть, благая весть, лезть ли, мечь ли, напасть и власть, за которой, напившись властью чьей-то крови, встаёт кошмар, мор, угар, мировой пожар, – смотрит Гоголь на этот бред из имперских далёких лет, говорит иногда со мной в тишине затвора сквозной, по привычке, о том о сём, о немногом и обо всём, а потом помолчим вдвоём, каждый с думою о своём, прощаемся – и опять надо мне о былом писать, – вот и весь, для меня, процесс, и, поймите вы, не исчез никуда я, тружусь всегда – и светла надо мной звезда.

Но я говорю сейчас о важном, во всяком случае, для себя, старика, – о внимании.

Ведь было – искусство чтения.

Наиболее развитое – у меня и у Лёни Губанова.

Губанов ушёл – и его искусство с ним тоже ушло.

Кто его хоть разок услышит – и теперь, и когда-то потом?

Вот, например, концерты Вертинского не записаны, пусть это и другая область. Утрата огромная. Теперь мы слушаем – просто голос, пусть и чарующий. Могли бы – ещё и видеть, могли бы, с помощью записи, – присутствовать, при желании, на этих давних концертах.

Своевременное внимание – так ли много его у нас, в нашей, вроде бы не равнодушной к людям, полной загадок стране?

В шестидесятых внимание – было, ещё и какое!

Представьте, тою же осенью шестьдесят четвёртого, я, человек молодой, стихи свои читал даже в Доме Союзов.

И туда меня затащили.

Голову мне внимание это, равно как и вдруг появившаяся, как в сказке, молодая моя известность, вовсе, насколько помнится, ни капельки не кружили.

Как всегда, никаких личных выгод для себя из такого фарта и не думал я извлекать.

Общение! – вот что было негласным всеобщим лозунгом добронравного этого времени.

Девизом? Ну, пусть и так.

Общение! Все – хорошие! Все решительно – интересные!

Вон сколько людей способных и талантливых даже вокруг!

Братцы, это же впрямь новый, наиновейший, удивительный Ренессанс! Не какой-то чужой – наш, отечественный!

Какие там стукачи, лубянские штучки, доносы, наблюдение, выявление неугодных кремлёвским властям подозрительных всяких личностей, о чём временами, с оглядкой, полушёпотом говорят!

Наплевать нам на всё это, вот что!

Чего и кого бояться?

Надо всем повсюду общаться. Обо всём говорить в открытую. По-чаще на людях быть. Жить – интересно, со вкусом, этак по-русски, с размахом. Жить, а не существовать.

Перемены – о, разумеется, к лучшему, только к лучшему, – грядут, назревают, мерещатся в грядущем, это уж точно, перемены – и в жизни страны, и в жизни любого из нас.

Всё к лучшему, правда? Не так ли?

Не сомневайтесь, вскорости будет ещё лучше.

Оптимистичность – она, знаете ли, хороша.

Все молоды. Все поголовно полны богатырских сил.

Общение! Жаждем общения!..

Вот каковы были общие настроения.

В том числе и мои собственные.

Во всяком случае – осенью шестьдесят четвёртого года.

Вскоре – всё изменилось.

Вскоре – пришлось нахлебаться мне такого, что было уже не до наивной, с бурей и натиском, оптимистичности.

Но это было – потом.

Нет, причин для того, чтобы, вздрогнув от предчувствия бед неминуемых в поле зрения, вмиг настораживаться, быть в седле, бить тревогу заранее, собираться в комок, защищаться от напастей – пока что не было.

Длилась осень. Сентябрь был огромен и светел.

Мир, открытый для песен, сияньем вставал предо мной.

Какие дали, какие пространства мне открывались!

Измеренья иные. Области, с новизной своей, для души.

Планеты. Символы. Знаки.

Созвездья. Галактики целые.

Звёздный путь с земными дорогами.

Путь духовный. Всегдашний свет.

Что читал я? Какие книги тогда меня окружали?

Пушкин, девятитомник, – и Хлебников, пятитомник, том неизданного, том избранного, томик в малой, компактной серии «Библиотеки поэта».

Гоголь, конечно, – любимейший шеститомник, в котором весь он не умещался, таинственнейший, пленительнейший поэт, в одиночестве, в творчестве, в жречестве, в провидчестве давнем своём, осторонь от суеты, в затворничестве, отдельно от всех, лишь сам по себе, везде и всегда, судьба такая, планида, с миром своим, сотворённым, личным, вечным, наедине, людям русским радатель, речи создатель, света хранитель, ведический гений, пророк.

Лермонтов, четырёхтомный, – и восьмитомник, синий, как плащ в стихах его: Блок.

Тютчев и Боратынский. Двоица: гений, ум.

Шевченко, его «Кобзарь», – и Тычина, ранняя лирика.

Фет и Некрасов. Грусть. Радость. За ними – Русь.

Батюшков и Державин. Музыка и судьба.

Карамзин и Крылов. Слова безупречные. Труд. Молва.

Жуковский, божественно светлый, и Алексей Константинович Толстой, воитель степной.

Волошин: его «Лики творчества», редкостное издание, самиздатовские поэмы и многие стихотворения, – и, сквозь ритмы взхлёб и смыслы круговертью, Андрей Белый: «Петербург», «Серебряный голубь», стихи, статьи, мемуары.

Бунин, скупое, с оглядкой, с опаской, как бы чего не вышло, издаваемый всё же тогда, потому что не издавать уже было нельзя, и вскоре появится девятитомник, – и Куприн, вполне подходящий для советских частых изданий, пусть не весь, но и этого хватит, пока что, ведь он – читаемый широко, и порой замечательный.

Толстой, светоносной глыбой звучащей – «Война и мир», и рассказы его, и особенно – «Казачьи», «Хаджи-Мурат», – и Достоевский, издавна раздражавший, но и притягивавший: «Бесы», труднодоступные «Дневники писателя», давнее, в мягкой обложке, издание.

Паустовский, на редкость чистый человек, педагог великий, весь решительно принимаемый и отстаиваемый всегда, и особенно «Повесть о жизни», – и Грин, человек особенный для меня, никакой не романтик, а несомненный мистик, знак на дороге вдаль.

Цветаева, самиздатовская, прошлой осенью переписанная от руки: большие поэмы, стихотворения, драмы, – а теперь уж и перепечатанная на машинке, догутенберговская, как сказано было, её великолепная проза.

Самиздатовская Ахматова: «Реквием», поздние вещи разрозненные, «Поэма без героя», кусочки прозы; изданные в советское время книги стихов, издания прежние, с их эстетикой, вкусом, стилем.

Самиздатовские: Гумилёв, «Огненный столп» и другие, чередою, книги его; Заболоцкий, «Столбцы», поэмы, великая поздняя лирика; Мандельштам, пятитомник стихов, потом – «Разговор о Данте»; Ходасевич, и прежде всего «Европейская ночь»; Северянин, восхитительный соловей; Клюев, скит, на крови, в глуши; Нарбут, ветер, полынь и воля.

Федерико Гарсиа Лорка. Страсть и тайна, боль и луна.

Пруст, «В сторону Свана», первый перевод, ещё довоенный.

Дос Пассос, парадоксальный коллаж, в переводе Стенича.

Ницше, «Так говорил Заратустра», вышедший до революции солидный том в золотой плотной суперобложке.

Андрей Платонов, страдалец, великий русский писатель, самый первый изданный томик прозы, сразу, надолго, ставшей откровением для меня.

«Полутораглазый стрелец» Бенедикта Лившица. Хлебников и Бурлюк. Заря футуризма. Цвет богемы. Пристальный взгляд.

«Люди, годы, жизнь» Эренбурга. Всеми нами многожды читанные мемуары. Окошко в мир заграничный. Париж. Писатели и художники. Судьбы сложные. Смелый шаг, по тем временам.

Пастернак, стихи: самиздатовские (всем известные ныне) – из «Доктора Живаго», его «Вакханалия» фантазмагоричная, «Нобелевская премия», остальные – в изданных ранее книгах; проза его – «Охранная грамота», «Детство Люверс», прочие повести, некоторые, выборочно, статьи, самиздатовские – «Живаго», «Люди и положения».

Тынянов, трёхтомник, зелёный. Проза. Очень хорошая.

Булгаков, «Жизнь господина де Мольера», в молодоговардейской серии «Жизнь замечательных людей». Но ещё и ранние книги его, в двадцатых годах выходившие. Далее – самиздатовская жемчужина, затрёпанная машинопись – нарасхват ведь – «Собачье сердце». Ну а «Мастер и Маргарита», из журнала «Москва», урезанный, с дополнениями самиздатовскими (все фрагменты, цензурой снятые) – это будет чуть позже, потом.

Олеша, том его «Избранных сочинений», изданных, помнится, в пятьдесят шестом году, и вот-вот уже выйдет книга «Ни дня без строчки», – и Катаев, писатель блистательный, с детства мною любимый, но, выяснилось вскоре, силу всё набирающий, чтобы долго всех изумлять новой прозой своей, небывалой, ещё до «Святого колодца».

Настоящий писатель, Юрий Казаков, человек, в природе свой, лесной, заречный, заоблачный, друг сердечный листьев и трав.

Самиздатовская, чудеса в колесе, да и только, «Автобиография» Евтушенко, сочинение малоприятное.

Вознесенский и Ахмадулина, Аксёнов, с ним и Гладилин – были-то были, но вскоре отодвинулись далеко, потому что уже вырабатывался в те года новый угол зрения на всё, что наиздавали модные шестидесятники.

Двухтомник Хемингуэя, зарубежная, из основных, проза, взхлёб читаемая, нашей молодости далёкой.

Шервуд Андерсон, изумительный писатель. Из настоящих. Однотомник его, единственный, берегу, любя, до сих пор.

Мифы. Древняя Греция. Рим. Отголоски ведических преданий русских. Герои. Боги. Виденья, порою.

Гомер. «Илиада». Русский перевод. «Одиссея». С голоса. В саду моём. Или у моря. Ветер, треплющий волосы.

Античная лирика. Некие осколки. Фрагменты целого. Мир, никуда не ушедший. Отзвуки слова смелого.

Русские сказки. Чудо. Кладёзь премудрости. Право на первородство. Всюду – правда. Вечная слава.

Рембо, поначалу маленькая книжка, самая первая. Но и этого было достаточно, чтобы всё мгновенно понять. Потом – начинались поиски других изданий. Открытия продолжались. Тексты – события. Прочитать, впитать и принять.

Футуристы. Что попадётся. Что найдётся – чисто случайно. Вдруг отыщется. Позабавит. Озадачит. Потом – удивит.

Символисты. С ними сложнее – но и проще: слово скуднее. Несмотря на трудности смысла. Вроде алгебры: знаки, числа.

Анненский – начинался не сразу: его присутствие в мире осознавалось постепенно. Дивный поэт пришёл ко мне чуть позднее, вместе с Музой своею, с мукой своей и с музыкой, равной которой – нет.

Груда целая самиздата: пародия на роман Кочетова, писателя советского, сверхкондового, «Чего же ты хочешь?», названная, в лоб слегка, с юморком, «Чего же ты хохочешь?» – не помню, кем сочинённая, – было такое произведение встарь, по рукам, забавляя нас, ходило в шестидесятых; Введенский, Хармс и Олейников – обэриуты – мир гротеска и парадоксов; ранние тексты Бродского, в основном образцы его поисков себя самого, своего стиля, строя и смысла, где попадались изредка полноценные, крепкие вещи; стихи московских поэтов, то есть Холина и Сапгира, Горбаневской и Красовицкого, ну и прочих, взброс, и так далее.

Много читал я тогда.

Всего ведь не перечислишь.

Книги – рядом всё время были.

Книги – сами ко мне приходили.

Когда, внезапно, как правило, если есть хоть какие-нибудь, в таких состояниях, правила, ощущал я, всей кожей, хребтом, некий зов, знако-

мый до боли, неизменно всемогущий и властный, то всё моментально бросал – и устремлялся в пространство.

Пригородные, грохочущие всем нутром своим, электрички уносили меня всё дальше от столицы, всё глубже в осень.

Я выходил, бывало, на незнакомом перроне, шёл наугад куда-то, лишь бы идти вперёд.

Леса вокруг раздвигались в обе стороны, передо мною, словно в живописи старинной, незаметно и постепенно, как во сне, так могло показаться, но, конечно же, наяву, раскрывалась весьма загадочная, ускользающими от взгляда, словно в прятки со мной играющими, чтобы вновь укрупниться, выявиться так отчётливо и спокойно, что невольно я диву давался, очертаниями окрестных, передвижнических пейзажей, вся лучающаяся, бликующая, в жёлтых листьях, пятнах, мазках чьей-то кисти нетерпеливой, но чудесной, преображающей всю округу, похорошевшую от волшебного преображения, бесконечная перспектива.

Свет с небес преломлялся, как в линзе, в тёмной, сонной воде прудов.

На буграх, высоко над прудами, над водой, отражающей их белизну и ампирную стройность, одиноко стояли усадьбы.

На их фасадах, морщинистых, словно старческие, из прошлого дворянского, показавшиеся, чтоб остаться здесь навсегда, породистые, выразительные, по-своему добрые лица, колонны, прямые, строгие, неуклонно тянулись вверх, как старые, но, меж тем, всё ещё очень крепкие древесные, с твёрдой корою в рубцах и шрамах, стволы, и поблёскивали, поигрывали весёлые зайчики солнечные в зеркальной, почти астральной, лаковой темноте раздробленных перемычками деревянными на ячейки, соты напоминающие, пыльных оконных стёкол.

Чирикали вездесущие, любопытные воробьи, картаво, по-тарабарски, покрикивали вороны.

От крыльца со ступенями, брошенными, наподобие веера, вкось, разбегались, ну прямо как взапуски детвора, прямые дорожки, уходили в запущенный парк или дальше, в заглохший лес.

Там просматривались деревни – деревянные серые избы, иногда уже покосившиеся, будто сложенные в гармошку, иногда, пореже, целёхонькие, с резными, по русской традиции, наличниками и ставнями.

Там пели взахлёб, неистово, часовыми в глуши, сторожами всех времён и семейств, человеческих или птичьих, не всё ли едино здесь, на скудной земле, петухи, глуховато, как будто спросонок, полаивали собаки, воспалённо и дробно алела во дворах захудалых рябина.

Там шла не совсем ещё понятная мне, потайная, укромная, сирая, скромная, скромнее некуда, жизнь, закрытая от всего ненужного, posteriorного, полностью отделённая от жизни чужой, городской, и, тем более, жизни столичной, там шла стародавняя жизнь, домостроевская, возможно, со своими строгими правилами, разительно непохожая на жизнь в приветливых, светлых, больших украинских сёлах, давно, хорошо мне знакомую.

Это была Россия, и я каждый раз ловил себя на том, что лишь по своей воле, по своему желанию, нахожусь нынче в совсем иной стране, чем та, что оставил я в Диком Поле, на юге, в Скифии, в запорожских землях исконных, моя, родная, степная.

Что-то замшелое, тусклое, закосневшее в дряхлости, ветхости, угрофинское, колдовское, вдруг бросалось в глаза, а потом почему-то сразу же пряталось неизвестно куда и зачем, не желая совсем выпячиваться, вот и всё, на передний план.

Церкви, порою заброшенные, с поросшими сорной травой и даже как-то прижившимися высоко над землёй деревцами, ободранными куполами, стояли в отъединении от повседневности, в полном одиночестве, где-нибудь поодаль, и если были на них кресты, то, увы, покосившиеся, кривые, но чаще их не было вовсе, и отсутствие их очевидное ощущалось особенно остро – точно самое главное в песне в приказном устранили порядке, никого об этом не спрашивая и ответственности не страшась, точно вычеркнули из списка нечто необычайно важное, или нужный предмет убрали, или вырвали прямо с корнем плодоносящее дерево и куда-то его увезли, и осталась одна пустота, в которой мистическим образом угадывалось присутствие креста, и, при скромном даже воображении, он высветлялся сквозь синеву, появлялся на миг и опять растворялся в сентябрьском небе, где уже сменялась дневная синева предвечерней дымкой, наплывали вновь облака, появлялся прохладный ветер, пускался гулять по окрестностям, и слетали с ветвей дрожащих огоньками жёлтыми листья, и откуда-то издали, что ли, да, конечно, издали, впрямь из-за резко прочерченной грани горизонта, из необъятного, беспредельного зазеркалья, из-за глинистых, бурых откосов, из древесной коричневой гущи, доносился крик электрички, и пора мне было, пора возвращаться в Москву, обратно.

И я выбирался к пустому перрону, и вот уже мчался в несущемся сквозь убегающие в обе стороны, влево и вправо, наугад, без оглядки, деревья, признающем лишь скорость, ею козыряющем в спорах, вечных и бессмысленных, с расстоянием, и её же не забывающем никогда прибереечь на потом, целенаправленно мчащемся туда, куда полагается по расписанию, поезде, и за окошком вагонным начинало уже смеркаться, дверцы с визгом резким распахивались и с отчаянным треском захлопывались на всех остановках, состав срывался мгновенно с места и сразу же, без заминки, устремлялся вперёд, пассажиры усаживались поудобнее на жёстких сиденьях, за окнами темнело, внутри вагона зажигали мигающий свет, и в стекле отражались все мы, – и вот уже скоро Москва, подъезжаем, ну вот и приехали, – я выходил на вокзале, спускался в метро, добирался домой, постепенно, не сразу возвращаясь уже в другую, совершенно другую жизнь, столичную, благоустроенную, устойчивую, надёжную, преспокойно, легко сносящую все порывы мои в путешествия, относящуюся ко мне, как, пожалуй, к весьма романтически настроенному фантазёру, принимающую меня, со вздохом, конечно, и даже, порой, с невольным укором, уж такого, каков я есть, поскольку вряд ли кому-то удастся меня исправить, но, впрочем, я сам по себе, а она сама по себе, вот на этом-то и поладим, – и я в своей комнате медленно привыкал к вечерам столичным, чаёвничал, музыку слушал, читал, а то – в коридоре звонил телефон, меня подзывали старушки-соседки, я подходил, брал трубку, разговаривал, – что ж, опять звали в гости, – да-да, приеду, – собирался, накидывал плащ, выходил, уезжал, приезжал, добирался до нужного места, – встречали: приехал! мы рады, привет, поскорее входи! – вечер длился, уже – в общении, в ритуальном тогдашнем чтении, в разговорах беспечных дружеских за вином, превращаясь в ночь, – все спохватывались: успеть бы на метро! – собирались, прощались, расставались – буквально до завтра, – я спешил к метро, забегал, запыхавшись, вовнутрь, – и ехал, приходя в себя постепенно по дороге, до Автозаводской, – выбирался на улицу, мигом добирался домой, – ну вот, наконец-то я здесь, теперь – отдыхать. Но не тут-то было!

Ночь томила меня, манила всем заветным, что сердцу мило, что возвысил я и воспел.

Ночь вставала в окне, дышала всем, что в прошлом уже осталось, всем, что я пережить успел.

Я не спал. Ночь была смурною. Ветер вздрагивал за стеною – и, к стеклу прикипев, молчал.

Осень прежней цвела весною. Образ времени предо мною оживал – и уже звучал.

Мне хотелось бы выразить ныне свет в апреле и звук в апреле, свет – спасительный, звук – начальный, тот, с чего всё и началось.

Томящийся в смутном предчувствии чего-то совсем небывалого, долгожданного, свежего, нового, кровно важного для меня, вдруг увидел я свет целительный и услышал я звук спасительный, в первых числах апреля, на родине, посреди блаженного дня.

Свет был ясным и золотым.

Звук был чистым и долговечным.

Ко мне вдруг пришли стихи.

Сами. Я стал их записывать.

Это было – моё. Я знал.

С той поры и пишу их. Поныне.

Вновь тревожит меня родное,
слух и взгляд, словно встарь, открыв.

Свет со мною и звук со мною.

Навсегда. Покуда я жив.

Свет – спасает, звук – пробуждает.

Свет – ведёт сквозь темь, звук – речь рождает.

Сон ли? Явь ли? Так и живу.

Всё тружусь. А куда деваться?

Нам никак нельзя расставаться.

Свет – увижу. Звук – призову.

Свет – придёт. Звук – раздастся снова.

Шевельнётся первое слово.

Прорастут другие за ним.

В нашей речи – вселенской ткани –

мы извечно стоим на грани

тьмы осенней и вешней рани,

где горенье в душе храним.

Надо сказать, что в ту пору, в шестьдесят четвёртом, в апреле, писал я стихи запоем.

Пришло наконец – моё.

Новое. Настоящее.

Понимал я: надо работать.

Продолжалось это и в мае, и окрепло тогда, настолько, что чувствовал я за плечами лёгкий шелест расправленных крыльев, когда, молодой, вдохновенный, ощущавший себя поэтом настоящим, жил я в Крыму, а потом, одинокий романтик, наслаждаясь полной свободой, изумляясь всему на свете, путешествовал, налегке, без излишних вещей, по крымским городам и посёлкам приморским, – и несколько позже, летом, когда у себя на родине твёрдо знал я, что всё, о чём в предыдущие годы мечтал я, всё, во что я столь искренне верил, всё к чему

я стремился упрямо, выживая по-своему в скифской, грустноватой, степной провинции, всё моё – непременно сбудется, что вскоре стану я жить не где-нибудь, а в Москве, – и осенью, той, московской, о которой вам я рассказываю в этой книге, вразброс, урывками, в самых разных её частях, продолжалось, да и зимой, и весной, во времена смогистские, с бурей и натиском, по Гёте, или по Шиллеру, неважно, скорее по-нашему, по-русски, непредсказуемо, так, что поди гадай, чем это всё завершится, и завершится ли полностью когда-нибудь, и не станет ли бесконечностью, вечным движением ввысь и вглубь, неожиданным кружением по столице, новым сражением, только с кем, и зачем, и когда, – и особенно сильно выплеснулось летом в раю, иль в аду, как Рембо когда-то сказал, и осенью шестьдесят пятого, судьбоносной, без иронии перестроечной, в самом деле необычайной, той, с которой милее свет стал негаданно, боль исчезла, и любовь наконец воскресла среди огнём опалённых лет, – и всё это стало книгами, с запозданием страшным изданными, в девяностых уже, и книги сами к людям пришли, точно так же, как намного раньше они приходили к людям в бесчисленных самиздатовских перепечатках, – и теперь я смотрю на книги, листаю порой страницы с такими знакомыми текстами, и вижу – истоки, апрель.

Конечно, как и у всякой истории есть предыстория, так и у этих истоков есть свои пред-истоки, так я выражусь нынче, надеясь, что меня хоть однажды поймут, и это – мои времена криворожские, времена всех тогдашних стихов, начиная с осени шестьдесят первого, и шестьдесят второй, весь, работа сплошная, и весь шестьдесят третий – годы поисков, ученичества, обретения речи своей, но об этом лучше – потом.

Теперь мне куда важнее мой апрель, – и я вижу себя в нём, в самом начале месяца, и сам себе удивляюсь, и вере тогдашней своей в грядущее, и отваге молодой, и надежде твёрдой на самое лучшее в мире, и солнцу над головою, и звёздам, и радости творчества, и грёзам своим, и яви, и снам, и, конечно, любви.

Когда бы не свет и звук...

Пришли ко мне они вовремя!

И я ощутил разъятость времени, для которого нет невозможного в мире, и протяжённость пространства.

И стал – навсегда, полагаю, – отныне самим собою.

Весна разрасталась не только в природе, не только в творчестве, но и в душе моей.

Пела каждая клеточка всего моего существа.

Наш дом переполнен был музыкой, которую слышал я, как никто другой, днём и ночью, и записывал постоянно.

Я ходил на работу, в школу, где числился воспитателем группы продлённого дня. Ребятишки меня любили. Я с ними вроде бы ладил. Находил с ними общий язык. Был с ними не воспитателем, но попросту старшим другом. Выросшие, годами они потом вспоминали меня. Наверное, было за что. Хорошо, что – так.

Но жил я – в собственном, стройном, непохожим на прочие, мире.

И мир этот с миром природы и миром творчества связан был так прочно, что вряд ли бывает прочнее незримая связь.

Направляясь ли на работу, возвращаясь ли поздно с неё, бродил я по берегам наших рек, неспешных, седых, в парках, где жгли костры, сжигая в них прошлогодний мусор, прелые листья, срезанные садовниками ветки, и к ясному небу поднимался пахучий дым, и подрастала свежая трава, и птицы окрестные пели многоголосым, неслыханно слаженным

хором, а воробьи, которых в ту пору было так много в нашем городе, дружно чирикали, собираясь везде такими невероятными скопищами, что были слышны отовсюду, где бы ты ни находился, и вода в Саксагани к вечеру становилась леностно-томной, а в Ингульце становилась вода напряжённо-тягучей, и Саксагань сливалась с Ингульцом, и вот уж один он, расширившийся, возможно, и не такой могучий, каким был он в древности, судя по сохранившимся сведениям, когда назывался он в Скифии Пантикапесом, а когда-то, совсем давно, во времена ведические – Хингули, но ещё крепкий, понимающий: силы при нём, устремлялся к югу, спиральями, витками, узлами, изгибами, поворотами, разворотами, всё дальше, дальше и дальше, по холмистым нашим степям, становящимся постепенно ровнее, приземистей, шире, к Днепру, чтобы вместе с ним выйти, вырваться к морю.

Я и сам вышел, вырвался к морю тогда, в конце моего памятного апреля.

Потому что – нужно было море.

Я взял да уехал в Крым.

Там, в раю субтропическом, в мае, стал я уже окончательно, повзрослев, ощущая путь, к сути звавший, самим собою.

Любовь? Да, была и любовь.

И весь южный берег, праздничный, пряный, хмельной, чарующий, накрепко врезался в память, с терпкими, сочными запахами каменистой прогретой почвы и диковинных, буйных растений, и волны морские пенились под луной, и звёзд было много, не счесть, и небо темнело, сгущаясь до черноты, до смоляной зеркальности, и тускло белели стены узорных дворцов и ограды, по шоссе проезжали автобусы, и резкий, дорожный запах отработанного горючего тут же, на месте, смешивался с тонкими, благородными, вкрадчивыми ароматами ковровых трав и цветов, а море плескалось внизу, солёное, бесконечное, медленно прогревающееся, и шли по нему корабли, а наверху, на склонах горных, уступами, ярусами гнездились дома, сады завершались роскошными парками, парки тянулись в горы, и там, совсем высоко, плескалось, переливаясь лучами прозрачными, небо, и шли по нему облака, и дымка, повиснув над морем, сгущалась в хмарь, тяжелела, темнела, и шли дожди, и я выходил побродить под дождём, в своём синем плаще, и шёл неизвестно куда, по наитию, но всегда получалось так, что туда, куда мне и надо было, и я приходил, а дождь всё лил, и я возвращался, и ждала меня там любовь, и дождь, помедлив немного, переставал шуметь по листьям, светило солнце, и сердце вновь оживало, и всё это было тем, чего я столь долго ждал и чего наконец дождался, и теперь, пожалуй, пора идти мне дальше куда-то, – сон ли? явь ли? – не всё ли равно вам? – с явью сон, сновидение с явью, – всё возможно и всё допустимо, – сон, пожалуй, а всё же – явь.

И я уехал. Ветер путешествий меня окликнул. Я увидел Крым в цвету, на грани мая и июня. Весь Южный берег, от Алушты и Гурзуфа до Симеиза, был распахнут мне. Бывало, в Ялте, вечером, в пору, я корабли, печалюсь, провожал. И Севастополь вдруг меня встречал, с прекрасными своими кораблями. Мелодией восточной прозвучал Бахчисарай. Был Симферополь жарок и странно бел, сплошные перекрёстки, ракушечные лёгкие дома, беспечные балконы. Старый Крым, с его тогдашней сонной тишиной, с развалинами караван-сарая, средневековой сказкою мечети Узбека, сквозь окрестную листву, и с домом Грина,

и с его могилой, и с грецкими орехами впотьмах, и с тополями в утреннем тумане, сменился Феодосией, чудесной в своей дремотной памяти о прошлом. Потом был Коктебель. И понял я, что здесь когда-нибудь я буду жить. И я вернулся в скифские края, на родину. А летом вновь уехал, уже в Москву. И стал в ней обитать.

Но там, на радость мне, стоял сентябрь, и я срывался с места, уезжал, то во Владимир, то на Нерль, то в Суздаль, то в Подмоскowie, и потом, усталый и полный впечатлений, возвращался в столицу милую, к семи её холмам, и небесам, и рекам, и домам, с которыми надолго не прощался.

И такая вот круговерть путешествий, перемещений в пространстве, да и во времени, а вернее всего – сквозь время, сквозь пространство, к речи моей, к этой музыке или муке, к этой радости в каждом звуке, в каждом слове и в каждом шаге к новой грани, к сплошной отваге, увлекала меня, притягивала, вовлекала меня в движение, постоянное, необходимое.

Да и Москва сама, со всеми (ноты в гамме?) своими древними, широкими кругами, не то магическими, с брюсовской подачи, не то лирическими с виду, не иначе, не то эпическими, что ли, со своими, от центра самого, от старого Кремля, от сердца города, развёрнутыми туго спиралями, прорывами из круга, была, возможно, зримым воплощением, наглядным образом той жизни импульсивной, той молодости, всё-таки моей, не чьей-нибудь, а именно моей, с которой невозможно мне расстаться и днесь, в мой-то зрелые лета, настолько много значила она в судьбе моей. И так, стоял сентябрь.

И на таком-то небывалом фоне сплошных открытий, частых путешествий, взаимопревращений, откровений, надежд, восторгов, – и произошла, поскольку быть иначе не могло, незабываемая наша встреча с Губановым, в далёком сентябре, в прекрасном времени сиянье, состоялось знакомство наше, знаковое, впрямь, которому, знать, было суждено стать дружбой, непохожей на другие, из коей, в свою очередь, свободно, естественно, легко, и произрос, всё изменив повсюду вскоре, СМОГ.

3

Вот хорошее слово – предание. Но предание ли – всё это? Слово – сказанное. Переходящее. Из уст в уста. От человека к человеку. От поколению к поколению.

Правдивый рассказ о былом. Так. Но – какой же ещё? Правдивый – значит, живой. Живой. Правдой жизни – правдивый. Живучий. Тот, что останется. Надолго. Тот, выживающий. Вызывающий – дух выживающий. Призывающий – навсегда.

Предание. В нём – гадание, и рыдание, и страдание. Сострадание? Да, конечно же. Дух и свет. Живая вода. Над живой водой – ожидание: ах, взойдёт ли твоя звезда?

А звезда, слава Богу, всё всходит и всходит. Жаль, что время уходит. Жаль, что многое не доходит до людей, – но потом дойдёт. Слишком часто уж так выходит. Но когда-нибудь да приходит – сразу всё. И любой находит всё, что в руки к нему идёт.

Ну а тот, под звездой, восходит к новым звёздам. И снова – ждёт. Снова по мосту переходит – но куда? Свет его ведёт. Свет ведёт – и в Дух переходит. Звук приходит. И – Речь грядёт.

Предание. Оправдание. Чего? Судьбы? Речи? Предание. Спецзадание: выполнить. Передать. Предание: здание. Выстроить. Возвести. Предание. Созидание. Вспомнить. Выстоять. И создать.

Предание. Предвестие апокрифа. Предвидение канона. Для канона – крупного плана, общего фона. Верного тона.

В преддверии речи.

...Зажигает, вздохнув, человек подсознания свечи.

Это уж точно.

Поскольку день ясный, солнечный, и солнце стоит прямо над Святой горой и светит мне в окно – и, естественно, света сейчас более чем достаточно, – я зажигаю – всё-таки зажигаю, мысленно зажигаю, – знаю, что делаю, – свечи, свои свечи, наши свечи – пусть горят они ярко, так ярко, чтобы озарилось прошлое моё, озарилось – и появилось, всё, полностью, ничего вдалеке не утаивая, ничего от меня не скрывая, потому что не скроешь того, что в душе столь давно всё живёт и живёт, не запрячешь куда-нибудь, впрок, с глаз подальше и чтоб не мешало пока, – нет, оно обнаружится и возвратится ко мне, зазвучит, расцветёт, лепестки настроений раскроет, стебельки состояний протянет к источнику света, чтобы вновь подниматься на этой земле по возможности в рост, чтобы корни поглубже ушли в заповедную почву, чтобы зёрна созрели, упали в родимую почву – и снова с весною взошли, чтобы слово пришло ненароком и сердце согрело, задышало свободно, расправило крылья свои, поднялось в небеса птицей Сва, птицей Сирином стало, Гамаюном запело и Фениксом в пламя вошло, возрождаясь в огне, воскресая, – огниво, кресало, жар костра вдохновенного, лампа, лучина, свеча – всё горит, всё пылает, всё ночь освещает земную, чтобы речь пробуждалась и в даль за собою вела, чтобы в этой дали зарождалось, как прежде, сиянье, чтобы здесь, в настоящем, оно поддержало меня, чтоб в грядущем оно продолжалось, – отсюда и свечи, свечи, внутренним зреньем давно различимые, в них – дух эпохи, что слишком легко не уходит, – и, похоже, что так и останется в нас, никуда не уйдёт, потому что куда уходить ей? – и к кому ей податься? и кто её примет сейчас? – нет, не хочет искать она где-то иного родства, пониманья она не желает искать у других, – здесь её понимают и здесь она с нами сроднилась, – оставайся же, милая! – будь, вся, как есть, у меня, и не просто в гостях – будь как дома и чувствуй свободно в этом доме себя, будь своей, будь самою собой, как была и всегда ты, – мы чаю с тобою заварим, посидим, побеседуем, – время вдвоём коротать не впервой нам, ты знаешь, – ты музыку вспомнишь былую, свет былой, дух былой, – и сольёшь их в звучанье одно с тем, что помню и я, с тем, что нынче пишу я запоем, с тем, что слишком люблю, чтоб не выразить в слове его.

Наше с Губановым: СМОГ.

Пусть это и аббревиатура – но что-то опять-таки щёлкнуло, совпало, сомкнулось, таинственный механизм речи сработал, аббревиатура сменилась, как по волшебству, чуть ли не универсальным понятием, – и вот он налицо, знак времени, призыв к объединению – для моего поколения.

Почему это произошло? Да потому, что слово СМОГ воспринималось, как слово *сумел*, мобилизовывало, притягивало к себе, точно

магнит, заставляло подтянуться, призывало к здоровому творческому соревнованию, к созидательному труду, чтобы когда-нибудь кто-нибудь из смогистов, хорошо поработав на литературной ниве, с полным правом мог сказать: сумел.

Магия слова, как видим, и важна и нужна. Сила слова – в проецировании живой энергии на людей и в возвращении этой энергии к исходной точке, дабы процесс повторялся.

Эпопея с нашим СМОГОм тянется вот уже шестое десятилетие, а если быть точнее – добрых пятьдесят четыре, с хвостиком, года, – и впереди ещё и следующий год, и грядущее столетие, – и завершения ей, судя по всему, не предвидится вообще.

Гениальная выдумка. Иначе и не скажешь, как ни пытайся, как ни подбирай к ней, тишком или в открытую, какие-нибудь там отмычки или ключи.

Ларчик этот – с секретом, да ещё каким! Так-то просто, как ни бейся, как ни пыхти, – не откроется. И как это осенило нас с Лёней – тогда ещё, в юности нашей? До сих пор диву даюсь.

Ларчик – вот он. Смотрите. Он давно – на виду. Было два ключа от него. Один ключ – у Губанова, да так с ним и остался. Другой ключ – у меня.

Что в ларчике – ещё, даст Бог, узнаете. Если его открою – для вас. Поживём – увидим. Так всегда говорят.

Ларчик этот – открывать слишком часто мне, право же, незачем. Ни к чему это. И почти не для кого. Я и так слишком хорошо, лучше всех остальных, знаю – что там, внутри. А там – нечто.

Странная эпопея. Поистине – странная. Не желающая – исчезать. Не желающая – расставаться: и со мной, и со всеми нами. Выживающая – кровь из носу, во что бы то ни стало, но только – так, и не иначе. Вызывающая – огонь, да не один, все огни – на себя. То есть – ушедшая далеко вперёд. Как на войне, в расположение сил противника. И всё ещё находящаяся там, впереди. Воспевающая – речь и явь, дух и свет, честь и братство. Затевающая – нет, уже давно затеявшая – вечный спор, – нет, поединок вечный – с тем, что всюду на земле всего страшнее – с равнодушием беспамятным людским. Начатая – тогда ещё, давно, в советское время. Продолжающаяся – ныне, в междувременье. Готовая протянуться – в грядущие времена. И, несомненно, будет она продлеваться и в них.

Эпопея – типично русская. Со стержневым, врождённым, – всё и насквозь пронзит – природным, как речь, мышлением. С несколькими – так уж вышло – слишком уж разными авторами, пока ещё, всё ещё, вместе ещё, одни – довольно отчётливо, другие – уже посмутнее, а третьи – те еле-еле в глубокой дали различимы, но всё-таки прорисовывающимися, хотя и основательно уже, решительно и даже беспощадно прореженными, пристально отобранными самим суровым временем, до нас двоих – меня с Губановым, а там, в дальнейшем, в скором будущем, тем паче – в грядущем, там, в сознании потомков, число всех этих авторов, я знаю, всенепременно будет сгущено – до одного – из мифа, из легенды, из прошлого ли, – всё уже едино, всё ясно всем, и так всегда бывает, – до одного лишь автора, конечно, – до такого нового Гомера. Уже не эллинского – русского. Но, впрочем, Гомер, тот, прежний, правильной – Омир, фракиец был, а значит – тоже рус.

Эта новая «СМОГиада» или «СМОГиссея» – всех нас, небось, да и потомков наших, и мало ли кого ещё переживёт.

Эпопея эта, и прежде всего – скрытая до сих пор от многих любопытствующих подоплёка её, основа её, почва её, – всё обрастает и обрастает, ну прямо как днище большого корабля – множеством прилепившихся к нему на нелёгких морских путях, самых разнообразных, и мелких, и покрупнее, водорослей и ракушек, так и путешествующих вместе с ним, – всевозможными, зачастую нелепыми, иногда и бредовыми, вымыслами, беззастенчивыми, с выкрутасами и переборами, в общей сумме своей и яйца выеденного не стоящими, но поныне упорными и обильными домыслами, ну и, само собой, неисчислимыми по количеству их, не говоря уже о качестве вранья, слухами, – эпопея эта, подчёркиваю, давным-давно уже стала отечественной легендой – и немумолимо, неудержимо превращается в самый настоящий, классический, не по греческому – по отечественному – так доходчивей – образцу, со своими богами и героями, со своими бурными событиями, невероятными приключениями, борениями с силами тьмы и со злом, со своим, как тугая пружина, закрученным, острым – лезвием, жалом! – сюжетом, со своими загадками и отгадками – на авось, со своими метаморфозами – и, конечно же, давними тайнами, с тайным смыслом подспудным своим, с зашифрованным знаком судьбы, с потаённым, запрятым вглубь, на потом, кодом той, миновавшей эпохи, по которому, прежде его отыскав и осмыслив, там, в грядущем, когда-нибудь всех нас разыщут и встретят, – непреложный, немеркнувший миф.

Наше содружество и каждый персонаж этой разыгранной нами когда-то, в открытую, на глазах у всех, в том числе и прежде всего – у властей, многоактовой, дерзкой, с прологом и эпилогом с полудетской, наивной завязкой и вполне уже взрослой, жестокой развязкой, сумбурной, написанной набело, по вдохновению, пьесы, никакой и не драмы, а, конечно же, натуральной трагедии, –

(напомню, что действие происходило в середине шестидесятых, посреди истосковавшейся по свободному слову, огромной и тогда ещё неделимой страны, в самой сердцевине того самого, тоталитарного режима), –

продолжает, с годами – всё хлеще и хлеще, находиться в тумане разросшихся, шатких, зыбучих, но ставших привычными, слишком условных, слоистых, расплывчатых, чуть ли не призрачных, недостоверных, таких ненадёжных, таких никудышных, но всё же таких неизбежных и всеми охотно лелеемых, толков.

И в наши, нынешние дни, на склоне века минувшего и в начале нового века, СМОГ, почему-то в числе диссидентских групп, а не как литературное движение, изучают, уже – изучают, – что же, к этому, в общем-то, всё ведь и шло! – на занятиях по новейшей истории в школах, лицеях, колледжах и в институтах, то есть в средних и в высших учебных заведениях, – и подростки, и молодёжь, – причём, что и забавно и грустно, и досадно, и возмутительно, – сами преподаватели – ровным счётом никакого понятия не имеют – о сущности явления.

И не такое ещё, а похлеще, позабористее, побредовой, порой приходилось мне слышать. О былом. О себе. О друзьях моих давних. Обо всём, что прошло. О таком, что вовек не пройдёт – потому что достаточно света с ним в мире юдольном.

Досужие болтуны, сроду не бывавшие в нашей шкуре, задним числом охотно переминают нам косточки в устных рассказах и в печати. Действует магия слова. Притяжение его велико и опасно для них, потому что слово СМОГ просвечивает их, как рентгеном, – и сразу видно, кто есть кто. Но они этого – не понимают. Они обольщены, околдованы. Им хотелось бы оказаться там, на нашем месте, в гуще минувших событий. Им – это конкретным болтунам. Бесчисленным и безликим. Хотя – некоторые рожи и рыла из этого стада отчётливо видны.

Хорошие люди – другое дело. Хороших, толковых – мы тогда привлекали. Особенно своих – мы их за версту чуяли. Мы бы их – так я думаю, так полагаю, – приняли бы к себе. И если они жалеют сейчас о том, что не были с нами, – их можно, конечно же, можно понять. Значит – из такого же теста, как и мы, эти люди. Значит – нашей закваски. Ну, не успели они тогда – быть вместе с нами, это понятно. Не сумели. Обстоятельства, значит, были такие в жизни, что не позволили сблизиться. Ну так – и теперь ведь можно объединиться! А что? Пусть они теперь – сумеют. Пусть будут все они – жалеющие ли, желающие ли, – вместе с нами, оставшимися, уцелевшими. Только и всего. Сумеют ли? Это ведь важно – взять да и суметь! Смочь. На то он и СМОГ.

В стаде же болтунов – давняя паника. Они-то, может быть, и хотели бы – к нам. Да не сумели. Тогда. И сейчас – не могут. Не дано. И сам СМОГ, а он – дух такой, – их не пустит. Не допустит безобразия.

СМОГ – это как зона в «Сталкере». Вы там поосторожнее себя ведите. А то – мало ли чего выйдет? Здесь всякое бывает. Уж такое бывает, что потом долго не опомнитесь. А может, и вовсе не опомнитесь. Деградируете. Отоmrёте. Исчезнете, как вид. На то она и зона, что – не такая, ну вот очень уж не такая, разительно, фантастически – не такая, как все. Особая. На то он и СМОГ, чтобы, поначалу всех, без особого разбора, принимая, быстро в них разобраться – и беспощадно отсеивать. Отбрасывать. За ненадобностью. Любопытное большинство – за то, чтобы не путали Божий дар с яичницей. Какую-то часть – за профнепригодность. Некоторых – из брезгливости. И откровенных гадёнышей – за предательство своих же товарищей и за подлость по отношению к ним. Так-то оно лучше. Спокойнее. Жить. Дышать. И работать.

И остались в итоге – единицы. И это – правильно. Даже очень правильно. Только так и надо. Так. Во имя речи. Так. Во спасение духа. Остаются всегда – считанные. Избранные. Это и есть – объединение наше. Содружество. И оно – уже сгустилось. Особенно – с годами. Внутренне собралось. В комок. В плод. И в нём – ядро. Из него тоже ещё что-то – или кто-то – со временем – вырастет. Встанет во весь рост. На земле. Под солнцем. В единственном числе. Один. За всех. Так всегда бывает. Вот именно так, только так – и бывает. Вот из этого и исходить надо. Исходить из этого – и подходить к этому. Восходить.

А то – СМОГ им подавай! В СМОГ они хотели бы попасть! Ещё чего! Дудки! Мы-то – немногие – Божьи дудки. А вы – чьи?

Числиться в смогистах давно уже стало чем-то престижным, вроде как некоей отмеченностью, причастностью к таинству. Оттого и развелось липовых членов нашего содружества видимо-невидимо. Но желанные врата – наглухо для них закрыты.

Правдивое слово – не терпит полуправды, а тем более – вранья.

Слово – тело. Оболочка незримая – для мысли. Для поэзии. Здоровое тело. В нём – здоровый дух. В нём – нескончаемый свет. Слово –

смело. Могло. И смогло. Сумело. Зародиться. Восстать. Уцелеть. Возрасти. Прозвучать.

Некоторые западные слависты, привязанные к прошлой поре по роду своих занятий, да и отечественные исследователи новейшей литературы – были они раньше в умеренном количестве, те, кто постарше по возрасту, а теперь появились уже и те, кто помоложе, и даже совсем из себя молодые, а раз уж появились, то наверняка их количество будет расти и расти, – меланхолически сетуют на то, что история СМОГа так никем и не написана.

Как это – не написана? Я написал об этом. А кому же ещё – писать?

К тому же тут обязательно учитывать надо: как – писать, что – писать, почему – писать.

СМОГ – он такой, сам по себе, особенный.

Зона. Круг. Знак. Звук. Среда.

Уж кому, как не мне, это лучше всех знать?

СМОГ – он такой, он – сумел, он – не то что прочие литературные «группы», которых вы же, голубчики, что-то там этакое пишущие и подо всё, обязательно, в первую очередь, базу свою подводящие, понаплодили, как будто кроликов, – девать их некуда, – хотя некоторых из этих самых «групп» сроду в природе не было.

Тем более – в природе речи. Слова.

Речь – она со СМОГом. Слово – оно со СМОГом.

Попробуйте-ка возразить! Не получится. Не сумеете. Не дано.

Я один-единственный в мире, один-единёшенек на всей этой земле, один, – понимаете? – долгие годы – один, лишь один, – потому что давно нет на этой земле, в этом мире, где «пахнет крышами, мертвецами, гарью с тополя, и стоят деревья – бывшие, и царят – лицом истоптанным», в этом мире, где «камень горбится, распрямляются в гробу», где «мне приходится пять шагов несчастных губ», в этом мире, где «жрать мне нечего, кроме собственных затей», где «участь певчего – только в сумерках локтей», – моего друга молодости, Лёни Губанова, знаю о СМОГе – всё. Да не просто – знаю. Ведаю.

Вот потому – и пишу о СМОГе.

Как надо – пишу. Сам.

Придёт время и для издания.

И на учёные головы, и на удалые, и на те, о которых в народе говорится «дурья башка», на всякие, – действует невероятной своей энергией, – подобно тому, как воздействовал на наших ведических предков находившийся в особо почитаемом святилище небесный камень с созвездия Орион, – созданное нами когда-то и обретшее право на жизнь в мире – слово. Похлеще всякого психотронного оружия. Ведическое слово. Слово-дело.

Ну а теперь – ещё немного – о СМОГе. Почти трактат? Заметки на полях? Преданье старины глубокой? Дума? Стихотворение? Раёшник? Притча? Сказ? Дань прошлому. Былина? Слово? Плач?

Смог – это значит *сумел*. Ну а смог, сумел выжить – сумеи же сказать. Произнести – слово. На чутье, на дыхании, чудом – но удержаться в яви. Ринуться в стихию речи – и обрести в ней дом. И продолжать – путь.

Ощутить серебрящийся, мерцающий камертон позвоночника в соловьинной украинской ночи – ибо хребтом чуем подлинное, сокровенное, тайное – и здесь, в пелене мглы, в гуще тьмы, на пороге смущённого света, и там, в космическом единении, равновесии, может быть и гармонии, куда так тянутся на ошупь стебли, стволы, зрачки и ладони, – и отправить, благословив, проводить в мир ещё звук, – услышанный столь отчётливо и воспринятый только тобою и никем иным, словно бы извне, свыше, из глуби сущего, из выси родственной, – импульс, биение живой ткани естества.

Роящееся, кружащееся, обволакивающее душу звучание. Музыку.

Никто не поможет, никто не подскажет. Куда, там! Да и зачем? Кто и кому?

Всегда и везде – только сам. Да-да, в одиночестве. Наедине с источником света. Именно так.

Всё, что было с тобою, тревожило, ранило, пело, хранило, – все события, люди, пейзажи, мгновения целого, кровного, – всё – вокруг тебя: роem, кружением, гулом, наваждением, правдой, тревогой, сомнением, болью; ну а в центре, вон там, – нет, не точками чёткими – вспышками огненными, сутью дней и деяний – и солью, вобравшей пространство, таящее неизъяснимое, – воля и доля.

Соловьинная ночь украинская – или эта, московская, вроде и привычная, но чуждая, не сжившаяся с тобою, то ли обморочная, то ли выжидающая чего-то, кольцами своими захлестнувшая тебя – кольцами бульваров, сиротливо насторожённых, Садовых отравленных, обручем кольцевой бестолковой дороги, отдающаяся в сердце хрустом небрежного снежка, потрескиваньем слюдяного ледка, прямо в горло тычущая не то хвойные острия, не то неразумные и слепые, наобум, с маху кем-то насаженные на коренастые, то угластые, то закруглённые, узорчатые, каменные тела, – копыя кремлёвских башен, – и когда-то давно, и, конечно, вот здесь, в декабре.

Ночи, тройственность их. Средоточье молчания. Ключья отчаянья. Почва звучания.

Значит – слышать. Сквозь хаос и смуту найти этот тон, самый верный, живучий. Неуязвимый для бед.

Удерживающий нить. Выводящий из лабиринта за собою – всё, чему суждено явиться.

На звук, на голос твой – как на свет, окно ли, свеча ли, костёр ли.

Отыскать эти вежи незримые, маяки эти – в темнотище, во тьме египетской, государственной, узаконенной, с тёмной структурой, тёмным прошлым, с ненасытным нутром, хваткой лапою, цепким оком, нечистыми помыслами, с изъеденными метастазами клетками-живоглотами, в затаившемся этом сумраке и мороке, – да и просто – в ночной темноте, в этих недрах, в глуши, на распутье, посреди задремавшей, забывшейся вроде, разметавшейся беспокойно, беспредельно уставшей страны, в наслоеньях, и жилах, и руслах, в тенях и пластах.

И шагнуть за черту, начиная движенье. И сказать. Говорить – значит, *быть*.

Из широкого месива шумерских переимчивых глин, принимающих под руками ваятеля очертания людских фигур, восстаёт это слово, древнейшее «ме», – где же глубже понятие? – вот истоки его.

И алмазным сиянием сквозь Зодиак: речь – твой дом, береги же в ней ясное «ом».

Столько лет уж прошло с той поры, когда в жизнь нашу – и мою, и друзей моих, – вошло это понятие: СМОГ.

Нет, не понятие – понимание. Творчества, совести, веры, поступков. Дела жизни.

Проникло, влилось в линии наших судеб, запульсировало в них, срослось с естеством.

СМОГ – это как рериховский знак единения. Символ моего поколения.

Горчайший свет памяти для всей более чем разрозненной нашей плеяды.

А ведь было так щедро отпущено всем, что казалось: рванись, распахни не окошко, так дверь, – и вот они сразу, открытия, радость и слава.

Было, было даровано свыше нечто такое, что даётся единожды.

А сейчас – улыбнёшься, вздохнёшь. А не то и слеза набежит.

Столько лет – нет, не сахар. Это, братья, эпоха.

Ну а соли пуды, те, что съесть нам всем вместе пришлось, – никуда их не деть. Потому что – смогли.

СМОГ – со многими словами рифмуется. Здесь вам и рок, и срок, и слог, и Бог.

Слова сии – частицы нашей речи, нервы, крупницы её.

Всё – вошло в кровь, всё – читается в глазах и писаниях наших.

СМОГ бывал и клеймом. Слишком долго. Мерещилось, чуть ли не навсегда, пожизненно.

Да и на клеймах жития любого из плеяды, как погляжу я, зримо запечатлелся задевающий тайную струну где-то внутри, минорный отзвук его, клином улетающей журавлиной стаи уносящееся в неведомое пространство, прорвавшееся сквозь несуразное время, трагичное эхо его.

СМОГ – урок. И зарок.

Не фунт изюму. Не сладкий пирог.

Замах на мир, и не меньше, – и сразу отвергнутый скромный, уютный мирок.

Вначале был – как порог, но едва ступили с крыльца вдосталь нахлынуло всяких морок.

СМОГ – это слишком уж много дорог.

Тем он и дорог. И горек – всё тем же. Тем и высок.

Обречённость на путь была заложена, как некий код, в таком вот ёмком названии.

Как хотите, так и разгадывайте.

На то и путь, чтобы с него – не свернуть.

Сворачивать норовили – шеи. Судьбы ломать. Биографии корёжить.

Вышло у них? Как бы не так!

Был осознан путь – высветлилась суть.

Право, есть что вспомнить.

Линию свою выдерживать, позицию отстаивать – не в бирюльки играть.

Как ни старались легионы, составленные из условных «кто-то» по приказу «кого-то», эти самые пути наши, как обручи для бредовой бочки – типичного порождения эпохи, столь категорично и звонкогласно, прямо-таки ну чтобы хоть на полочку было что поставить, именуемой безвременьем (раньше по-русски говорили горше: бесчасье) – гнуть, норовя поскорее туда запихнуть нескольких юных Гвидонов, сразу всех, заодно, оптом, как водится, – дабы не выделялись, дабы индивидуальности

их в духоте, в темноте, смялись, притёрлись, – для остротки, дабы другим неповадно было, – да бросили, улюлюкая, деревянное это, псевдотроянское сооружение в бездну морскую, напрочь не понимая, что и это – стихия, такая же, как и речь, – ан помотало бочку по волнам да пучинам морским (ну а всё-таки, может – мирским?), да и выбросило на берег, на остров, развалилась она – и вышли оттуда на твердую почву друзья, выжили, уцелели, – и снова, каждый по-своему, – в путь.

Что же существенно? Да всё – существенно. Каждая мелочь, казалось бы, штрих или росчерк, мановенье, движенье, касанье, деталь.

Ядрышко крепкое, выживший СМОГ!

Не Плутарх ли изрёк, что не столько при помощи дел величайших добродетель мы все познаём и порок, сколь при помощи жеста, изречения, порой – анекдота, – и характер живущих в них лучше раскрыт отчего-то, чем участие в битвах, осадах и подвигов громких молва? Золотые, право, слова.

Тяга к сути. Ускользанье из раскинутой сети коварной. Верность натию. Отрицание всякой корысти. Вдохновенность и честь. Из грядущего весть.

За напастью напасть – вот и отсеялась вскорости большая часть налетевших было на зажжённое пламя юнцов, – обожглись, одумались, угомонились, а потом и обжились, как пришлось, – уже подальше от огня.

Мы, немногие, – устояли. Не сдались.

Не засосала трясина-злость. Не размягчила лесть. Не угробила власть.

Потому что у речи – особая сила. И она – спасала.

4

...Шестидесятые годы. Крылатые. Да, это так.

В них – дыханье свободы. Сквозь непогоду – зов и знак.

Шестидесятые. Время радости и любви.

Молодость. Надо всеми – свет: дивись – и живи.

Вроде бы так. Но всё же – вдосталь бывало бурь.

Были мы часто вхожи в грозную хмарь и хмурь.

В бездну порой глядели. Ждали святых вершин.

Можно ли все метели мерить на свой аршин?

Можно ли все раденья сызнова вспомнить вдруг?

Память – мои владенья. Что ж, обозначу круг.

Вызову днесь из боли тех, с кем дышал и пел.

Вырвался из неволи. Выжил. Похоже, цел.

Сед. Но и в зной, и в холод полон доселе сил.

Вроде бы и немолод. Я не напрасно жил.

Я не случайно с вами, други мои, сейчас.

Вставшие за словами, здесь вы. Так в добрый час!

То-то нынче – достаточно снова мне увидеть нас, молодых, четверых – себя самого, глаза свои полужакрывшего, словно внутренним верным зрением увидавшего наперёд всё, что будет с нами потом, обнимающего за плечи друзей своих – Лёню Губанова, глядящего вдаль обиженным и отчаянно, – будь, мол, что будет, – и, с растерянной полуулыбкой на лице Пьеро, или нет, Арлекина, скорее, – Юру Кублановского, а за нами, вместе с нами – и чуть в стороне, со склонённой головой уда-

лой, – Аркашу Пахомова, – на старой, чудом, наверное, сохранившейся фотографии, – чтобы вспыхнуло – или в сознании, небывалым, дивным сиянием, или в небе, ярким созвездием, – незабвенное слово СМОГ.

Ну куда от него деваться?

Так и будет сквозь жизнь продлеваться.

Встарь когда-то – зажгли огни.

Долей стали – былые дни.

Кровь звезды под ногтями эпохи да петляющий в сумерках след всех, кто шёл – при царе ли Горохе или позже – сквозь изморозь лет. Пожелтевшему старому снимку, поседев, удивись и пойми – там плеяда былая в обнимку, всех моложе, одна меж людьми. Свитера на локтях прохудились, но четыре судьбы поднялись из оков, что всегда находились на земле, где мечты не сбылись. Вот и прожито время ночное, что само за себя говорит, – но извечное пламя свечное наши лица ещё озарит.

...Выхваченное лучом таинственного прожектора – пограничного, может, военного, затаившегося до поры, до того мгновенья, когда будет знак ему подан снова, в коктейльской, приморской глуши – и внезапно, вдруг, почему-то кем-то там, зачем-то, включённого, заработавшего, да так, что видны далеко вокруг все приметы вечернего берега или сонного моря ночного, – или нет, совсем не военного, но – магического, такого, для которого всё доступно, всё возможно, всё достижимо, – из крошечной тьмы смоляной, из ушедшего времени прежнего, из каких-то скрытых в пространстве арсеналов памяти, чтобы оживить былое, осмыслить, по возможности преобразить, дать ему, невозвратному, имя, даже так: призвать, вернуть вот сюда, в начало неясное как-то быстро, совсем уж негаданно, разом, резко, внезапно пришедшего в нашу жизнь столетия нового, приголубить, согреть, обнять, зарыдать, помолчать, понять?

Росчерк солнечного луча?

Или всё же – это свеча?

Со свечой, точно встарь, – при свече, у свечи, – в киммерийском тумане, при тумане, в забвенье, в дурмане, сквозь туман – с лепестком на плече, сгустком крови сухим, лепестком поздней розы – в проём за кордоном, в лабиринт за провалом бездонным, в зазеркалье с таким пустяком, как твоё отражение там, где пространство уже не помеха, где речей твоих долгое эхо сквозь просвет шелестит по листьям.

Окончание в следующем номере.

Роман СЕНЧИН

Родился в 1971 году в Кызыле, Тувинская АССР. Работал монтажником, дворником, грузчиком. По окончании Литературного института вел в нем семинар прозы (2001–2003).

Публикуется в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Нижегород», «Урал» и других. Автор ряда романов и сборников рассказов. Роман «Елтышевы» в 2011 году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия». В 2015 году роман «Зона затопления» удостоен третьей премии «Большая книга».

Живет в Екатеринбурге.

ВСЮ ПРАВДУ ЗНАЕТ ТОЛЬКО БОГ

После Наполеоновских войн и ссылки их зачинщика на остров Святой Елены европейцы были уверены, что подобного кровопролития больше не произойдет. Многие фантасты и утописты позапрошлого века, рисуя век XXI, исключали из него войны – особенно такие, когда люди стреляют друг в друга из ружей и пистолетов, сходятся в рукопашной... «Конфликты будут улаживаться силой интеллекта и дипломатического искусства», – предрекали тогдашние властители дум.

Двадцатое столетие стало самым кровавым в истории цивилизации. Не особенно уступают ему два первых десятилетия века нынешнего. Кровавая жатва продолжается. Афганистан, Ирак, Северный Кавказ, Судан, Йемен, Непал, Ливия, Сирия, орды ИГИЛ, уничтожающие всё чужое, Донбасс...

Накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне хочется поговорить о военной теме в русской художественной литературе, вспомнить некоторых писателей-фронтовиков...

Начиная со «Слова о полку Игореве» война представлялась как беда, несчастье, горе, нечто ненормальное в мироустройстве. Особенно сильно это чувствуется в «Слове о погибели Русской земли», «Повести о разорении Рязани Батыем», посвященным татаро-монгольскому нашествию. Но в то же время в этих произведениях поются гимны воинской доблести.

Беда, противное человеческой природе явление и доблесть с тех пор неизменно соседствуют и пересекаются в произведениях о войне.

Военную литературу можно разделить на ту, что писалась непосредственно во время войны и ту, что создавалась позже. Через двадцать-тридцать-пятьдесят лет.

Цель первой – поднять боевой дух, вселить веру в победу, облегчить военные будни. Цель второй – анализ того, что произошло, какими стали выжившие, победившие и проигравшие.

Впрочем, некоторые писатели начинали анализировать еще во время войны. Самый, пожалуй, яркий пример – «Севастопольские рассказы» Льва Толстого. Первый рассказ, «Севастополь в декабре», – это по сути репортаж из осажденного города, показывающий героизм защитников. А уже в следующем мы читаем размышления автора о всякой войне, которая «или... есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать».

Толстой прибегает к сатире, описывая некоторых офицеров; герои становятся не такими уж героями. А главное – в разгар Крымской войны ее участник создает чуть ли не пацифистское произведение.

Чтобы сделать рассказ проходным, сотрудник журнала «Современник» Панаев добавил к нему слова: «Но не мы начали эту войну, не мы вызвали это страшное кровопролитие. Мы защищаем только родную край, родную землю и будем защищать ее до последней капли крови». Это оскорбило Толстого, позже он признавался: «Лучше получить 100 палок, чем видеть их».

Позже Лев Николаевич многократно подтверждал свое неприятие любой войны, даже оборонительной, войны за свою родину. Какая мысль проводится в «Войне и мире»? Что не надо сопротивляться нашествию, что захватчики сами устанут, их армия прекратит существование и растворится; толстовский Кутузов дает Бородинское сражение против своей воли, уступая желанию солдат. А кто такой пленный русский солдат Платон Каратаев, фрагмент о котором нас в школе заставляли чуть ли не учить наизусть? Сейчас бы Каратаева назвали коллаборационистом – он обслуживает французских солдат, шьет им рубахи, к тому же с удовольствием, называет соколиками, жалеет.

Лев Толстой воевал, по собственному признанию, «убивал людей». С его отношением к войне как таковой спорить, конечно, невозможно. Тем более что его поддерживали своим творчеством позднейшие литераторы, участвовавшие в войнах. От Гаршина до Прилепина в романе «Патологии» и финале книги «Некоторые не попадут в ад».

В 1970-е, на которые пришлось мое детство, было много книжек «для младшего школьного возраста», где о Гражданской и Великой Отечественной войнах писалось, лихо: красные рубили и рубили беляков, советские воины сотнями секли из пулеметов и автоматов фашистов. Если кого-то из героев ранили, достаточно было перевязать рану, и он мгновенно выздоравливал, снова бросался в бой.

Да, патриотическое воспитание, но ведь рядом были «Тихий Дон», «Разгром», «Два мира», «Гадюка», «Сорок первый», «Убиты под Москвой», «Они сражались за Родину», «Горячий снег», «Сашка»... У меня до сих пор некое раздвоение в душе: где настоящая правда? В тех детских книжках, где всё ясно, разделено в тексте, как на иллюстрациях – вот светлые советские бойцы палят по врагам, а вот темные враги валяются на землю, или же те книги, где, если они о Гражданской, твердо не написано, кто свой, а кто чужой, а если о Великой Отечественной, то рассказывается, что наши не только били врага в хвост и в гриву, но и отступали, бежали, гибли куда чаще, чем враги...

К сожалению, тенденция лихих книг и фильмов о Великой Отечественной возродилась в последние годы. Порой создается ощущение: войну выиграла десятка снайперов и несколько диверсионных групп.

Понятно, что эта тенденция возникла в ответ на прозу и кинематограф 1990-х, когда взгляд на войну был таким: мы просто заваливали гитлеровские окопы трупами своих солдат. Теперь же одна группа советских диверсантов уничтожает чуть ли не дивизию гитлеровцев.

Это будет наверняка продолжаться. Ветераны уходят, свидетелей и участников войны всё меньше. Сказать правду уже почти некому. А тема-то не исчерпана, наоборот, на нее все больший спрос. Люди хотят смотреть и читать, как мы побеждаем.

«Кто не был на войне, не имеет права говорить о ней». Эти слова приписывают Марлен Дитрих, потерявшей из-за прихода национал-социалистов к власти свою родину.

Наверное, она права. Да и у не бывших на войне попросту не получается. Выходят сказки, то страшные, то, как ни странно, веселые... Что они могут сделать достоверно, это представить человека во время войны. Из удач последнего времени – фильм Алексея Федорченко «Война Анны». Там по сути нет войны, а есть человек – маленькая девочка – которую хотят убить, сделать так, чтобы ее не стало на земле. А она прячется и всеми силами пытается на ней остаться...

Было время, когда общество очень ждало большой, исчерпывающей книги о Великой Отечественной. Такой книги уже, скорее всего, не будет. Остались десятки великих произведений, которые история, время наверняка соберут в единое полотно. Хотя, как написал Виктор Астафьев в одном из последних романах о той войне «Прокляты и убиты»:

«Всю правду о войне знает только Бог, и правда эта неподъемна».

Хочется вспомнить нескольких писателей-фронтовиков. Одни посвятили свое творчество событиям Великой Отечественной, другие сказали о ней немного, но и у тех, и у других герои в буквальном смысле опаленные ею.

1. Человек внутри войны

Василь Быков, по моему мнению, самый сложный из них. Нет, внешне его повести предельно просты – нет стилистических изысков, конструкций-лабиринтов, лексической игры. Строгая, порой скупая проза. Она сложна психологически. Почти каждое произведение Быкова составляет долго, а то и пожизненно о нем размышлять, спорить с автором, его героями, самим собой.

Так случилось у меня с повестью «Обелиск», которую прочитал лет в двенадцать. Я тогда, как многие мальчишки – внуки ветеранов, – был буквально помешан на военной прозе. Атаки, связки гранат, танки, доты, матросы в бескозырках... И вдруг книжка о войне, но без сражений.

Школа, хромоногий учитель по фамилии Мороз, ребяташки чуть постарше тогдашнего меня. Почти обыкновенная жизнь, но – на оккупированной земле. Школа работает «с разрешения немецких властей».

Мороз хоть и связан с партизанами, но с фашистами не борется. Он учит детей... Симпатия рассказчика, Ткачука, односельчанина Мороза, явно на его стороне, хотя автор – а повесть построена как «рассказ в рассказе» – дает нам понять, что положение учителя очень непростое, отношение к нему у многих было и остается враждебным.

Однажды в школу приходят полицаи и немецкий офицер, устраивают обыск, допрашивают Мороза. Не пытаются, не держат в неволе – быстро выпускают. Но ученики решают отомстить врагам: подпиливают мостик, по которому ездит единственная в округе машина, немецкая. Машина действительно проваливается, один немец гибнет.

Пацанов арестовывают, учителю удается добраться до партизан. Его зачисляют в отряд, выдают оружие. Но тут приходит связная и сообщает, что немцы требуют Мороза, иначе его учеников повесят.

Тайком, командир отряда его не отпускал, Мороз возвращается в село. Формально – дезертирует. Его поступок не спасает ребят – вешают всех. Лишь одному ученику удается спастись – он пытается убежать, в него стреляют, принимают за убитого, бросают у обочины...

Односельчанин Мороза заканчивает свой рассказ словами: «Героическая история!» Повествователь, в котором мы видим автора повести, уклончиво соглашается: «Возможно».

«– Не возможно, а точно. Или ты не согласен? – уставился на меня Ткачук.

Он заговорил громко, раскрасневшееся его лицо стало гневным...»

Это наверняка писательский прием – чтобы автор не был полностью солидарен с персонажами своей книги, – но я уверен, что Василь Быков написал «Обелиск» для того, чтобы самому разобраться в таких людях, как Мороз, показать их нам, читателям. Тем более что в любой войне таких немало.

Я прочитал «Обелиск» до «гласности и перестройки», в те годы, когда прошлое официально было разложено по полочкам, свои четко отделены от врагов, нюансы похоронены. (Как оказалось, не так уж надежно – со второй половины 80-х наше прошлое станет важнее настоящего и будущего.)

Понятно, что тогда, году в 1984-м, меня удивляло, почему в повести Быкова так много полицаев, почему партизаны не бегут в атаку освободить пацанов (а ведь таких книг, особенно для подростков, писалось множество – партизаны совершают смелые рейды, занимают железнодорожные станции и целые города).

Кажется, у Быкова я впервые встретил упоминание, что не все полицаи были абсолютными врагами – одного бывший партизан хвалит, говорит о нем «молодец». Про «репрессировать» и «реабилитировать» я тоже наверняка узнал из этой повести.

С тех пор я много чего прочитал, в том числе и книг вроде бы смелее «Обелиска», но образ учителя Мороза для меня до сих пор, наверное, самый сложный. Я то восхищаюсь им, то считаю чуть ли не предателем. Ведь мог бы пойти туда с винтовкой, попытаться освободить силой, а он решил договориться, поверил врагам...

Почти все повести Василя Быкова о войне. Точнее, об отдельно взятом человеке внутри войны. Именно так, по-моему, не «на», а «внутри». Что для нас, читателей и зрителей, война? Бои, сражения. У Быкова батальных сцен очень мало. В основном слепая перестрелка, ранение, попытки спасти раненого, жизнь в оккупации... И всё это реальные люди, которые каждый день хотят есть, которым холодно, которые во время войны могут страдать не только от ран, но, скажем, от банальной простуды и кашля, как знаменитый Сотников.

Войну Василь Быков встретил в июне 1941-го семнадцатилетним выпускником ФЗО на Украине, куда приехал из родной Белоруссии на стройку. Но вместо домов пришлось рыть противотанковые рвы. Потом фэззошников пешим порядком направили на восток, и вскоре

Быков отстал от колонны. Задержал патруль, нашел карту, где он отмечал положение на фронте. Его посчитали немецким диверсантом.

Если верить страницам из книги воспоминаний «Долгая дорога домой», Быкова чуть не расстреляли: спас пожилой конвоир, по пути на допрос сказавший: «Беги, пацан!» И он убежал. А через некоторое время наткнулся на свою команду...

Потом были железнодорожная школа в Саратовской области, пехотное училище, из которого Быков вышел младшим лейтенантом. С осени 1943 года на фронте. В начале 1944-го тяжело ранен, по документам признан погибшим. Но выжил, вернулся в строй. Дошел до Австрии. Из армии демобилизовался в 1955 году в звании майора. Вскоре после этого начал публиковать прозу.

Наверное, то потрясение – когда его приняли за диверсанта и готовы были расстрелять (видел в кустах трупы своих сокамерников) – стало протосюжетом и «Обелиска», и «Сотникова», и «Западни», да, по сути, почти всех произведений Василя Быкова. И оно же, вероятно, послужило выбору позиции, которую он занял в годы перестройки и позже, когда СССР распался. Не берусь судить. Уверен, и Быков, и все остальные люди его масштаба хотели лучшего и Советскому Союзу, а потом России, Белоруссии, другим государствам, появившимся на его развалинах. Правда, каждый видел свой путь к этому лучшему.

Последние несколько лет гражданин Белоруссии Василь Быков прожил по существу в эмиграции – Финляндия, Германия, Чехия. Но умер на родине; попрощаться с ним пришли тысячи людей. Книги его переиздают, по ним продолжают снимать фильмы. Повести «Мертвым не больно» и «Сотников» входят в «100 книг для школьников», рекомендованных Министерством образования России. Так или иначе, наследие Василя Быкова – прочная часть драгоценного канона культуры, который, верю, разрушится очень нескоро.

2. Русский офицер литературы

С творчеством Бориса Васильева новое поколение, скорее всего, знакомо по фильмам. «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «Я – русский солдат», «Офицеры», «Не стреляйте в белых лебедях»... Книжки переиздаются и сегодня с завидной регулярностью, но того отклика, какой имели в 1970–1980-е, к сожалению, не имеют. Впрочем, редко какие произведения в полной мере переживают их авторов. Достоевского, разве что, Толстого, Чехова, Булгакова...

Но книги Васильева нужно читать. Пусть не все.

Он написал много, и что-то – например, его поздние историко-философские романы о князьях Киевской Руси – прошли почти незамеченными, и вряд ли обретут популярность; «Глухомань», роман о провинции 90-х, опубликованный в 2001 году, к сожалению, не вызвал широкого разговора; есть рассказы и повести, по моему мнению, справедливо забытые. А есть несколько произведений, прогремевших в свое время и до сих пор необходимых. Причем юношеству.

Да, Борис Васильев писатель в первую очередь для совсем молодых людей. Недаром родным ему стал журнал «Юность».

Мне повезло – я познакомился с лучшими произведениями Васильева в самом подходящем возрасте. Лет в двенадцать – четырнадцать, когда еще не стыдно плакать над литературными героями.

У нас в семье была традиция чтений вслух. Во время них я частью услышал, частью сам прочитал «Не стреляйте белых лебедей», «А зори здесь тихие», «В списках не значился». Позже перечитал их. «Не стреляйте белых лебедей» и сейчас в числе тех книг, к которым возвращаюсь.

Странно, что сразу после публикации, в 1973 году, этот роман критиковали за тенденциозность, идеализацию. Впрочем, некоторая идеализация, наверное, есть. Главный герой, Егор Полушкин, это своего рода квинтэссенция шукшинских чудиков. При этом утрированный. Он, взрослый, семейный человек, словно вчера родился на свет, жить по сложившимся законам и понятиям не умеет совершенно.

Конечно, умудренных людей это раздражало, а у тех, кто читал книгу только вступая в этот мир, Егор, конечно, вызывал сочувствие, становился своим... Помню, как мне было за него, шпыняемого, не раз обманутого, обидно, как было жалко убитых лебедей, его сына Кольку. До слез.

Шукшин в нашей литературе стоит особняком, и самый близкий к нему, по-моему, как раз Борис Васильев с этим романом. Кстати, я пытался выяснить, успел ли Василий Макарович прочесть «Не стреляйте...». Не нашел таких сведений. Но хочется верить, что прочитал.

Сходство усилилось с выходом экранизации со Станиславом Любшиным и Ниной Руслановой в главных ролях – фильма очень шукшинского. А может, просто очень русского...

Сам из семьи кадрового офицера, Борис Васильев тоже воевал, и, как у всех писателей-фронтовиков, война проходит глубоким шрамом через многие его книги. Даже те, где нет батальных сцен.

Настоящую известность Васильеву принесли «А зори здесь тихие...» и «В списках не значился». В них кровь, смерть, подвиг. Тот подвиг, что не попадал в сводки Информбюро, не стал переломным в самой страшной войне. Таких локальных подвигов были тысячи и тысячи, и именно они принесли Победу.

В повести «А зори здесь тихие...», опубликованной в 1969 году, использован прием, к тому времени уже достаточно распространенный в произведениях литературы и кино о войне: небольшое подразделение выполняет задание, и весь (или почти весь) гибнет («Звезда» Эммануила Казакевича, «Убиты под Москвой» Константина Воробьева, «У твоего порога» Василия Ордынского).

Но повесть Васильева потрясает тем, что его герои – девушки-зенитчицы, находящиеся, по сути, вдали от фронта, на тихом участке, неопытные в военном деле, и их командир, старшина Федот Васков, хоть и знает устав наизусть, прошел Финскую, но тоже, по сути, гражданский человек. Наверное, неспроста он не на фронте, а служит комендантом разъезда.

И эти шесть невоенных людей останавливают немецкую диверсионную группу...

Я провел небольшой опрос среди молодежи. Абсолютное большинство видели фильмы (их теперь два) по этой повести, саму же ее почти никто не читал. Фильм Ростюцкого – конгениален повести, но все же язык кинематографа и язык художественной прозы – это разные вещи. А «А зори здесь тихие...» – проза самой высшей пробы.

Как и повесть «В списках не значился», действие которой происходит в Брестской крепости. В 1995 году по ней был снят фильм «Я – русский солдат», пожалуй, лучший фильм о Великой Отечественной постсоветского времени.

В 1984-м, еще до перестройки, в глухое время правления Константина Устиновича Черненко, в «Юности» вышла повесть «Завтра была война». О старшеклассниках одной из воронежских школ. Я прочитал ее тогда же – мы выписывали этот журнал на протяжении нескольких лет. Многое мне, тогдашнему, оказалось не совсем понятным, многое неприятно удивило – как можно запрещать читать Есенина, за что арестовали отца Вики Любецкой, почему исключают из партии директора школы... Понял позже, когда пошли валом публикации о сталинских репрессиях.

Перестройка, ельцинский «переходный период» развели писателей по разным лагерям. Борис Васильев оказался в лагере «либералов», ему, знаю, многие не могли простить некоторые оценки прошлого, подпись в «Письме сорока двух».

В последние два десятилетия его жизни о Васильеве, казалось, стали забывать. Но на прощании с ним в Центральном доме литераторов в Москве я увидел сотни людей. Его читателей...

Сам я был немного знаком с Борисом Львовичем – в нулевые мы несколько раз встречались. Меня удивляла его выправка и твердость его суждений, которые он произносил мягким, без надрыва, голосом. Бывают такие офицеры – офицеры-интеллигенты.

Журналист Андрей Максимов, сделавший в конце 1990-х цикл передач «В гостях у Васильева», назвал его «русским офицером литературы». По-моему, это очень точно.

3. «Надеюсь: вдруг переверну мир...»

«Боливар не выдержит двоих». Эта поговорка, подаренная нам О. Генри, отлично подходит для литературы. Двоих не двоих, но пять десятков популярных авторов она в один временной отрезок иметь не может; через некоторое время после окончания определенного исторического периода (а в литературе тоже есть исторические периоды) остаются единицы. Их произведения переиздают, о них пишут статьи, спорят, цитируют...

Нынче из полноводной, глубокой литературной реки второй половины 50-х (когда началась оттепель) – начала 80-х (до перестройки) на слуху и на стеллажах книжных магазинов остались лишь несколько прозаиков. Другие если и не канули в Лету совершенно, то лишь упоминаются или в лучшем случае существуют одним-двумя романами, или повестями, или рассказами.

Отбор обусловлен не только степенью таланта, но и биографией писателя. Ровная биография, конечно, минус, а вот по интересной, драматичной или трагичной можно снять сериал или фильм, подогрев или возродив интерес к произведениям героя этого самого сериала или фильма. Может вернуть писателя – хотя бы на время – экранизация его текста, как произошло, например, с И. Грековой после «Благословите женщину», Олегом Куваевым после «Территории». Но это случаи редкие. Процесс забвения не остановить.

Тут не поспоришь, это происходит зачастую естественно. Но как жаль, что многие и многие большие, настоящие писатели забываются, их произведения уносятся рекой времен... Глеб Горышин, Виль Липатов, Евгений Носов, Александр Рекемчук, Сергей Никитин, Георгий Семенов, Юрий Куранов, Борис Можаяев, Федор Абрамов, Дмитрий Го-

лубков... Люди старших поколений наверняка возмутятся: мы помним, читаем! Но мои сверстники (за сорок) и люди моложе мало о ком из них слышали, а тем более читали. Книг найти всё сложнее, они практически не переиздаются, а старые ветшают, списываются из библиотек, выносятся внуками из квартир после смерти бабушек-дедушек; в интернете произведения найти можно, но кто будет искать – эти авторы, что называется, не на слуху.

Один из таких, постепенно забываемых, Владимир Тендряков.

О Тендрякове в последние десятилетия в основном упоминают через запятую. Советский писатель, много издавался, был в обойме, но в то же время кое-что писал в стол. Умер на пороге перестройки, в перестройку его произведения из стола издали, пообсуждали и отложили – смело, но не высшие образцы прозы, не предельный пример смелости... В общем, он проходит по разряду «честный советский писатель». Писатель, что называется, второго ряда. Первый ряд символического книжного шкафа ведь не безразмерен, кто-то должен быть заслонен...

Владимир Тендряков из поколения фронтовиков. Ушел на войну в 1941-м после окончания школы. В 43-м был тяжело ранен, демобилизован. Мечтал стать художником, но стал писателем. Прозаиком. Суровым, строгим, жёстким.

Первая публикация в 1947 году – рассказ «Дела моего взвода». По-моему, это отчасти подражание прогремевшей тогда книге Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». С тех пор собственно о войне Тендряков писал очень мало и редко. Но фронтовики – еще крепкие мужчины – встречаются почти во всех его повестях и романах.

Написал много. Говорят, писал постоянно. Заканчивал одну вещь и принимался за следующую. Творческих кризисов не испытывал, потому что абсолютное большинство сюжетов давала ему сама жизнь. Реальность.

Умер Тендряков в шестьдесят лет, словно рабочий, не представляющий себя пенсионером. Да он и был таким – литературным пролетарием. Умер на пороге нового времени – в 1984-м. В 1987–1989 годах вышло пятитомное собрание сочинений, в то же время и чуть позже были опубликованы еще несколько произведений из архива, в том числе «Охота», «Люди или нелюди», «Донна Анна», а потом начался медленный, но, к сожалению, верный процесс ухода в историю. А проще говоря, Тендрякова стали забывать издатели, литературоведы, читатели.

Единственная, кажется, за последние несколько лет статья о Тендрякове, которую интересно читать, – ненаучная, полемичная – написана Дмитрием Быковым. Со многими суждениями хочется поспорить, кое с чем согласиться. Но моя задача – не спор и не обзрение всего написанного Тендряковым за тридцать лет его творческой жизни. Я остановлюсь на повестях середины 1950-х – 1960-го. (Впрочем, обойтись без ссылок на статью Быкова вряд ли получится.)

«Не ко двору», «Ухабы», «Чудотворная», «Суд» – это не первые его произведения. Не ранняя проза. Это проза уже мастера, но в то же время человека, еще не ставшего пресловутым профессиональным писателем, наработавшим приемы, метод, стиль и уже чувствующим желание осваивать новые жанры (а реалист Тендряков немного позже окажется удивительным фантастом), разнообразить палитру.

Эти повести написаны без почти всегда и у всех неизбежной у кого ложки, а кого ведра дегтя в бочке меда. Деготь – литературщина, мед – преобразованная в произведение художественной литературы жизнь.

В этих (и не только в этих) повестях Тендряков не играет стилем, смыслами, сюжетом. Он будто действительно переносит на бумагу саму реальность. Его рукой водит вера, что написанное им поможет улучшить жизнь, сделать людей честнее и чище... Эти повести написаны в короткий и удивительный период нашей истории, которую Дмитрий Быков в своей статье назвал «первой оттепелью» и определил ее рамки – со смерти Сталина до начала травли Пастернака (осень 1958-го).

Вот из быковской статьи:

«Оттепель пятидесятых была недоиграна, абортирована – а между тем по многим параметрам она была масштабней того, что при поддержке власти началось после 1961 года. Проблема не в том, что вторая оттепель была конъюнктурной. Проблема была в том, что эта вторая оттепель расколола советский монолит. Народ, который восторженно встретил оттепель-54 и доклад-56, в шестьдесят втором отнесся к происходящему крайне настороженно; и Тендряков был первым, кто зафиксировал этот перелом, потому что в это же время происходит перелом и в собственной его литературе».

По месяцам и годам проследить процесс изменения в мировоззрении писателя, естественно, невозможно, но после повести «Суд», заканчивающейся фразой, у любого, наверное, выглядящей пошлой, только не у Тендрякова: «Нет более тяжкого суда, чем суд своей совести», – начатой в 1958-м и опубликованной в начале 1961-го, он стал писать по-другому. Не скажу хуже, но иначе, без абсолютной веры в силу прозы. А «Суд», «Ухабы», «Тройка, семерка, туз» он создавала наверняка как раз вот с таким чувством: «Когда пишу, надеюсь, что это будет великое, более того, – откровение. Надеюсь: вдруг переверну мир, но он все так и не переворачивается...»

Да, мир произведения Тендрякова не перевернули. Но прочитавший их, скорее всего – очень надеюсь – совершит в жизни меньше плохого, чем не прочитавший.

Приведу еще одну цитату из статьи Дмитрия Быкова:

«Все, что делал Тендряков, было в частности неуклюже и подчас фальшиво, – особенно когда он ради проходимости вставлял в текст авторские отступления, долженствующие разжевать (или подменить) главную мысль. Но в основе своей он был писатель, умевший ставить неразрешимые вопросы – точнее, неразрешимы они были в советских координатах, почему лучшие его вещи вроде “Ночи после выпуска” или “Расплаты” и оставляли такое саднящее, едкое чувство. Тендряков ставит вопросы, которые могут возникнуть только в уродливом мире, где религия табуирована, вопрос о смысле жизни неприличен, и все делятся либо на выродившихся лицемеров и лгунов, либо на вырождающееся подполье. То есть ответов у Тендрякова нет и быть не может – ибо сама ситуация, порождающая вопросы, ложна, выморочна, болезненна. Все это споры в дурдоме о теории относительности, которой там никто толком не знает, – и книг по теме в дурдоме тоже нет. Какие могут быть моральные императивы в аморальном насквозь обществе, которое саму эту мораль объявило пережитком?»

Но это общество было все же на несколько этажей выше того подвала, в который мы провалились сейчас. Не нам, феодальным, судить его советскость».

Слишком категорично, на мой взгляд. Вопросы, которые ставил в своих произведениях Тендряков, – вечные. Их ставили и русские, и за-

рубежные писатели задолго до советской власти. И тоже зачастую не находили ответа, а в найденные ответы читателю не верилось, потому что вопросы, которые ставит художественная литература, чаще всего не имеют однозначных ответов.

Может быть, такие выводы Быков делает потому, что в прозе Тендрякова много советского, а точнее – примет того мира, в котором живут герои его романов, повестей и рассказов? Действительно, взгляд и мозг часто спотыкается от обилия секретарей райкомов, комсомольских секретарей с их пылкими то правильными, то обманчиво правильными речами, которые, кстати сказать, вдоволь напародировали отечественные постмодернисты и концептуалисты первой волны.

К сожалению, новым читателям сложно разобраться в структуре того советского общества, понять детали бытия, мораль людей той затонувшей Атлантиды. Но так же спотыкаешься и читая произведения Салтыкова-Щедрина, Писемского, Лескова, многие страницы «Анны Карениной», в которых действует Константин Лёвин... Писатель, слишком точно пытающийся отобразить в прозе современную ему реальность, всегда рискует. Те, кто пишет вневременное или о прошлом, будущем, конечно, в более выигрышной ситуации – они отсеивают *мусор повседневности*. Но на самом-то деле этот *мусор* бесценен.

Филолог начала XIX века Алексей Павловский высказал простую, но точную мысль: «История древних народов между прочим от того нам кажется неясною, что мы не имеем подобных грамматик, писанных в их времена». Советский народ когда-нибудь для человечества станет древним. Но грамматика его создана, в том числе и Тендряковым. Главное – не утерять к ней ключи.

4. Поэт с нагрузкой

Русская поэзия 1930–1950-х годов сделалась неким белым пятном нашей литературы: прежние знаменитости забыты, их стихотворения почти не переиздаются и не цитируются. А ведь там, в этом белом пятне, немало настоящих талантов, интересных и сложных личностей. Например, Алексей Сурков.

Вообще-то он всего на пять лет моложе Есенина, на два – Мариенгофа; он на десять лет старше Павла Васильева, но крепко ассоциируется не с двадцатыми, когда литература вместе со всей страной бурлила и кипела, а с более поздним временем – временем порядка и дисциплины.

Впрочем, таких поэтов немало: Николай Тихонов, Степан Щипачёв, Павел Антокольский, Александр Безыменский, Илья Сельвинский, Владимир Луговской, Михаил Светлов... Они были разные, но никого из них я лично не могу представить молодым. Всё это пожилые, осанистые мужчины с портфелями в руках...

Ровесник века Сурков, наверное, действительно рано повзрослел. С двенадцати лет служил «в людях», в 1918-м ушел добровольцем в Красную Армию. За несколько месяцев до этого состоялся его литературный дебют – публикация стихов в «Красной газете».

В Гражданской войне Сурков принял непосредственное участие – бил беляков из пулемета, служил в разведке, участвовал в Польском походе, почти год провел в плену у эстонцев, потом подавлял крестьянское восстание на Тамбовщине...

В 1922-м вернулся в родную деревню, поднимал культуру, был селькором, продолжал писать стихи, и в 1924-м случилась публикация в «Правде». Чуть позже стал членом ВКП(б).

Через четыре года он был выбран делегатом Первого Всесоюзного съезда пролетарских писателей, а после съезда остался в Москве. В том же году вошел в руководство РАППа; в 1934-м окончил Институт красной профессуры. Далее – общественная работа, множество должностей...

Почему я так подробно описываю биографию своего героя? Наверное, чтобы показать постепенность вхождения его в литературную жизнь. Без шума, эпатажных выходов, без преданных почитателей и ярых ненавистников. Конечно, была борьба, но не литературная, а идеологическая. И Сурков был скорее не свободным художником, а рабочим в цехе литературы. Не столько творил, сколько выполнял задания.

Первая его сборник – «Запев» – вышел в 1930-м. С тех пор книги издавались почти ежегодно, а иногда и по две-три в год.

Я помню Суркова и его сверстников, доживших до конца 70-х – начала 80-х. Они время от времени появлялись в телевизоре на трибунах разнообразных съездов. Старенькие, дребезжащими голосами пытались говорить зажигательные речи. Не знаю, кого они зажигали, кроме разве что таких же стареньких руководителей партии, сидевших над трибунами.

Стихи этих поэтов почти не читали, предпочитая тех, кто был до или после них. С одной стороны, Блока, Мандельштама, Есенина, Маяковского, с другой – Рождественского, Евтушенко, Ахмадулину, Вознесенского...

Я познакомился с творчеством – далеко, признаюсь, неполным – Суркова и его сверстников уже в Литературном институте. И увидел, что по таланту, заложенному в них природой или полученному в юности, многие сильнее поэтов Серебряного века, шестидесятников. Тот же Тихонов, Багрицкий, Луговской, да и Сурков.

Но талантом они распорядились как-то однобоко, что ли, отдали его общему делу, а поэт все же индивидуалист, одиночка, идущий наугад по бездорожью жизни, карабкающийся по скалам судьбы. Недаром многие поэты так рано умирают: падают с этих скал и разбиваются.

У Суркова есть стихотворение «Герой», написанное в 1929-м. Лирический герой в нем – прообраз Павки Корчагина, молодой парень, «безымянный гвардеец восставшего класса», «личность по части экзотики куцая», изглоданный «сыпняками, тревогами, вошью», учится «в огне, под знаменами рваными, в боевой суматохе походных становий», строит заводы, «орудует планами». И вот последняя строфа:

И совсем не беда, что густая романтика
Не жила в этом жестком, натруженном теле.
Он мне дорог от сердца до красного бантика,
До помятой звезды на армейской шинели.

По сути, позже это и станет романтикой: Гражданская война, восстановление страны, ударные стройки первой пятилетки... Показательно, что после публикации романа Островского «Как закалялась сталь» на автора посыпались обвинения в том, что написано слабо, герой, дескать, выдуманный. Но Михаил Кольцов, в то время популярнейший журна-

лист, объявил: именно такой герой нам и нужен, и роман стали превозносить, а Павка Корчагин стал символом эпохи.

Алексей Сурков в основном писал о войне. Сначала Гражданской, потом Советско-финской, Великой Отечественной, затем так называемой холодной.

«Вот так вся жизнь – то хлопоты, то войны. / И дни без войн, как прежде, беспокойны...» «Видно, уж нам дорога такая – / Жить на земле от войны к войне...»

Во время Советско-финской и Великой Отечественной Сурков официально числился военным корреспондентом. Но приходилось и стрелять, и бежать в атаку, и отступать. В ноябре 1941 года он попал в окружение под Москвой, из которого чудом вышел.

Его лирика, в которой совсем нет отголосков войны, слишком тиха и нежна, ее даже сложно заметить, зато боевые, гневные, горькие строки врезаются в мозг...

Хотя по своему складу Сурков, конечно, был лириком. В чем иногда признавался в неподходящих, казалось бы, для этого обстоятельствах:

Трупы в черных канавах. Разбитая гать.
Не об этом мечталось когда-то.
А пришлось мне, как видишь, всю жизнь воспевать
Неуютные будни солдата.

Но нужно было зажигать людей на подвиг, не дать угаснуть ненависти к врагу.

И все же остался Сурков в русской поэзии как лирик. Точнее, как лирик-солдат. Стихотворением «В землянке». Его сейчас знают – знают буквально все – как песню. «Бьется в тесной печурке огонь...»

К сожалению, многие читатели да и литературоведы последнего времени не хотят узнать творчество Суркова глубже. А у него, например, есть такое поразительно-честное, горькое стихотворение, своеобразный поэтический собрат шолоховской книги «Они сражались за Родину». Написано летом 1942 года, когда наши войска отступали к Сталинграду через донские степи:

Жарища жаждой глотки обожгла,
Скоробила рубахи солью пота.
По улицам притихшего села
Проходит запыленная пехота.

Вплетенные в неровный стук подков,
Шаги пехоты тяжелы и глухи.
Зажав губами кончики платков,
Стоят у тына скорбные старухи.

Стоят, скрестив на высохшей груди
Морщинистые, старческие руки.
Взгляни в глаза им. Ближе подойди.
Прислушайся к немуму крику муки.

Неотвратимый материнский взгляд
Стыдом и болью сердце ранит снова.
Он требует: – Солдат, вернись назад,
Прикрой отвагой сень родного крова!

– Остановись, солдат!– кричит земля
И каждый колос, ждущий обмолота...
Тяжелыми ботинками пыля,
Уходит в поле, на восток, пехота.

После войны Сурков занимал поочередно, а то и одновременно множество постов, должностей, подписывал коллективные письма, клеймил империализм, избирался депутатом. Стихов публиковал всё меньше, да и не очень они получались. И возраст, и занятость другими делами.

«Еще листок в календаре моем / Лег на душу, как новая нагрузка», – с печалью, прикрытой бодростью, признавался поэт.

Да, поэт. Обессмертивший себя по крайней мере одним, ставшим поистине народным, произведением.

5. Россия живет, помнит, читает

Об Астафьеве я знал с раннего детства. Именно *о нем* и именно *знал* – прочитал его книги позже. В те доперестроечные годы уставшие биться о стену несправедливости люди выпаливали как последний довод, весомую угрозу: «Я вот Астафьеву напишу!» Не Брежневу, не Андропову, не в горком или крайком, а Астафьеву. И часто это срабатывало: его уважали и боялись.

Потом были книги... В последние годы много разговоров ведется о том, что нужно и что не нужно включать в школьную программу по литературе. Несколько раз обращались ко мне, предлагали составить список. Я отказывался. Иногда называл несколько произведений, которые, по моему мнению, было бы полезно прочитать лет в двенадцать – четырнадцать. В том числе книгу Виктора Петровича «Последний поклон».

Он, кажется, очень мало писал специально для детей и подростков, но многие его рассказы и повести необходимы именно им. Они настраивают человека на настоящее. После рассказов из «Последнего поклона» начинаешь жить как-то иначе. Осмысленней, что ли. Внимательней становишься к тому, что тебя окружает, да и к себе самому.

Вообще мне сложно объективно оценивать прозу Астафьева. Дело в том, что я сам уроженец той самой Енисейской Сибири. И это великое счастье, когда в книгах встречаешь странные, необычные для городского мира слова, которые произносили твои бабушки, названия речек, деревень, гор, где бывал сам, описание ягоды кызырган, которая растет в Саянах, тугунка, рыбки, водящейся в Енисее...

Он долго жил вдали от малой родины, наверное, потому слова о ней у Астафьева такие проникновенные, красочные, точные. Он тосковал. Но тоска бывает благотворной.

В 1942 году, в восемнадцать лет, ушел добровольцем на фронт из Красноярска, а вернулся туда в конце 1970-х, в пятьдесят с лишним...

Его книги нередко нравоучительны, авторские оценки и суждения порой слишком резки и прямолинейны; персонажи отчетливо делятся на положительных и отрицательных. Иногда это мешает, а иногда помогает. Блуждать в лабиринте душевных переживаний не всегда нужно, хочется твердости и убежденности автора.

Астафьев шел на это сознательно. Он считал, что в советское время литература заменила церковь. И был проповедником.

Но в лучших своих творениях Виктор Петрович поднимает прозу до музыкального звучания, до истинной поэзии. Недаром его рассказы и фрагменты повестей и романов так любят брать чтецы. Да, Астафьева нужно читать вслух – даром слова он обладал сказочным.

Вот как начинается бесхитростный, но такой душевный рассказ «Гуси в полынье»:

«Ледостав на Енисее наступает постепенно. Сначала появляются зеркальные забереги, по краям хрупкие и неровные. В заливчиках и заводях они широкие, на быстрине – узкие, трепещущие. Но после каждого морозного утра они становятся все шире, а потом начинает плыть шуга. И тогда вся река шуршит печально, утихомиренно, засыпая до весны.

С каждым днем толще и шире забереги, уже полоса воды, гуще шуга. Она теснится, рыхлые льдины с хрустом лезут одна на другую. А потом окрепшая шуга спаивается, и однажды, чаще всего в студеную ночь, река встает».

90-е развели наше и до того недружное писательское сообщество. Развели они и читателей. Знаю тех, кто не может простить Астафьеву беспросветный и безжалостный «Печальный детектив», много не принявших роман о войне «Прокляты и убиты». О публицистике Виктора Петровича тех лет, о поддержке Солженицына и говорить нечего – врагов он нажил предостаточно. Впрочем, это судьба каждой крупной личности в России – всем мил не будешь.

Можно, конечно, досадовать, что «Печальный детектив» прибил только-только воспрянувших от одуряющего удущья застоя людей, что «Прокляты и убиты» вышли в первой половине 90-х, на гребне переоценки ценностей, русофобии, ставшей в то время чуть ли не государственной идеологией. Можно спорить с автором и его книгами. Но это спор с великим, и такой спор идет нам на пользу. Это не какая-нибудь перебранка между собой...

После смерти Астафьева, Солженицына, Распутина в нашей литературе и общественной жизни образовалась пустота. Талантливых много, а больших – нет. И из этой пустоты несет едким, разъедающим нас сквозняком. Глыбы должны быть. Они укрывают, берегут, даже если ты этого не хочешь...

Астафьев уходил, как и многие сибирские старики, с тяжелым сердцем, обидой, чуть ли не ожесточением. После его смерти была опубликована записка, в которой были такие слова: «Я пришёл в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощание».

Спустя годы почти то же произнес и Валентин Распутин: «Подшло время негодности этого мира».

Горькие прощания. Но тем более мы должны доказать, что мир наш не такой уж пропавший. Что Россия жива, она помнит и читает великих своих сыновей.

6. Поэт русской прозы

Время выветривает культурные слои. Остаются крохи, считанные имена. Одни увековечены благодаря великому и яркому таланту, другие – из-за необычной биографии, третьим помогло везение...

Евгений Носов был человеком скромным, произведения его не порождали скандалы, ажиотаж, не запрещались. Для исследователей

Носов – фигура неинтересная. А именно исследователи, занимающиеся не столько творчеством писателей, сколько их биографиями, формируют пантеон классиков.

Евгений Носов – классик. Но классик тихий и почти незаметный.

Его причисляют к писателям-фронтовикам, писателям-деревенщикам. Да, он был и тем, и тем, но описанием сражений не отметился, деревенскую цивилизацию городской не противопоставлял, заявлений – ни художественных, ни публицистических – не делал. На протяжении почти полувека Носов пытался запечатлеть мгновения окружающей его жизни. И делал это в прозе, по-моему, как настоящий поэт.

Вот из его рассказа «Варька»:

«Озеро простиралось в темной раме вечерних сумеречных берегов. Плотной стеной темнели по сторонам камыши, чернела причаленная Емельянова лодка, чернели верши, выброшенные на сухое, и только сама вода была еще светла. Лежа на спине на середине озера, Варька не замечала ни берегов, ни обступивших камышей, она видела только небо, огромное и высокое, кажущееся особенно высоким теперь, вечером, когда только в самой безмерной его глубине, на неподвижно замерших кучеряшках облаков еще розовел свет давно угасшей зари. И еще видела она воду, начинавшуюся у самых ее глаз. Зеркально ясная гладь озера, чуткая ко всему, что простиралось над ним, была заполнена подрумяненными облаками и уже не казалась озером, а таким же, как и небо, бездонным пространством, и нельзя было сказать, где кончались настоящие облака и где было только их отражение. Два мира, вода и небо, охваченные вечерним задумчивым покоем, где-то за пределами Варькиного зрения слились воедино, и ей стало радостно и жутковато вот так, одной, недвижно парить в самой середине этой сомкнувшейся светлой бездны, и снизу и сверху заполненной облаками».

Евгений Носов писал в основном рассказы – жанр стержневой в русской литературе, но традиционно неуважаемый критиками. Им негде разгуляться, не над чем поразглагольствовать. И чем тоньше рассказ, тем меньше откликов он получает. Это можно заметить по произведениям Чехова – о проблемных рассказах критики писали обильно, а вроде бы бесконфликтные, но глубоко трагичные, лирические – не замечали.

У Носова нет закрученных сюжетов, выпяченных конфликтов. Он передает еле уловимые вибрации души, настроения, часто описывает «пустяки», но те «пустяки», из которых состоит наша жизнь. Вот одно из редких его признаний, вкрапленное в рассказ «Во субботу, день ненастный»:

«Шагая по мокрой траве к селу, я вспомнил, что уже давно не писал о таких вот милых пустяках. И вообще хотелось написать что-нибудь простое, бесхитрое, ни на малость не вмешиваясь в течение жизни... написать так, как было, как будет, как виделось, без привиранья и лукавства».

В восемнадцать лет Евгений Носов ушел на фронт. В феврале 1945-го под Кёнигсбергом был тяжело ранен и вернулся домой, в село Толмачёво под Курском, двадцатилетним инвалидом.

Сначала стал художником-оформителем, потом появилась тяга писать прозу. В этом деле он и нашел себя. И посвятил свой талант воспеванию природы, людей. Но пел не дифирамбы, а негромкие, иногда слегка грустные песни. Песни-рассказы.

Наверное, как всякий художник слова, он не переносил реальность на бумагу один в один. Да это и невозможно. Но нарочитой недостоверности, фонтанирующего вымысла в его произведениях не встретишь.

Многим, знаю, скучно читать книги без этих фонтанов. Но у Носова есть другое: поэтичность прозы. Читать его рассказы лучше вслух, и тогда можно услышать музыку звуков, слов, предложений.

Несколько строк из рассказа «Шумит луговая овсяница»:

«Остановивались на самом берегу, глушили тракторы, в тени лозняков распрягали лошадей с темными пропотелыми холками, засыпали им вдоволь полные телеги свежескошенной травы, по которой еще прыгали кузнечики, а сами, изголодавшись на своих хлебных увалах по вольной воде, лезли в Десну. Гулко бухались с глинистого уреза парни, выныривали, мотая головами, стирая с глаз прилипшие волосы, блаженно отфыркиваясь. Девчата визжали от ласки воды, неистово колоутили ногами, выбрызгивая белые пузыристые столбы, полоумно шарачались от змеиных извивов водорослей, и растревоженная Десна была маслянистыми зелеными волнами в берег, качала и рвала на осколки опрокинутое в реку солнце.

А на мелком, присев на край и сперва испробовав воду вытянутой ногой, перекрестясь, сползали на костлявых задах в реку старики, бледнотелые, с темными, непомерно большими кистями рук и темными, будто из другой кожи, шеями. У иных на синеватой ребристой наготе багрово проступали старые солдатские отметины».

Какая завораживающая интонация! И какая плотность поистине художественных деталей – свежескошенная трава, по которой еще прыгают кузнечики; прилипшие волосы именно «стирают с глаз»; «ласка воды»; змеиные извивы водорослей; волны рвут на осколки опрокинутое в реку солнце; шеи, «будто из другой кожи»; «старые солдатские отметины» – зарубцевавшиеся раны.

Да, войны как таковой у Носова в прозе почти нет. Но почти в каждом произведении слышны ее отзвуки, герои – победители в той войне – навсегда физически или душевно ею искалечены. Например, Игнат из рассказа «Объездчик»...

Пожалуй, центральный его рассказ «Усвятские шлемоносцы» – о проходах на войну мужчин-крестьян. Большинство остальных – о тех, кто с той войны вернулся. Немногие. И сам автор – один из немногих, чудом выживший. И он смотрит на мир как на чудо, отмечая каждый штришок, каждую мелочь...

После 1980-х книги Носова стали издаваться редко, да и не привлекали массового читателя своими названиями. Он не умел или не хотел изобретать заманчивое; называл просто: «В чистом поле», «Вечерние стога», «Белый гусь», «Яблочный Спас»...

В 2001 году Александр Солженицын удостоил Евгения Носова, о котором не раз писал и которому выражал свое уважение, премией. Это стало последним проявлением признания таланта большого и честного русского писателя. На следующий год Евгений Носов умер на родной курской земле.

Тут хочется добавить: но произведения его не умрут. Как знать, как знать. Всё зависит от нас, читателей.

Валентина КОРОСТЕЛЁВА

Родилась в Кирове. Окончила Литературный институт им. Горького. Поэт, прозаик, автор двух десятков книг, публикаций во многих «толстых» и «тонких» журналах.

Особое место в ее творчестве занимают книги «Парнаса дорогие имена» – документальные рассказы о русских писателях, в том числе современных, а также сборник очерков «Строки и судьбы» – о поэтах России XX века.

Лауреат литературных конкурсов им. А. Платонова, А. Чехова, А. Толстого, А. Белого, «Добрая лира», «Литературная Вена». Член Союза писателей России.

Живёт в подмосковной Балашихе.

«А НАМ СУДЬБУ РОССИИ ДОВЕРЯЛИ...»

Поэт-фронтовик Николай Старшинов

Всегда с замиранием сердца приступаю к разговору о поэтах-фронтовиках, в данном случае о Николае Старшинове. Во-первых, не может быть другого чувства, кроме бесконечного уважения и благодарности к этим людям за их как минимум гражданский подвиг, не говоря уже о подвигах боевых; во-вторых, за их стойкость и достоинство в непростой послевоенной жизни, что явлено в каждом слове их произведений; и в-третьих – гибель отца под Белой Церковью, на Украине.

Фронтовые поэты... Сколько заметных литераторов впоследствии выпорхнули из-под их надёжных крыльев, а благотворное влияние на творческую поросль Николая Константиновича было настолько действенным и широким, что даже я, начинающая тогда поэтесса из Кирова, волею судьбы попала в эту замечательную орбиту. Кстати, руководил тогда вятскими писателями Овидий Михайлович Любиков, тоже поэт-фронтовик, не раз общавшийся со Старшиновым и, конечно же, кроме творческой тематики своё законное место в их разговорах занимала рыбалка, без которой они оба не представляли жизни.

Когда мы говорим «поэт-фронтовик», это вовсе не значит, что темой его творчества стала исключительно война. Вспомним популярнейшую песню про голубей, что «целуются на крыше», и в отношении диапазона поэзии Николая Константиновича станет многое ясно. Но об этом чуть позже.

Свой фронтовой стаж Коля Старшинов начинает фактически в 1941 году, трудясь с одноклассниками на рытье окопов; в следующем году

поступает в пехотное училище, а в январе 1943-го отправляется на фронт в звании старшего сержанта. В 18 лет он – заместитель командира пулемётного взвода. Но уже в августе Николай Константинович, прошедший не одно огневое крещение, получает под Спас-Деменском тяжелейшее ранение в ноги и попадает в госпиталь.

Сорок четвёртый год. Старшинова демобилизуют. Но война ещё – в каждой извилине мозга, в каждой клетке души...

Ракет зелёные огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И как шальной не лезь под пули.
Приказ: «Вперёд!»
Команда: «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А кто-то звал родную мать,
А кто-то вспоминал – чужую.
Когда, нарушив забытьё,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»
А шли и гибли
За неё.

(«Ракет зелёные огни...»)

В таких стихах нет необходимости прибегать к эффектным эпитетам, думать о привлекательности строк, ибо здесь явлена высшая красота – пронзительная правда и чувство, родившее каждое слово. Вот почему стихи Старшинова взяли свою главную высоту – сначала внимание читателя, а потом и его любовь.

Конечно же, творческое чутьё и умение не свалились на Поэта с неба. Родившись в многолетней крестьянской семье, перебравшейся со временем в Москву, подросток Николай знал о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Некрасове... Вечерами вся семья участвовала в своих «литературных чтениях», и, по словам Старшинова, они могли длиться часами. Так что в плане образования он был подготовлен к своему призванию и потому сразу после возвращения с фронта в Москву направился напрямик в Литинститут. Тем более что стихи уже печатались во фронтовых газетах.

Это были самые яркие и счастливые его годы, как и бывает чаще всего в молодости. Публикации в журналах (в «Октябре» была напечатана поэма «Гвардии рядовой»), выход в издательстве «Молодая гвардия» первой книги «Друзьям» (событие знаковое и в том смысле, что с этим издательством он связал всю свою творческую судьбу), общение с писателями, также не понаслышке знающими о войне и, наконец, встреча с Юлией Друниной, о любви к которой говорят его стихи. Их брак дал жизнь дочери Елене, но всё-таки через тринадцать лет распался. Вторая женитьба с точки зрения стабильности оказалась более удачной. Эмма Багдонас, звукооператор Вильнюсского радио, была рядом до конца его жизни. И в этом браке тоже родилась дочь, Рута.

Но было бы наивным полагать, что даже в эти судьбоносные годы творческая жизнь Поэта была без проблем. Уже в 1947-м он получил разгромный отзыв о своих стихах, и не от кого-нибудь, а от Веры Инбер, в то время очень известной и почитаемой поэтессы. Старшинов

обвинялся в неоимажинизме, «глубоко чуждом нашей поэзии». Более странного творческого приговора по отношению к поэту-фронтовику с его ясным, выверенным слогом просто трудно придумать. По себе знаю, как ранят подобные «откровения» на самом взлёте поэтической судьбы. И не потому, что обидно, а потому, что несправедливо. Но военный опыт Николая Константиновича помог ему и в будущем брать подобные «редуты», полагаясь на главного критика – читателя, хорошо знающего цену истинно значимому литературному слову.

Среди самых популярных его стихотворений о войне остаётся и поныне «Я был когда-то ротным запевалой...»:

Я был когда-то ротным запевалой,
В давным-давно минувшие года...
Вот мы с ученья топаем, бывало,
А с неба хлещет вёдрами вода.

И нет конца раздрызганной дороге.
Густую глину месят сапоги.
И кажется – свинцом налиты ноги,
Отяжелели руки и мозги.

А что поделать? Обратишься к другу,
Но он твердит одно: – Не отставай!.. –
И вдруг наш старшина на всю округу
Как гаркнет: – Эй, Старшинов, запевай!

А у меня ни голоса, ни слуха
И нет и не бывало никогда.
Но я упрямо собираюсь с духом,
Пою... А голос слаб мой, вот беда!

И опять – в чём-то даже прозаический рассказ, без напряжения, со многими простыми деталями армейской жизни, а вот поди ж ты, цепляется и органично выводит на главное:

Но тишина за мною раскололась
От хриплых баритонов и басов.
О, как могуч и как красив мой голос,
Помноженный на сотню голосов!

И пусть ещё не скоро до привала,
Но легче нам шагается в строю...
Я был когда-то ротным запевалой,
Да и теперь я изредка пою.

И вовсе не простой, как кажется на первый взгляд, финал стихотворения, написанного в 1957 году, когда «оттепель» только зрела и оптимизм был в явном дефиците.

Как истинно русский солдат, Старшинов и в творчестве шёл вперёд, умножая мастерство и расширяя жанровые границы. И потому, кстати, имел право более чем профессионально судить о творчестве тех, кто только собирался брать свои поэтические высоты. Неслучайно он несколько лет работал в отделе поэзии популярнейшего тогда журнала «Юность», вёл литобъединение МГУ, а позднее почти два десятка лет

был редактором альманаха «Поэзия» в «Молодой гвардии», пока перестройка не сбросила издание «с корабля современности», как и многие другие. И, конечно же, – руководство семинаром в Литинституте. За эти годы Николай Константинович вывел в свет не один десяток интересных, талантливых поэтов, и не только в Москве, продолжив сложившиеся традиции «Молодой гвардии».

К примеру, и в Киров как-то приехала целая писательская бригада под эгидой этого издательства, познакомила со своими произведениями, послушала и нас, начинающих. А в конце, подводя итоги, гости посоветовали мне поступать в Литинститут. Понятно, что для меня это было как глас свыше, и я вскоре, пройдя творческий конкурс, сдала экзамены и поступила.

А с Николаем Старшиновым спустя годы мы беседовали о моей поэме «За тридевять земель», в которую я включила свои частушки. Упомяну и о книге «Хлеб и мёд», вышедшей в «Молодой гвардии». А ведь не было бы этой встречи с молодогвардейцами, и жизнь пошла бы совсем по иным дорогам. И сколько других состоявшихся писателей могли бы рассказать свою историю, связанную и с «Молодой гвардией», и с Николаем Старшиновым! Так или иначе вышли «из старшиновской шинели» Николай Дмитриев, Владимир Павлинов, Геннадий Касмынин, Александр Щуплов, Владимир Костров, Дмитрий Сухарев, Евгений Артюхов, Георгий Зайцев, Виктор Кирюшин, Геннадий Красников, Александр Бобров, Нина Стручкова, Нина Краснова, Александр Макаров, Ольга Ермолаева и многие другие... И дело, конечно, не только в доброжелательности Старшинова, желании и умении помочь молодым, и порой не только в творчестве. Главным было уважение к нему как профессионалу с большой буквы. Вот несколько последних строф из стихотворения «Зловещим заревом объятый...»:

И вдруг (неведомо откуда
Попав сюда, зачем и как)
В грязи дорожной – просто чудо! –
Пятак.

Из желтоватого металла,
Он, как сазанья чешуя,
Горит,
И только обметало
Зелёной окисью края.

А вот – рубли в траве примятой!
А вот ещё... И вот, и вот...
Мои товарищи-солдаты
Идут вперёд
За взводом взвод.

Всё жарче вспышки полыхают.
Всё тяжелее пушки бьют...
Здесь ничего не покупают
И ничего не продают.

И это тоже стихи 45-го года. Как мастерски он ведёт повествование, подводя к финалу, который сродни залпу «катюши». Да, на фронте – совсем другие ценности, а в сердцах – самая высокая цель, что может

быть в жизни. Да, это о той войне, но и о сегодняшнем дне тоже, когда почти всё покупается и почти всё продаётся. Такое вот послевкусие истинной поэзии.

Известно, что детские годы Коля Старшинов проводил в подмосковном селе Рахманове, на родине отца. Будущий поэт, конечно же, как губка впитывал всю красоту русской деревни, вековой уклад её жизни, неторопливое течение времени...

И понятно его желание чаще припадать к этим истокам, стремление свои чувства и мысли облекать в поэтические строки. Вот откуда произрос и Старшинов-лирик.

Этот луг до конца заболочен,
Но дорога и здесь пролегла.
У налитых водою обочин
Затаилась злоецающая мгла.

...Но среди этой удушливой гнили,
От которой в рассудке темно,
Белоснежными звёздами лилий
Вдруг меж кочек проглянет окно.

Чудо-лилия, ты здесь – чужая...
Но она остановит: стой! –
Чистотою своей поражая
И почти неземной красотой.

(«Этот луг до конца заболочен...»)

И с природой, как правило, связана любовная лирика. Многие стихи, конечно же, посвящены Юлии Друниной. Хотя у поэзии свои «адреса и явки».

Бросила халат на спинку стула,
Погасила в комнате огонь.
И легла. И сладким сном уснула,
Подложив под голову ладонь.

...Тише, тише!
Говорю вам, тише!
Тише, ветер, в проводах не вой.
Майский ливень, не стучи по крыше.
Тополя, не хлопайте листвою.

Что там за чудак бредёт? Грохочет,
Будто бы подковами копыт.
Неужели он понять не хочет,
Что моя единственная спит?

(«Бросила халат на спинку стула...»)

Или:

Тонко свищут воздушные струи.
И снежинки, сбиваясь в рой,
Налетают и тают, целуя
Приоткрытые губы твои.

Но меня узнавать ты не хочешь.
И, нарушив морозную тишь,
Ну совсем как девчонка хохочешь
И в объятья другого летишь...

(«Над холмами, полями, лесами...»)

У Николая Старшинова вышло более сорока книг, но это не только поэзия. Молодые поэты и сегодня могут учиться у него по книгам, где и уроки творчества, и портреты писателей, с кем связывала его судьба, и воспоминания, где немало можно узнать и о самом Николае Константиновиче, и о времени, которое, как известно, не выбирают: «Памятный урок», «Дорога к читателю», «Планета “Юлия Друнина”», или История одного самоубийства», литературные мемуары «Что было – то было» в серии издательского дома «Звонница-МГ» «XX век: Лики, лица, личности». Но главное место занимала поэзия. В том числе собранные и опубликованные им частушки. Поэма «Семёновна» – тоже дань народному жанру. И рядом – переводы, в основном с финно-угорского. Стихи поэта были переведены на многие европейские языки. Сами названия книг уже цепляли внимание читателя: «Весёлый пессимист», «Улыбнитесь, пожалуйста!», «Твоё имя», «Любить и жить»... И, конечно, – «Моя любовь и страсть – рыбалка». За книгу стихов «Река любви» он был в 1984 году награждён Государственной премией РСФСР имени М. Горького, а годом раньше – премией Ленинского комсомола за достижения в творчестве и многолетнюю работу с молодыми писателями.

Но самым главным итогом его жизни было доверие читателей, уважение к его гражданской позиции, верность фронтовому братству и правде, будь то стихи или публицистика.

О том, что было, – откровенно, честно...
А вот один литературный туз
Твердит, что совершенно неуместно
В стихах моих проскальзывает грусть.

Он это говорит и пальцем тычет,
И, хлопая, как друга, по плечу,
Меня он обвиняет в безразличье
К делам моей страны...
А я молчу.

Нотации и чтение морали
Я сам люблю.
Мели себе, мели...
А нам судьбу России доверяли,
И кажется, что мы не подвели.

(«Солдаты мы»)

Николай Старшинов ушёл от нас, не дожив два года до нового века, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Эта потеря оказалась более чем ощутимой как для читателей, так и для тех, кто познал верное плечо этого мудрого друга.

Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

Фёдор СЕЛЕЗНЕВ

Родился в 1968 году в Горьком. Проходил срочную службу на Краснознаменном Тихоокеанском флоте. Окончил исторический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Работал на кафедре истории России досоветского периода и краеведения исторического факультета ННГУ. В настоящее время профессор кафедры зарубежного регионоведения и локальной истории Института международных отношений и мировой истории (ИМОМИ), заведующий центром краеведческих исследований ИМОМИ ННГУ. Доктор исторических наук, член экспертного совета ВАК РФ по истории.

В сферу научных интересов входят, в частности, теория элит, история старообрядчества, биография П.И. Мельникова-Печерского, экономическая история России и Нижегородского края, политическая история России начала XX века, история нижегородских народных промыслов, биография Юрия Долгорукого. Автор более двух сотен научных публикаций, ряда монографий.

Живет в Нижнем Новгороде.

ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ

Первая поездка в чужую страну – приключение и в наше время. Что уж говорить о средних веках! Тогда люди были тяжелы на подъем. Впрочем, не все. Генуэзцы, венецианцы отличались мобильностью уже в Средневековье. Для некоторых из них путешествие на восток Европы уже в XV веке если и было приключением, то не таким уж необыкновенным. Русским приезд итальянцев тоже не казался чудом. На Руси неплохо знали как их, так и их товары, например фряжские вина. Фряжскими их называли от слова «Фрязи» – итальянские земли. Соответственно фряжинами именовали самих итальянцев.

В Москву они, бывало, приезжали из Крыма, где несколько веков существовали генуэзские колонии. Но особенно часто фряжины стали появляться в Русском государстве с тех пор как Иван III женился на Софье Палеолог, гречанке, долго прожившей в Италии. По её совету государев посол Семен Толбузин в 1474 году отправился в Венецию,

чтобы пригласить на русскую службу итальянского мастера строительного дела. Однако никто из местных архитекторов в далёкую северную страну ехать не захотел. На это решился лишь Аристотель Фьораванти, которому было уже под шестьдесят.

Земляки не оценили должным образом его талантов инженера да ещё обвинили убеленного сединами мужа в фальшивомонетничестве. Отъезд в Москву мог решить все его проблемы, и хитрец приложил массу усилий, чтобы убедить русского посла в своих исключительных талантах. Он похвастался, что построил знаменитый собор Святого Марка в Венеции. Конечно, это была выдумка – главный храм Венеции возвели ещё в одиннадцатом веке. Почему Аристотель назвал именно этот архитектурный шедевр? Образцом для собора Святого Марка послужил константинопольский храм Апостолов, и, приписывая его создание себе, Фьораванти не только убеждал Толбузина в своём мастерстве, но и показывал, что может строить церкви такие же, как в Византии. Для представителя православного государя это было весомый довод. Но окончательно в исключительных способностях Фьораванти русского посла убедил фокус, который итальянский мастер показал у себя дома. Из одного и того же (!) оловянного кувшина он на глазах Толбузина лил сначала воду, потом вино и, наконец, мёд. Русский дипломат немедленно согласился заключить с кудесником договор, предусматривавший выплату баснословно высокого жалованья – десять рублей месяц. Это были запредельные деньги. Но Фьораванти отработал их с лихвой.

Во-первых, он построил величественный Успенский собор, до сих пор украшающий Московский кремль. А ещё мастер поставил под Москвой, в Калитникове, кирпичную печь. Аристотелев кирпич, как замечает летописец, был «нашего кирпича уже, да продолговатее и тверже...». Так с появлением Фьораванти на Руси началась кирпичная эра. В-третьих, Фьораванти создал в Москве Пушечную избу, став отцом русской артиллерии. В-четвертых, он обеспечил успех трех важнейших походов Ивана III – на Новгород, Казань и Тверь.

Во время войны с новгородцами (1477–1478) итальянец подтвердил свою славу великого инженера. Он помог московскому войску быстро переправиться на другой берег Волхова, наведя через реку наплавной мост. А затем провёл сложную техническую операцию по съему новгородского вечегово колокола и отправке его в столицу. На волне этого успеха и в связи с окончанием контракта Фьораванти пожелал вернуться на родину. Но Иван III не захотел с ним расставаться. Попытка итальянца покинуть Русь тайно не увенчалась успехом. Беглец был арестован. Какое-то время он провёл в заключении и, хорошенько поразмыслив, принял новое предложение государя, став начальником русской артиллерии. Именно в этом качестве он в 1482 году появился в Нижнем Новгороде, чтобы дальше везти пушки к Казани. Казанский хан был так уstraшен возможностью появления у стен его города артиллерии, что отправил послов «с челобитьем».

Такая же история произошла через три года. В 1485 году Фьораванти, которому уже было под семьдесят, командовал артиллерией в походе на Тверь. До штурма города дело не дошло – он открыл ворота.

Перед тверским походом, летом 1485 года, заложил первую башню Московского кремля – Тайницкую. Имя Фьораванти в этой связи не упоминается. Но, конечно, без него здесь явно не обошлось. Замысел, приглашение из Италии земляков-архитекторов, без сомнения, были его заслугой и последней службой московскому государю.

Во второй половине 1490-х связи Русского государства с Италией ослабели. Олицетворявшая их Софья Палеолог опостылела своему мужу. Настолько, что Иван III объявил наследником престола не их сына Василия, а внука по линии первой жены, Марии Тверской, Дмитрия. Но, как только в марте 1499 года государь по отношению к своей супруге сменил гнев на милость, первое, что он сделал, – отправил «посольство до Италийских стран о своих потребах».

Потребы были те же, что и прежде. Послы Дмитрий Ралев и Митрофан Карачаров должны были привезти «мастеров серебряных, и пушечников, и стенных». Добирались на Русь они несколько лет и с приключениями, впрочем, обычными в то беспокойное время. Сначала посольство надолго задержали в Молдавии, потом в Крыму. Лишь в 1504 году итальянские зодчие оказались в Москве. Наибольшую известность из них получили Алевиз Новый и Петр Франческо Фрязин.

С 1505 по 1508 год эти архитекторы были заняты на строительстве храмов и великокняжеского дворца в Московском кремле. А весной 1508 года Василий III дал им важные поручения военно-оборонительного характера.

Алевизу великий князь повелел «вкруг града Москвы ров делати» и «пруды чинити вкруг града». Пруды создавали ещё одну внешнюю линию обороны столицы.

Ещё более сложная и масштабная задача была поставлена перед Петром Фрязиным. Он был отправлен на границу с Казанским ханством, в Нижний Новгород. Весной 1508 года, как сообщают летописцы, великий князь повелел заложить там «град камен», то есть построить в Нижнем Новгороде новую каменную крепость.

Этому предшествовал новое обострение отношений с казанским ханом Мухаммедом-Эмином. Василий ознаменовал начало своего правления походом на Казань (апрель – июнь 1506). Таков был ответ на недавнюю попытку Мухаммеда-Эмина взять Нижний Новгород. Однако и русская судовая рать, и конница под Казанью были разбиты и отступили обратно в Нижний.

Несмотря на свою победу, татары решили помириться с русскими. Весь 1507 год шли переговоры. Наконец соглашение было заключено. В 1508 году Мухаммед-Эмин освободил томившихся в заточении русских послов и купцов. Возобновились и мирные отношения с ногайцами. В 1508 году Василий III разрешил им пригонять на продажу свои конские табуны в Москву.

Впрочем, нельзя было исключать, что в будущем распри с ногайцами и Казанью вспыхнут вновь. На этот случай Василий III, воспользовавшись мирной передышкой, озаботился укреплением границ государства. На страже их должна была встать мощная каменная крепость – Нижний Новгород.

Первым делом итальянский зодчий «обложил на семи верстах» Нижний Новгород. По мнению И.А. Кирьянова, С.Л. Агафонова и В.Ф. Черникова, так летописец описал возведение внешней линии укреплений – Большого острога. Его местоположение указано в Писцовой книге 1621–1622 годов. Исходя из содержания названного документа, можно сказать, что направление Большого острога показывают современные улицы Нестерова, Звездинка, Малая Покровская. Подобная конфигурация объясняется тем, что Петр Фрязин по технологии, применённой Алевизом Фрязиным в Москве, начал «пруды чинити вкруг града». Для этого Петр Фрязин включил в систему укреплений Нижне-

го Новгорода Ковалихинский овраг, начинавшийся в районе нынешней площади Горького, с протекавшей по его дну речкой Ковой (Ковалихой). В рамках этих работ появились Дюков и Звездин пруды, просуществовавшие до XIX века. По берегу Звездина пруда была сделана насыпь – Ковалихинская осыпь (сейчас здесь улица Звездинка). Есть основания полагать, что тогда же создали Чёрный пруд, вошедший во вторую линию деревоземляных укреплений Фрязина. За Черным прудом тоже была сделана осыпь. О ней напоминала Осыпная улица XIX века, начинавшаяся от угла Тихоновской и Малой Печёрской и продолжавшаяся до Почайнского оврага. (Это современная улица Пискунова.) По верху осыпи была пущена дубовая стена.

Затем под руководством мастера начали «рвы копать, куда быти городской стене каменной». Ров протянулся от Георгиевской до Коромысловой башни. Его ширина составляла 30 метров, как и Алевицова рва в Москве. Глубина достигала четырёх метров. Через ров был наведён каменный мост. Его захват врагом нельзя было допускать ни в коем случае. Поэтому вход на него Фрязин решил защитить особым оборонительным сооружением. На Руси такие постройки называли отводными стрельницами.

Примером сохранившейся отводной стрельницы является Кутафья башня Московского кремля. Она, как и стрельница Петра Фрязина, играет роль барбакана – дополнительной башни, защищающей въезд в городские ворота. Однако отводная стрельница Петра Фрязина, в отличие от полукруглой Кутафьей башни, была пятиугольной, то есть представляла собой бастион.

Следует отметить, что бастионная система укреплений в то время только ещё начинала складываться. Следовательно, стрельница Петра Фрязина была одним из первых бастионов в мире. Её сторону, обращенную к кремлю, итальянский зодчий оставил открытой. Поэтому противник не смог бы воспользоваться этим укреплением, даже если бы его захватил. Две дальние от кремля стены образовывали угол, направленный острием в сторону поля. Стрельница была окружена собственным рвом шириной 14 метров. Въезд в неё через особый мост Фрязин сделал сбоку. Так что штурмующий ворота стрельницы враг со стен кремля был виден как на ладони.

Рядом со стрельницей находилась церковь во имя Дмитрия Солунского. Поэтому стрельницу называли Дмитриевской. Именно с неё 1 сентября 1509 года Фрязин начал возведение башен и стен Нижегородского кремля. Возможно, при этом присутствовал сам Василий III. Есть сведения, что он в 1509 году побывал в Нижнем Новгороде.

Во время приезда великий князь приказал «стены градские и башни вниз прибавить». Смысл этого решения состоял в том, чтобы защитить каменной стеной густонаселенную прибрежную часть города. Дело в том, что деревянные крепости Юрия Всеволодовича и последующих князей строились по вершинам Дятловых гор. Первоначально так же намеревался поступить и Фрязин. От Северной башни стена должна была пойти вдоль кромки откоса (мимо места, где сейчас Вечный огонь). Роль рва в таком случае, как и раньше, отводилась речке Сарке, которая текла по современному спуску от Дмитриевской к Ивановской башне.

Повеление Василия III заставило Петра Фрязина решать сложнейшую задачу: возводить стены на спуске с горы. Ход вниз от Северной башни был слишком крут. Поэтому в более удобном месте, рядом с ней,

зодчий поставил ещё одну башню – Часовую и пустил стену по склону от неё.

Там, внизу, предстояло возвести мощную Ивановскую башню. Но пока здесь несла свои воды речка Сарка. Итальянский мастер перегородил её плотиной. Так на месте нынешней выставки военной техники у Дмитровской башни возник пруд Сарка, существовавший до середины XIX века. Русло Сарки было осушено и вымощено. Оно превратилось в спуск, который теперь соединяет Дмитровскую и Ивановскую башни.

Для реализации этого дерзкого замысла итальянскому архитектору нужны были лучшие русские мастера. Самые опытные каменщики в то время жили в Пскове. Но этот город тогда, по сути, представлял автономную республику. Наряду с наместником великого князя Московского им управляли местные выборные власти. Василий III решил упразднить самостоятельность Пскова. Для этого он 23 сентября 1509 года отправился в Новгород. В январе 1510 года псковичи подчинились великому князю, и он торжественно въехал в их город, а затем, как сообщает летописец, «перевод учинил» людей из Пскова в Нижний Новгород. Скорее всего, местом их поселения стала Кунавинская слобода. Догадка автора основана на том, что, по сведениям Писцовой книги 1621–1622 годов, там компактно проживали каменщики и кирпичники.

Труд и знания русских и итальянских мастеров позволили создать настоящий шедевр средневекового оборонного зодчества, вызывающий восхищение знатоков. Например, башни Нижегородского кремля очень значительно выступают за линию стен. Такое расположение создавало прекрасные возможности для эффективного флангового огня. Кроме того, выдвинутые башни не перекрывали боевой ход, поэтому защитники крепости могли быстро и свободно перемещаться по нему вдоль стен.

Боевой ход по верху стены был очень удобен своей шириной. При этом её увеличение не потребовало утолщения всей стены. Фрязин с внутренней стороны стен сделал аркады – ряды выемок в виде арок. Таким образом удалось сэкономить кирпичи и время работы. К тому же арки усилили конструкцию стены, равномерно распределив по ней нагрузку. А ещё они позволяли приближать пищали, вставлявшиеся в бойницы подошвенного боя, к наружной поверхности стены, делая стволы более маневренными.

Без преувеличения можно сказать, что Фрязин создал в Нижнем Новгороде самую совершенную крепость Средневековья. Для этого итальянского зодчего, как раньше для Фьораванти, Россия стала страной, где увлечённому своим делом профессионалу под силу осуществить самые смелые творческие замыслы. Как не хватало такой возможности многим корифеям эпохи Возрождения, тому же Леонардо да Винчи, который был вынужден тратить своё время на организацию придворных праздников!

В Нижнем Новгороде российские приключения Петра Фрязина не закончились. Скорее всего, с берегов Волги он и его помощники переехали в Тулу, где в 1514 году (то есть сразу после завершения работ в Нижнем Новгороде) тоже началось строительство каменного кремля, продолжавшееся до 1520 года. Правда, никаких летописных известий о пребывании Петра Фрязина в Туле у нас нет.

В следующий раз источники сообщают нам о человеке, которого так звали, только в 1539 году. Тогда он приехал в пограничную крепость

Себеж (в современной Псковской области). Построил её несколькими годами ранее Пьетро (в русском произношении – Петрок) Малый (или Малой). По мнению многих авторов Петрок Малой и Петр Фрязин, упоминаемый в документе 1539 года, – это одно и то же лицо. Недаром же Петр Фрязин прибыл в Себеж без проводников. Раз он сам строил этот город, ему ли было не знать туда дорогу!

Кроме Себежа Петрок Малой создал ещё целый ряд крепостей. Причем их строительство было осуществлено в необычно короткие сроки. Такая скорость стала возможной благодаря технологии, которую использовал этот зодчий. Каждая его крепость представляла собой китай-город.

Стена китай-города была земляной, скреплённой каркасом из жердей. Несколько рядов жердей вбивали в грунт, соединяли их «китами» (косичками, сплетёнными из веток и мягких древесных корней) и засыпали землёй. Отсюда и возникло название «китай-город».

Первый свой китай-город Петрок Малой воздвиг в Москве в 1534 году. В 1535–1536 годах таким же способом были построены крепости в Себеже, Стародубе, Пронске, Вологде и Балахне. Пушки не могли разрушить эти стены, поскольку вражеские ядра вязли в их земляной сердцевине. Это были самые передовые крепости века артиллерии – с куртинами (земляными валами) вместо стен.

Но у жителей русских городов отсутствие стен вызывало беспокойство. Поэтому поверху земляной стены московского Китай-города итальянскому архитектору пришлось поставить «град деревян по обычаю». А вскоре на его месте «новокрещеный фрязин» Петрок Малой, согласно повелению правительницы Елены Глинской, вообще возвёл каменную крепость. (Однако в народной памяти она так и осталась Китай-городом.)

Прочие китай-города Петрока Малого, даже Себеж, только что успешно выдержавший осаду литовцев, тоже обзавелись стенами. Для возведения деревянных укреплений Петр Фрязин и приехал в этот город в 1539 году. С собой у него были чемоданы с ценностями: итальянец замыслил побег из России. Он заранее получил разрешение на посещение Псковско-Печерского монастыря, находившегося недалеко от немецкого городка Нейгаузен, и намеревался там перейти границу с Ливонией.

Однако всё пошло вопреки его плану. После того как Фрязин сделал своё дело («город обложил»), себежские воеводы отпустили его в Псков с провожатыми, двумя служилыми людьми. И когда архитектор захотел свернуть с псковской дороги к монастырю, те воспротивились: мол, воеводы «велели тебя проводить до Пскова». Пришлось Фрязину объяснять: грамота на посещение Печерского монастыря у него есть, а из Пскова туда возвращаться далеко и неудобно.

Проводники вняли уговорам и вместе с итальянцем и его свитой поехали в монастырь. Оттуда же, «после стола», все на ночь глядя отправились в Псков. Но оказались в ливонском городе Нейгаузене. Там Петр Фрязин и его спутники остановились на ночлег у немца Ивана Рытара. Правда, не все. Один из служилых людей предпочёл вернуться в Россию. В тот же вечер к Петру Фрязину явились представители местных властей, чтобы узнать, кто он такой и зачем приехал. «И Петр им учал бити челом и плакати, чтобы его Великому Князю не выдавали». Немцы поставили у дома караул, проявив интерес к «рухляди» невозвращенца. Почуввав недоброе, архитектор вскрыл свои чемоданы и самое ценное «за пазуху положил». В полночь он разбудил толмача

Гришу Мистрабонова, с которым приехал из Москвы, и предложил бежать вместе.

Судя по прозвищу Гриши, отца его звали Мистрабон. «Мистр» – уважительное обращение к лучшему в своем деле, мастеру. Значит, Мистрабон – это «мистр», маэстро Бон. На ум сразу приходит Бон Фрязин, архитектор, попавший на Русь вместе с Петром Фрязиным и начавший возводить колокольню Ивана Великого.

Сын Мистрабона, будучи толмачом, мог очень хорошо помочь Петру Фрязину в путешествии по Ливонии в качестве переводчика с немецкого. Но покинуть родину Гриша не захотел. «Петр! Куды идешь? Земля чужая, неведомо куда идти», – увещевал он зодчего. «И Петр на двор вышел один, да двух сторожей немецких ножом поколол, да побегал того неведомо куда...» Впрочем, далеко уйти Фрязину не удалось. Вскоре его в Дерпте (ныне Тарту) в присутствии Гриши-переводчика уже допрашивал местный епископ.

Причины своего побега Фрязин объяснил так: «как нынче Великого Князя Василья не стало и великой княгини, а Государь нынешний мал остался, а бояре живут по своей воле, а от них великое насилие, а управы в земле никому нет, а промеж бояр великая рознь»; поэтому он решил «отъехать прочь», ибо в Русской земле «мятеж и безгосударство». О себе Петр Фрязин сообщил, что его «к Великому Князю прислал Папа Римской послужити годы три или четыре», но служить пришлось 11 лет – «держал его Князь Великий силою».

С.С. Подъяпольский полагал, что эти одиннадцать лет нужно вычесть из 1539 года, «понимая под служением великому князю работу у московского государя вообще, а не только у Василия». Есть сильный аргумент в пользу названной точки зрения. В 1528 году, ровно за 11 лет до побега Петра Фрязина в Ливонию, в Москву вернулось русское посольство, посетившее Папу Римского. И всё же из слов беглеца, сказанных на допросе ясно, что великий князь, силой державший его 11 лет, – это именно Василий III. Следовательно, отсчет необходимо вести от года кончины этого правителя. Тогда получается, что Петр Фрязин приехал в Россию в 1522 году, как ещё в XIX веке утверждал Н.П. Собко, первый автор, написавший о тождестве Петрока Малого и Петра Фрязина.

Однако в 1522 году или около того никакое русское посольство не посещало Папу Римского и не привозило от него архитекторов. Подобное имело место только в 1499–1504 годах, когда с послами Дмитрием Ралевым и Митрофаном Карачаровым на Русь приехал Петр Франческо Фрязин, будущий строитель Нижегородского кремля. Очень соблазнительно отождествить его с Петром Фрязиным из документа 1539 года и Петроком Малым. Тем более что, согласно данным эстонского историка Ю. Кивимяэ, Петрок Малый – это тоже Петр Франческо (Пьетро Франческо ди Аннибале). И хотя Нижегородский кремль и Китай-город Петрока Малого внешне не очень похожи, зато у них просматривается технологическое сходство: в обеих крепостях стены облицованы кирпичом, а внутри усилены забутовкой из камня, опирающейся на белокаменный цоколь. И там и там устроены бойницы подошвенного боя. Боевой ход по верху стен широкий (в Китай-городе он был настолько просторен, что позволял упряжке из двух лошадей перетаскивать пушки) и опирается на внутреннюю аркаду (череду арок) стены. Можно утверждать, что в Китай-городе развивались идеи, опробованные при строительстве Нижегородского кремля.

Правда, Петр Фрязин, возводивший кремль в Нижнем Новгороде (назовём его «нижегородец»), приехал на Русь ещё при Иване III. И про него не скажешь, как про Петра Фрязина, бежавшего в 1539 году в Ливонию (обозначим его как «ливонца»), что его лично отправил в Москву Папа Римский, да еще на оговоренный срок службы. Так что же: Пьетро Франческо-«нижегородец» и Пьетро Франческо-«ливонец» разные люди? Может быть. А может быть, и нет.

Представим, Петр Фрязин-«нижегородец» в 1520 году закончил строить Тульский кремль. Следует щедрая награда. Но зачем ему деньги? У Пьетро нет семьи, ведь он приехал из Италии совсем мальчиком. (Поэтому его и называли Пьетро Малой.) Теперь Фрязину-«нижегородцу» далеко за тридцать. И он просит отпустить его на родину, чтобы по-видать родных и жениться. В Москву как раз приехал посол Папы Римского. (Историкам известно письмо папы Льва X, направленное 26 сентября 1519 года Василию III.) Великий князь разрешает Фрязину уехать с представителем Папы. В 1521 году Петр Фрязин в Риме. Но ему не до поисков спутницы жизни. Лев X хочет обратить Василия III в католичество. Для этого Папе нужен свой человек в Москве. Петру Фрязину приходится собираться в обратную дорогу: Лев X послал его к великому князю «послужити годы три или четыре». Петрок Малой приезжает в Москву в 1522 году. Но ещё 1 декабря 1521 года Лев X неожиданно уходит из жизни. Теперь Петра Фрязина ничто не держит в России. Но великий князь обратно его уже не отпускает. На довод итальянца, что ему нужно жениться, Василий III предлагает Пьетро найти русскую невесту. Петр Фрязин принимает православие и венчается с прекрасной москвичкой. Василий III даёт «новокрещеному фрязину» самые ответственные и почетные заказы. Петрок Малый руководит строительством Коломенского (1525–1531), а также Зарайского (1528–1531) кремлей, возводит ставшую знаменитой церковь Вознесения в Коломенском (1532). Хорошая работа щедро вознаграждается: деньгами, землями, дорогими вещами. Потом, при Елене Глинской, маэстро создаёт надежные крепости. После кончины правительницы он от прозвора бояр бежит за границу и какое-то время проводит там. А потом возвращается.

Почему? Стосковался по жене? Или соскучился по руководству крупными строительными работами? Неизвестно. Во всяком случае, в 1543 году Петр Малой снова в Москве. Уже в третий раз. Он возводит Воскресенскую церковь в кремле...

Протоиерей Владимир ГОФМАН

Родился в 1953 году в городе Городце Горьковской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, историко-филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского и Московскую духовную семинарию. До рукоположения в сан священника работал литейщиком на производстве, журналистом. С 1993 года – священник Русской православной церкви.

Автор ряда поэтических сборников, книг прозы и множества публицистических статей. Лауреат ряда литературных премий, за книгу рассказов «Персиковый сад» в 2012 году удостоен диплома 3-й степени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

КУПОЛА, СМОТРЯЩИЕ В НЕБО

Храмы Нижнего: между прошлым и будущим

Продолжение. Начало в № 5, 2019 – 1, 2020

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ В ВЫСОКОВЕ

Высоковская Троицкая церковь – одна из древних в верхней части нашего города. Едва ли найдется нижегородец, который не знал бы этот красивый храм на улице Овражной, который долгое время советской власти был кафедральным собором Горьковской епархии.

Само село Высоково основано еще в XIV веке. Оно находилось за пределами Нижнего Новгорода и было вотчиной Нижегородского Печерского монастыря. (В состав города включено в 1929 году. Сегодня это территория Советского района.)

В последующие XV и XVI века село неоднократно разорялось и выжигалось отрядами монголо-татар и ногайцев. В 1549 году архимандрит монастыря даже жаловался на запустение села царю Иоанну Грозному: «в Нижнем Нове городе село Высоково з деревнями все пусто от казанские войны: люди побиты, иные в полон поиманы, дворов нет и пашни не пашут». После этого Печерский монастырь получил от царя не только право в течение 10 лет не платить податей, но и богатые вклады деньгами и землями (деревню Ельню, пустошь Черемисскую и др.).

После присоединения к России Казани и Астрахани создались реальные условия для мирной жизни, но наступило кровавое время Смуты, а вместе с тем – горе и разорение жителям городов и весей. Не миновала чаша сия и Высокова.

Наконец было покончено с интервентами и внутренним разбоем. Воцарение в 1613 году Михаила Федоровича Романова принесло мир и нижегородцам, принявшим в борьбе со Смутой самое активное участие. В 1619 году печерский архимандрит Иов предпринял энергичные усилия для восстановления хозяйства села. Высоково начало активно отстраиваться. Здесь жили рыбаки и кормщики, солодовники и каменщики, то есть мастера, выполнявшие для Печерского монастыря самые различные работы. В 1636 году монастырский плотник Шестак «со товарыщи» на месте старой, давно обветшавшей церкви срубили новый погостовый ансамбль из двух храмов (шатрового холодного и клетского теплого).

В 70-е годы XVII столетия половина села перешла во владение первого нижегородского митрополита Филарета (1672–1686), устроившего в нем свою летнюю резиденцию. С тех пор в Высокове проводили значительную часть времени все нижегородские владыки: Питирим (1719–1738), Дамаскин (1783–1794), Макарий (1879–1885) и другие. Так Высоковский храм уже тогда становился кафедральным. Благодаря этому украшался и богател. Каждый из архиереев старался вложить в ризницу достойные дары.

В 1801 году был издан указ Святейшего Правительствующего Синода, высшего государственного органа церковно-административной власти в Российской империи, о строительстве впредь вместо обветшавших или сгоревших храмов исключительно каменных зданий и обязательно по проектам дипломированных архитекторов. Правящий епископ Нижегородский Вениамин указал выстроить в Высокове новый каменный трехпрестольный храм. Проект здания он заказал губернскому архитектору Ивану Ивановичу Межецкому.

В качестве прообраза Межецкий взял известный в Нижнем Новгороде с середины XVII столетия храмовый тип «корабль» – со строго осевым расположением алтаря, храмовой части, трапезной и высотной колокольни над главным западным входом. Но архитектура храма была упрощена (не три, а два придела – центральный и боковой). В 1815 году храм был освящен в честь Живоначальной Троицы епископом Нижегородским Моисеем (1811–1825). Боковой придел – в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

В годы советской власти храм в Высокове практически не закрывался. В 1942 году городская Троицкая Высоковская церковь была единственной действующей не только в Горьком, но и на территории ближайших районов. Число прихожан неуклонно росло. В годы Великой Отечественной войны она оказывала большую духовную и материальную поддержку русскому народу в борьбе с врагом, внесла на нужды обороны 6 млн рублей.

С 1943 по 1974 год Троицкий храм оставался кафедральным собором, то есть резиденцией правящих архиереев. В 1943 году при храме жил первый после возрождения епархии епископ Сергей (Гришин), а с ноября 1944 году настоятелем церкви являлся епископ Зиновий (Красовский).

В настоящее время здесь среди многочисленных святынь находится знаменитый Животворящий Крест Господень, которому около пятисот лет, сделанный монахами на Соловках и привезенный из Пурека, куда в свое время, согласно преданию, его подарил князь Дмитрий Михайлович Пожарский.

ДЛЯ УВЕКОВЕЧЕНИЯ
ПАМЯТИ ЦАРЯ-МИРОТВОРЦА
Храм Всемиловейшего Спаса (на Полтавке)

...Как раз в тот самый момент, когда мы завтракали, нас было 20 человек, мы почувствовали сильный толчок и сразу за ним второй, после которого мы все оказались на полу и всё вокруг нас зашаталось и стало падать и рушиться. Всё падало и трещало как в Судный день. В последнюю секунду я видела ещё Сашу, который находился напротив меня за узким столом и который потом рухнул вниз... В этот момент я инстинктивно закрыла глаза, чтобы в них не попали осколки стекла и всего того, что сыпалось отовсюду... Всё грохотало и скрежетало, и потом вдруг воцарилась такая мёртвая тишина, как будто в живых никого не осталось.

Из письма императрицы Марии Фёдоровны, супруги императора Александра III, своему брату греческому королю Георгу.

17 (29) октября 1888 года на участке Курско-Харьково-Азовской (ныне Южной) железной дороги у станции Борки под Харьковом произошла катастрофа с императорским поездом. Несмотря на многочисленные человеческие жертвы и сильные повреждения подвижного состава, в том числе царского вагона, сам император Александр III и члены его семьи не пострадали. Спасение императорской семьи в официальной печати и в церковной традиции интерпретировалось как чудесное; на месте катастрофы был воздвигнут православный храм. Кроме того, по всей России стали строить часовни и храмы святого покровителя царя — святого благоверного князя Александра Невского, а также в честь других Божиих угодников.

Спасский храм в Нижнем Новгороде был заложен спустя девять лет после произошедшей железнодорожной катастрофы уже не только в память о чудесном спасении царской семьи, но и для «увековечения памяти Царя-миротворца, в Бозе почившего Александра III», скончавшегося 20 октября 1894 года. Дополнительным основанием к строительству храма именно во имя Нерукотворного образа Спасителя служило то обстоятельство, что во время крушения поезда государь Александр Александрович имел при себе копию с древней чудотворной Вологодской иконы Нерукотворного Спаса.

Нижегородское купечество решило не оставаться в стороне от благого дела и возвести храм в честь Спасителя и в память о чудесном спасении царской семьи. Было выбрано место – недалеко от городского острога. В 1888 году был открыт сбор средств на строительство. В комиссию по сбору средств вошли самые состоятельные финансисты-промышленники: Н.А. Бугров, Н.Е. Башкиров, А.А. Блинов, А.М. Губин, В.А. Соболев и другие.

В 1897 году был создан строительный комитет, который возглавил Я.Е. Башкиров. В следующем году среди членов Императорского Санкт-Петербургского общества архитекторов был объявлен конкурс на разработку проекта храма для Нижнего Новгорода. В нем приняли участие 18 наиболее признанных в стране зодчих. Первой премии удостоился проект архитектора из Санкт-Петербурга академика А.М. Кочетова. Планировалось, что храм будет построен в древнерусских

традициях XVII века по типу храма Животворящей Троицы в Останкине вместимостью 1700 человек. 7 июня 1899 года преосвященный Владимир, епископ Нижегородский и Арзамасский, заложил первый камень в основание церкви.

Контроль за строительством храма вел академик архитектуры В.П. Цейдлер. 26 августа 1903 года на колокольню был поднят последний Большой колокол (весом более 2,5 тонны; всего колоколов было восемь, один, в 52 пуда, пожертвован неизвестным жителем города, остальные отливались в Ярославле), а 12 октября того же года Нижегородский епископ Назарий освятил церковь.

Росписи храма были выполнены по картонам художников Семирадского, Нестерова, Васнецова, Репина, Верещагина и других известных живописцев и завершены в 1912 году.

После революции Спасский храм остался одним из немногих действующих приходов нагорной части города. Некоторое время с начала 1920-х годов здесь располагалась архиерейская кафедра, возглавляемая тогда митрополитом Сергием (Страгородским).

Храм был закрыт в 1937 году после ареста последних священнослужителей – настоятеля протоиерея Николая Виноградова, протоиерея Петра Сахаровского (причислен к лику святых) и протодьякона Николая Савкина. В помещении церкви разместили складские помещения швейного предприятия «Весна». В 1991 году он был возвращен верующим, а в 1992-м состоялось повторное освящение церкви. Полным архиерейским чином храм был освящен в 2003 году.

Современным возрождением приход храма во многом обязан деятельному участию прихожан, в частности Марии Сергеевны Михайловой. До выхода на пенсию Мария Сергеевна занимала должность зав. кафедрой английского языка Горьковского сельскохозяйственного института. С группой единомышленников Мария Сергеевна собрала и передала властям документы и подписи, требующиеся для открытия храма. Мария Сергеевна являлась постоянной прихожанкой храма, где и была отпета после своей кончины.

Долгие годы настоятелем храма был митрофорный протоиерей Игорь Пономарев. Сегодня приход возглавляет благочинный Нижегородского округа иерей Александр Гимоян. При храме много лет действует воскресная школа и образовательный лекторий для взрослых.

Главный придел храма освящен в честь Всемиловейшего Спаса (престольный праздник – 29 августа – день Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа). Правый придел – в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (престольный праздник – 22 мая, 19 декабря). Левый придел – в честь святителей Московских и чудотворцев Петра, Алексия и Ионы (престольный праздник – 18 октября).

Одна из главных святынь храма – чудотворная икона мученицы Параскевы Пятницы.

Богослужение совершается ежедневно.

В 2010 году издательский совет Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском мужском монастыре выпустил двухтысячным тиражом книгу, составленную историком и краеведом Ольгой Дёгтевой, «Храм Всемиловейшего Спаса в Нижнем Новгороде», которая на основе архивных материалов знакомит читателя с историей этого уникального храма нашего города.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

Родилась в городе Бугульме (Татарстан). Окончила Орловский государственный педагогический институт. Работала учителем, преподавателем кафедры русской литературы Орловского госуниверситета. Доктор филологических наук, профессор, историк литературы.

Автор трех монографий и свыше 500 литературоведческих и художественно-публицистических работ о творчестве Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, И. А. Бунина, Ч. Диккенса и других классиков мировой литературы.

Удостоена золотого диплома VI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» за книгу «Христианский мир И. С. Тургенева» (издательство «Зёрна-Слово», 2015), а также награды «Бронзовый Витязь» на VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» за статьи-исследования творчества Ф. М. Достоевского. Лауреат премий журнала «Зарубежные записки» (2014, номинация «Эссе. Литературная критика», журнала «Наш современник» (2018, номинация «Литературная критика. Литературоведение»).

Член Союза писателей России. Живет в Орле.

«НАДО ВЕРОВАТЬ В БОГА...»

Святочные рассказы А.П. Чехова

В январе нынешнего года исполнилось 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860–1904) – замечательного русского классика, в личности которого добропорядочность, мягкость и деликатность сочетались с мужеством и силой воли.

«Возмужалость» и «чувство личной свободы» писатель воспитывал в себе с ранней юности. Собственное нелёгкое начало на заре жизни, когда гимназисту Антоше Чехову приходилось за гроши давать уроки купеческим детям, чтобы содержать не только себя, но и помогать родительской семье, обрисовал он впоследствии в письме к издателю А.С. Суворину 7 января 1889 года: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сечённый, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых

родственников, лицемеривший и Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, – напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течёт уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...»

Знаменательно, что ставшая знаменитой чеховская установка – выдавливать «из себя по каплям раба» – была сформулирована в святочные дни, и звучит она в полном соответствии с евангельской заповедью свободы во Христе, освобождения человека от рабства, греха и от ига страха смерти. В послании святого апостола Павла сказано, что Иисус послан был в мир, «дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех» (Евр. 2: 9), «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2: 15); «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий чрез (Иисуса) Христа» (Гал. 4: 7). Таким образом, событиями Рождества и Воскресения Христова утверждается ценность, достоинство и духовная свобода человека, который уже не является узником и рабом ни других людей, ни собственного тела, но наоборот – вмещает в себя всё мироздание.

Чеховское художественное творчество занимает особое место среди многообразия русской святочной словесности. Писатель много и увлечённо работал в святочном жанре и, следуя своему принципу «краткость – сестра таланта», нередко создавал настолько лаконичные произведения, что некоторые читатели и литературные критики упрекали его за крохотный объём рассказов – «меньше воробьиного носа». Это даже не рассказы в привычном жанровом отношении, а «вещицы», зарисовки, миниатюры.

Однако в сжатую до пределов форму художнику слова удавалось вместить чрезвычайно ёмкое содержание – глубокое исследование человеческой природы, русской жизни и социальных отношений. «Умею коротко говорить о длинных вещах», – так сам Чехов афористически характеризовал эту особенность своего писательского дарования.

С проницательностью опытного редактора Н.А. Лейкин, сознавая, что своим успехом у читателей его журнал «Осколки» во многом обязан Антоше Чехонте, сразу же оценил талант молодого автора. «Что Вам робеть? Вы писатель опытный и уже давно набили руку, – писал редактор “Осколков” двадцатитрёхлетнему Чехову. – У Вас литературное чутьё».

Также охотно публиковал чеховские рассказы журнал «Зритель». Его святочные выпуски за 1883 год почти целиком заполнены «вещицами» Чехова. Среди них – забавная зарисовка из мещанского быта «Мошенники поневоле», которую автор снабдил иронически-выразительным подзаголовком «новогодняя побрехушка»; новогодний «психологический этюд» «Пережитое»; «подновогодние картинки» «Гадальщики и гадальщицы» («Зритель», 1883, № 1); святочный «фантастический рассказ» «Кривое зеркало»; «юмореска» «Ряженые» («Зритель», 1883, № 2).

Уже одни только подзаголовки этих святочных «вещиц» демонстрируют неистощимую жанровую изобретательность молодого автора, его стремление разнообразить привычный и, возможно, приевшийся читателю типичный святочный рассказ, выстроенный по устоявшимся канонам, в котором обычно всё известно заранее. Новаторское творчество Чехова в традиционном жанре – в ряду немногих счастливых исключений. В основном так называемая массовая святочная литература

повторяла из года в год один и тот же набор заезженных, давно отработанных мотивов и образов.

Но вот необычный поворот темы встречи Нового года и неизменно связываемых с ним надежд. В стихотворении «Встреча» за подписью В. Шуф показано свидание необыкновенных возлюбленных – Нового года и Надежды. Однако любимый здесь – это изменник, неверный обманщик-соблазнитель:

<...> Сердцу верится, как прежде...
 Но, как Старый, в свой черёд
 Новый год солжёт Надежде,
 И обманет, и уйдёт.

Подобный взгляд на будущее в преддверии Нового года высказывал молодой Чехов: «Всё старо, всё надоело и ждать нечего <...> Канальи останутся канальями, барышники останутся барышниками. Кто брал взятки, тот и в этом году не будет против благодарности...» («Осколки», 1884, № 1).

В юмористической прессе и Старый, и Новый год, обманувшие возлагаемые на них надежды, выставляются обвиняемыми, подсудимыми. В том же ключе, используя форму и стилистику юридических документов, молодой Чехов составил «Завещание старого, 1883 года» и «Контракт 1884 года с Человечеством»:

«Тысяча восемьсот восемьдесят четвёртого года, января 1 дня, мы, нижеподписавшиеся, Человечество, с одной стороны, и Новый 1884 год – с другой, заключили между собой договор, по которому:

1). Я, Человечество, обязуюсь встретить и проводить Новый 1884 год с шампанским, визитами, скандалами и протоколами.

2). Обязуюсь назвать его именем все имеющиеся на Земном шаре календари.

3). Обязуюсь возлагать на него великие надежды.

4). Я, Новый 1884 год, обязуюсь не оправдать этих надежд <...>

Нотариус: Человек без селезёнки. М.П.»

Особенно ощутима в святочном творчестве Чехова поэтика театра марионеток, кукольной комедии, стилистика райка, вертепа, святочных игрищ. Художественный мир чеховских рассказов – при всей его кажущейся обыденности – ироничный и парадоксальный, полный «сюрпризов и внезапностей», непредвиденных метаморфоз, маскированных «ряженных» персонажей...

Чеховские новогодние «вещицы» населяет целая толпа «ряженных». Этот традиционный для русской святочной словесности образ выносятся в заглавие, объединяя серии сценок и зарисовок, которые заполнили январский номер журнала «Зритель» за 1883 год. А в 1886 году в новогоднем номере «Петербургской газеты» под пером Чехова появляется новый сюжетный ряд под тем же названием – «Ряженные».

Писатель переосмысливает зимний праздничный обычай ряжения – костюмированного весёлого розыгрыша. В чеховских миниатюрах новогодний маскарад открывается своим внутренним планом – неприглядным, уродливым, гротескным.

Так, герой одной из сценок – адвокат – страстно защищает в суде невинную женщину: «Глаза адвоката горят, щёки его пылают, в голосе слышны слёзы. Он страдает за подсудимую, и если её обвинят, он умрёт с горя!.. Он поэт», – шепчут зрители. Но экзальтированные чувст-

ва, возвышенный пыл его речи имеют вовсе не поэтическую, а самую тривиальную корыстную подоплёку: «Дай мне истец сотней больше, я упёк бы её! – думает он. – В роли обвинителя я был бы эффективней!» Недаром говорят в русском народе о продажных юристах – горе-защитниках: «Аблакат (адвокат) – нанятая совесть».

В другом сюжете «пьяное умиление» деревенского мужичонки, который всё время приплясывает и «визжит на гармонику», – тоже маска. «Ему весело живётся, не правда ли? Нет, он ряженный. “Жрать хочется”, – думает он».

Писатель убеждает не верить бутафорской внешности, позе и в доказательство снимает маски со своих персонажей, открывая их сокровенные мысли. В этой серии рассказов не только автор делает выводы, но и его герои, устраняя самообман, выносят себе приговор: «Я ряженный. Наедет ревизор, и все узнают, что я только ряженный!..» «“Я ряженная, – думает нарядно одетая барыня. – <...> Завтра или послезавтра барон сойдётся с Nadine и снимет с меня всё это...”»

Не правда ли, не раз в жизни мы встречали подкупленных адвокатов с подобной юридической шайкой, чиновников – расхитителей казны, воров-коррупционеров, продажных содержанок и прочих ряженных персонажей, прикрытых благопристойной личиной, хотя на каждом из них словно висит ярлык с ценой...

Есть в чеховском цикле и настоящие ряженные – зарисовка любимого народного развлечения на зимних праздниках. Однако под пером писателя это отнюдь не сезонно-бытовой эпизод. На «маленького солдатика в старой шинелишке» набрасывается унтер: «Ты отчего же мне чести не отдаёшь? <...> А? Почему? Пстой! Который ты это? Зачем?»

– Миленький, да ведь мы ряженные! – говорит бабьим голосом солдатик, и толпа вместе с унтером закатывается звонким смехом...

Эта крохотная сценка наполнена актуально-общественным смыслом, отражает «время и нравы». В косноязычных выкриках охранителя власти слышится другой чеховский унтер – Пришибеев – зловещий символ кабального угнетения и подавления личности в деспотическом государстве.

Так, в миниатюрных зарисовках, призванных на первый взгляд всего лишь развлечь и позабавить читателя юмористических журналов, Чехов изобличает черты социального зла, несправедно устроенного общества, искажённой грехом человеческой природы: всеобщую продажность, ложь, позёрство, лицемерие. Мы видим даже «храм ряженный». Здесь «ряжение» – то же, что приспособленчество, «хамелеонство», бесовство.

Чеховская выставка «ряженных» 1886 года очень напоминает «население» «Невского проспекта» Н.В. Гоголя: «О, не верьте этому Невскому проспекту! <...> Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! <...> Он лжёт во всякое время, этот Невский проспект». В сходном стилистическом ключе: «Выходите на улицу и глядите на ряженных» – Чехов нашёл оригинальный поворот темы, показал гротескное ряжение наоборот, шиворот-навыворот: не люди оделись в маскардные костюмы, а звери вырядились людьми, маскируя свою хищную, животную, бездуховную и безбожную сущность. «Вот солидно, подняв с достоинством голову, шагает что-то, нарядившееся человеком. Это “что-то” толсто, обрюзгло и плешиво <...> Говорит оно чепуху <...> Это – свинья». В «нарядившемся рецензентом» «по бесшабашному лаю, хватанию за икры, скаленью зубов нетрудно узнать <...> цепного пса».

В этом перевернутом мире «закройщик модной мастерской» вырядился драматургом. Рядом стоят талант, загримировавшийся забулдыгой, и бездарный позёр, «нарядившийся талантом». Вот пробегает «лисица». Мчится в роскошных санях «чёртова перечница» в костюме «дамы-благотворительницы». Из 1013 рублей 43 коп., собранных «для страждущего человечества», бедные получают только 43 копейки, остальное пойдёт на расходы по благотворению».

Чехов не просто раздвигает устоявшиеся жанровые рамки новогоднего рассказа, он иронизирует над самой праздничной традицией, превратившейся в бессмысленный и бездуховный обряд: новогодние поздравления-«приневоливания», выматывающие визиты, гости, неременный бокал шампанского и т. п.

Погружаясь в суету сует, забывая о Боге, человек превращается в пустую оболочку. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Если душа не наполнена жизнью по Божьим заповедям, её вмиг заполняют иные существа, через суету ведущие в ад, погибель и тлен. Именно образ ада и его обитателей с высунутыми языками и вытаращенными глазами рисуется у Чехова взамен традиционно умильного зрелища зимних праздников: «На улицах картина ада в золотой раме... Если бы не праздничное выражение на лицах дворников и городских, то можно было бы подумать, что к столице подступает неприятель. Взад и вперёд, с треском и шумом снуют парадные сани и кареты... На тротуарах, высунув языки и тараща глаза, бегут визитёры...» А затем ошалевших визитёров – «новогодних великомучеников», которые падают прямо на улицах «без гласа и воздыхания», городские толпами свозят в полицейский приёмный покой, где те постепенно приходят в себя.

На ту же тему «Старая история... на новый лад»:

«– Извозчик!

– Куда прикажете?

– <...> Что за чёрт! До того умаялся с визитами, что даже позабыл, где сам живу!.. Вези меня в адресный стол, там справлюсь...»

Хорошо всем нам знакомая предновогодняя суматоха и толкотня в современном обществе потребления достигает своего апогея. Уже за месяц до наступления Нового года по всем подвластным каналам преднамеренно запускается одурманивающая программа всеобщей «мобилизации» – подготовки к празднику. Навязчивая реклама день и ночь назойливо призывает запастись подарками и продуктами, шампанским и ёлками, игрушками и хлопушками, прочими безделушками. Особая доходная статья предновогодней «торговой кабалы» – так называемые «символы года» в виде обезьянок, мышек, хрюшек или других зверюшек. Ополоумевшие потребители снуют и носятся между прилавками и витринами буквально, как в рассказе Чехова, «высунув языки и тараща глаза». И вся эта «картина ада в золотой раме» разворачивается в течение Рождественского поста – времени, когда требуется особая духовная сосредоточенность, призванная уводить от мирской суеты и сутолоки.

Неудивительно, что неременная для святочного жанра хвала Новому году в устах чеховских героев нередко обращается в хулу. В рассказе «Шампанское» Чехов пишет: «при встрече Нового года с бокалами в руках кричат ему “ура” в полной уверенности, что ровно через двенадцать месяцев дадут этому году по шее и начихают ему на голову». Героя святочного рассказа «Ночь на кладбище» в новогоднюю ночь вместо радостных мыслей и чувств переполняют горестные раздумья:

«Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год – такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, о новый всегда бывает хуже... По-моему, при встрече Нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старше жена, больше ребят, меньше денег».

Стихия чеховского смеха, как и у Гоголя, вбирает в себя не только весёлую шутку, но и сатиру, сарказм, гротеск. По-гоголевски «невидимые миру слёзы» проливает борец со всякой пошлостью Чехов в сердце своём, рисуя «всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь»: «Жизнь – канитель <...> Пустое, бесцветное прозябание... мираж... Дни идут за днями, годы за годами, а ты всё такая же скотина, как и был... Пройдут ещё годы, а ты останешься всё тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим... В конце концов закопают тебя, болвана, в могилу, поедят на твой счёт поминальных блинов и скажут: хороший был человек, но жалко, подлец, мало денег оставил!...»

В «тине мелочей», болотной жиже неприглядно-пустого и пошлого прозябания барахтается и вязнет, захлабывается и тонет человек, пока не опомнится и не обратится с молитвой о спасении к Богу: «*Спаси меня, Боже; ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. <...> Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне*» (Пс. 68: 2–3, 15).

И всё же, несмотря на страдание от несовершенства несправедливо устроенной жизни, Чехов, испытывая острую тоску по идеалу, сохранил поэтическое ощущение русской зимней сказочности праздника Рождества Христова. «Поздравляю Вас с Рождеством, – обращался он в письме к Д.В. Григоровичу в 1888 году. – Поэтический праздник. Жаль только, что на Руси народ беден и голоден, а то бы этот праздник с его снегом, белыми деревьями и морозом был бы <...> самым красивым временем года. Это время, когда, кажется, что сам Бог ездит на санях».

Эти размышления о красоте Божьего мира гармонируют с сокровенным чеховским убеждением, воплотившимся в известном афоризме, о том, что и «в человеке всё должно быть прекрасно».

В.С. Миролюбову Чехов писал: «Надо веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать её место шумихой, а искать, искать одиноко, один на один со своею совестью...»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Надежда Преподобная

Владимир Седов

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:

603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются
отдельным файлом Word с указанием ав-
торства, наименования произведения и
краткой биографической справкой. Неот-
корректированные рукописи с большим
количеством ошибок не рассматриваются.

Редакция не вступает в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвраща-
ются. Ответственность за достоверность
фактов несут авторы материалов. Мнение
редакции может не совпадать с мнением
авторов.

При перепечатке материалов ссылка на
журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 06.04.2020.
Выпущено в свет 27.04.2020.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл.-печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Свободная цена.

Отпечатано в типографии
АО «ИПК «Чувашия»
428019 Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13